

МИХАИЛ ЩУЖКИН

СИБИРИАДА



НЕСРАВНЕННАЯ

Annotation

Сибирь начала XX века. Привольно раскинулся шумный торговый городок Иргит на берегу шустрой Быструги. Каждый год в конце лета расцветает на главной площади Иргита пышная да богатая ярмарка. И вроде все тут давно видано-перевидано – ан нет! На сей раз городок посетила знаменитая певица, любимица публики Арина Буранова – Несравненная, как единодушно называли ее поклонники. Вот с ее приезда и началась в Иргите полнейшая неразбериха. Куда-то подевалась городская сумасшедшая Глаша-копательница, расстроилась свадьба падчерицы купца Естифеева, а потом и сама певица попала в очень непростую, даже опасную ситуацию!..

- [Михаил Щукин](#)
 - [Глава первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [Глава третья](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [Глава четвертая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

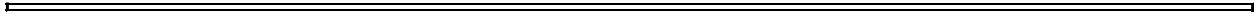
- [Глава пятая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)



Михаил Щукин
Несравненная

Глава первая

Река текла, как жизнь в молодости.

До устья еще далеко-далеко, и здесь, в срединном своем течении, стремительном в майский разлив, не ведала она ни перекатов, ни мелководья и не прорезалось пока от берегов ни одной песчаной косы.

Вольно текла, в полный размах.

А по самой реке, сверкающей солнечными блестками, летела, играючи, широкая дощаная лодка с хищно загнутым и чуть приподнятым носом. Резала бесшумно мутную весеннюю воду, выскакивала на стремнину и целилась пересечь наискосок фарватер, по которому неторопко и величаво шел пароход «Кормилец», развевая над собой трехцветный флаг и рваный след черного дыма из высокой трубы.

Дружно взметывались четыре лопашных весла, роняя крупные капли, опускались разом, и лодка, все убыстряя ход, стремительно приближалась к пароходу. Там, на капитанском мостике, встревожились, дали протяжный гудок и закричали в жестяной рупор:

– Куда гребете, черти! Отворачивай! Потопим!

Лодка летела.

Рулевой на ней, крепко державший правильное весло, вскочил с седушки, выпрямился в полный рост и так зычно гаркнул сильным молодым голосом, что его услышали все пассажиры на палубе «Кормильца»:

– Я вам потоплю! Стоп-машина! Деша от губернатора! Принять немедленно!

Ход застопорили.

Лодка, подсакивая на волне, разведенной пароходом, ловко зашла с полукруга и приткнулась к окрашенному борту. Рулевой, не сбавляя напора в зычном голосе, потребовал:

– Чалку подай!

Спустили толстый пеньковый канат, рулевой махом взобрался по нему на палубу, и перед старым капитаном Никифоровым, который топорщил пышные седые усы и шипел словно потревоженный кот, лихо предстал румянощекий парень в казачьих шароварах с лампасами и в синей просторной рубахе с настезь распахнутым воротом. Из разъема этой рубахи он выдернул серый конверт, густо заляпанный сургучными печатями и, прищелкнув каблуками сапог, протянул Никифорову:

– Лично вам в руки, господин капитан! Из канцелярии его высокопревосходительства генерал-губернатора! Ознакомьтесь согласно инструкции, изложенной на конверте!

Никифоров прищурился одним глазом, принял конверт, прищурил другой глаз, прочитал: «Г-ну Никифорову. Вскрыть единолично, без присутствия посторонних, в три часа пополудни». Вытянулся, прижал конверт к выпуклому животу и твердым шагом, не сгибая спины, ушел с палубы, направляясь в свою каюту. Парень проводил его взглядом, крутнулся, так что палуба скрипнула под каблуками, перегнулся через борт, быстрой скороговоркой скомандовал оставшимся в лодке:

– Поднимай! Убью, если уроните! Чалку, чалку держи, не отцепляйся!

Звякнули два весла, выдернутые из уключин, скрестились лопастями и медленно, осторожно подняли вверх широкую плетеную корзину, из которой вздымался, как всплеск ослепительно-белой пены, большущий – руками не обхватить! – не букет даже, а почти целый куст только что распустившейся черемухи, от которой незримо струился нежный, густой аромат. Столь волнующий, что хотелось уткнуться лицом в белизну крохотных лепестков.

– Какая прелесть! – восхитилась пышная дама в широкополой шляпе и в широком, необъятном платье. – Скажи, любезный, ты никак продать его желаешь? Я заплачу, сколько...

Парень мгновенно вытащил ветку из корзины, протянул ее даме с поклоном галантного кавалера и все той же быстрой скороговоркой перебил:

– Никак нет, продаже не подлежит, только из уважения! Примите от чистого сердца!

Дама заулыбалась и на толстых щеках у нее залегли глубокие, кривые складки. Протянула руку в тонкой кружевной перчатке и приняла ветку. А парень между тем, не сбиваясь с разгона, спросил:

– Госпожа Арина Буранова, певица известная, в каком месте на пароходе пребывает?

Дама перестала улыбаться, глянула на корзину с черемухой, лицо поскучнело, и она неохотно, лениво, словно через губу едва сплевывала, соизволила ответить:

– В каюте своей сидит, безвылазно, в первом классе, подумай – цаца! Даже в буфет не поднимается, к приличным людям не желает выйти. С ума все походили с этой Бурановой!

И отвернулась. Пошла по палубе тяжелым шагом, попутно выкинув за борт ветку черемухи. Но парень этого уже не увидел; обхватив двумя

руками корзину, он соскользнул в первый класс и наугад постучался в первую же каюту, которая оказалась перед ним. За дверями каюты послышался шорох, что-то упало, но на стук никто не отозвался. Парень снова постучал – громче. Щелкнула медная, до блеска начищенная ручка, дверь настежь распахнулась и звонкий, высокий голос прозвучал почти умоляюще:

– Ну, кто там еще?! Миленькие! Дайте мне одной побыть, ведь просила же!

Парень, ничего и никого не видя из-за букета, неудержимо вперся в каюту, бухнул корзину на пол, выпрямился и замер – будто онемел и окаменел. Стоял, как на строевом смотре, руки по швам, и на лице его, розовом, скуластом, опущенном темной, вьющейся бородкой, жили, казалось, лишь одни диковатые глаза цвета спелой смородины – горели, сверкали, узкий азиатский разрез округлялся, и они становились все больше.

– Чем обязана, господин хороший? – хозяйка каюты, а это и впрямь была известная певица Арина Буранова, запахнувшись в легкую цветастую шаль, сердито смотрела на своего неожиданного гостя, ждала ответа и от нетерпения даже пристукивала чуть слышно маленькой босой ножкой по темно-красному ворсистому ковру.

Парень тянулся в нитку, как перед высоким начальством, и молчал.

– Язык-то есть? – уже не так сердито, даже улыбнувшись едва заметно, поинтересовалась Арина, и, не дождавшись ответа, добавила: – Или мы немые, потому и говорить не можем?

Парень вздохнул на полную грудь, словно в холодную воду собирался нырять, и, набравшись решимости, выдохнул:

– Вы еще красивее, когда живая!

– Родненький, – звонко рассмеялась Арина и сквозь смех едва выговорила: – Где же ты меня... мертвой видел... да еще красивой?!

– На портрете. У меня на стенке портрет висит, из журнала «Нива». И пластинка еще была. Я ее на граммофоне слушал. Разбили пластинку, сволочи!

– Разбили? Ай-я-яй! И почему же ее разбили?

– Да пьяные были, казаки мои... Велел им граммофон на новую квартиру к себе принести и пластинку. Понесли и об стенку шарахнулись. Граммофон ничего, только трубу погнули, а пластинка – вдребезги! Теперь тоскую. А тут прознал, что вы на пароходе плывете... Вот, это вам, черемухи наломали...

Арина слушала его и смеялась, запрокидывая голову, все громче; шаль

скатилась на плечи, и пышно рассыпались, оказавшись на воле, густые русые волосы. Она пыталась собрать их маленькой белой ладошкой, а они не подчинялись и все равно выскакивали из-под пальцев, словно пытались закрыть высокую нежную шею. Вдруг она опустила руку, присела перед корзиной с черемухой и дотронулась губами до лепестков. Долго молчала, а затем, не поднимая глаз, прошептала чуть слышно:

– Спасибо, родненький, детство вспомнила, у нас весь садик в черемухе был, как зацветет, бывало, даже голова кружится... Ты откуда, как звать-то?

– Сотник Дуга, Николай Григорьевич! Второго полка Сибирского казачьего войска!

– Ой ты, бравый! Проходи, Николай Григорьевич, чай будем пить, про службу свою казачью расскажешь...

– Никак нет, мне убежать пора. Вон, на часах ваших, время мое вышло. А сказать хотел – очень вы мне нравитесь, Арина Васильевна. Теперь увидел – еще сильнее!

– Ну вот, – разочарованно протянула Арина, – была дуга и в оглоблю выпрямилась. Скушно, Николай Григорьевич... Слышишь меня? Скушно!

Грустно подняла глаза и от удивления даже шлепнула в ладошки – сотника в каюте уже не было, будто ветром унесло, неслышно, как пушинку.

Арина поставила к столику корзину с черемухой, пошла, чтобы закрыть дверь каюты, и остановилась, удивленная еще больше – в светлом проеме, мрачно чернея капитанским кителем, возник Никифоров. Пышные его усы вздрагивали; руки, в одной – серый конверт с разломанными сургучными печатями,

в другой – скомканный лист, вздымались над головой, а широко раскрытый рот не мог родить ни одного слова, только вырывалось сердитое кошачье шипение. Наконец Никифоров обрел дар речи и взревел:

– Где-е-е?! В каталажку посажу, на первой же пристани!

Ничего не понимая, Арина усадила его за столик, налила воды.

Никифоров выхлебал три стакана подряд, успокоился и стал жаловаться, как обманным путем остановили его пароход, введя в заблуждение конвертом серого казенного цвета и сургучными печатями. А на сургуче – вот, голубушка, сама погляди! – оттиск, на котором ясно читается: «5 копеекъ». За пятак старого дурака провели! Вот что обидно! Но еще обидней – письмецо, короткое и нахальное, как щелчок в лоб: «И до каких пор в буфете на „Кормильце“ будут подавать прокислое пиво и тухлую стерлядку? Наведи порядок, капитан!»

Ах, шельма!

Никифоров хлопнул еще стакан воды и вздохнул:

– Мне расписание нарушать никак нельзя, Арина Васильевна, вас в Иргите целая депутация ждет, сам городской голова речь держать станет, – помолчал, пригладил усы широкой ладонью, поднялся из-за столика, пошел, направляясь к дверям, но замешкался и, не оборачиваясь, тихо произнес: – А в каюте сидеть все время – не дело, голубушка. По палубе погуляйте, в буфет загляните. Не надо от меня прятаться, Аринушка, все равно я тебя признал, как ты взошла на палубу, так и признал, шрамик-то на щечке до сих пор остался... Не пугайся, никому не скажу.

Так и не обернувшись, вышел капитан Никифоров из каюты, и не увидел, как мертвенно побледнела известная певица Арина Буранова, дотронувшись пальцами до тонкого шрамика на правой щеке, который она всегда старательно припудривала или пыталась закрыть длинным локоном русых волос.

И-и – раз! И-и – раз! И-и – раз!

Теперь дощаная лодка шла вдоль берега, вверх по течению, вырываясь из его цепких объятий, и рубахи гребцов были мокрыми, словно их окатили водой из ведра. Весла равномерно вздымались и опускались, буровили речную гладь сильными рывками, под лопастями закручивались маленькие воронки и соскальзывали мгновенно, утекая и быстро теряясь в могучем потоке. Сильна была река, и даже имя она имела под стать своей быстрине – Быструга.

– Выручайте, ребята... – Николай Дуга тоже греб своим правильным веслом, помогая общему ходу лодки, смаргивал с ресниц едучий пот и просил с придыханием: – Выручайте... любезные... опаздывать мне... никак нельзя., на службу надо... поспеть...

– Скорее только посуху, на коне, – отозвался один из гребцов, – и так руки отваливаются!

– Потерпи, ребята... чуток осталось... не обижу...

– Ясно дело, Николай Григорьич, что не обидишь, – резонно высказался другой гребец, – грех за такую работу обижать – с парходом на перегонки бегаем!

Больше не разговаривали, чтобы силы зря не расходовать. Дружно, в лад, гребли, и лодка, одолевая течение, все ближе подходила к песчаному пологому берегу, где стояла в отдалении, на пригорке, маленькая и веселая деревенька. Именно в ней и нанял лодку с гребцами сотник Николай Дуга, пообещав хорошо заплатить. Мужики постарались. Как было задумано, так и исполнилось. Теперь Николаю оставался последний рывок – одолеть двадцать верст до летнего лагеря, где стоял его полк, и явиться, как штык, к вечерней поверке на правом фланге своей сотни.

Наконец лодка ткнулась носом в песок, мужики, тяжело покачиваясь, выбрались на берег. Николай торопливо сунул им деньги, кинулся к старой, толстой ветле, где к нижней ветке привязан был повод его гнедого жеребца Соколка. Завидев бегущего к нему хозяина, Соколок вздернул голову, раскидывая на обе стороны длинную гриву, и копытом передней ноги выбил от нетерпения ошметок зеленой травы вместе с землей. Застоялся жеребец, заскучал без своего всадника, и когда тот оказался в седле и разобрал поводья, взял с места крупной рысью – лишь тонкая строчка жиденькой пыли вскинулась вслед за ним и быстро опала в безветрии.

Гребцы, глядя вослед Дуге, покачивали головами, переговаривались между собой:

– Лихой казачок! И пароход догнал, и черемуху вручил, и на службу вовремя успеет, вон как взял – с ветерком!

– Дурная кровь играет! Экая забота, на бабенку поглядеть – такие деньги выкинуть!

– Знать, хороша бабенка, если денег ему не жалко.

– А вы чего чужие деньги считаете? Не из вашего кармана! Давай лучше скинемся да выпьем.

– Дело говоришь.

И мужики, замолчав, дружно, скорым шагом, двинулись в сторону деревенской лавки.

А лихой казачий сотник Николай Дуга, о котором они говорили, торопил своего гнедого Соколка, и встречный ветерок упруго холодил грудь в разьеме синей рубахи. Летели навстречу и отскакивали, оставаясь за спиной, молодые березки, обнесенные, словно пухом, яркой весенней зеленью, полевая дорога выстилалась перед ним – ровная, как отчеркнутая по туго натянутой веревке, и только веселое птичье пение да глухой стук копыт нарушали благостную, ленивую тишину жаркого дня.

Под стать стремительной скачке пролетали в голове Николая рваные мысли, совершенно не цепляясь друг за друга, и он, как будто терял на время слух и зрение: не полевую дорогу видел перед собой, а маленькую белую ладошку, которая пыталась собрать рассыпавшиеся русые волосы, не стук копыт слышал, а звонкий смех, и еще чудный голос, плавно выплывающий из медной трубы граммофона... Этот голос, услышанный им впервые сквозь шорох стальной иглы по пластинке, проскользнул мгновенно в самую душу. И остался там, тревожа ее и волнуя, а когда пьяные казаки умудрились разбить пластинку, сотнику показалось, что его смертельно обидели. Впрочем, теперь обиды уже не было – только безудержное чувство счастливого полета и полная сумятица в голове.

Эх, первый звон – в большую радость, а дальше... Дальше хоть колокольцы тресни! Лови сладкую минуту, пока она мимо не просвистела. Вот и ловил ее сейчас Николай Дуга, пригибаясь к гриве Соколка, который, не ведая устали, просекал полевую дорогу, почти не касаясь земли.

Двадцать верст отлетели, как один вздох. И вот уже показались впереди ровные ряды белых палаток, расставленных на широком поле между двумя холмами, коновязи с привязанными к ним лошадьми, телеги, дымки походных кухонь – весь большой, шевелящийся летний лагерь Второго казачьего полка, выведенного из казарм в эти майские дни на

полевые учения.

Николай все успел сделать вовремя: выводил Соколка после скачки, сменил рубаху на гимнастерку, вычистил запыленные сапоги и, ловко заломив фуражку с красным околышем, красовался в назначенный час на правом фланге своей сотни, уже зная, что все люди и лошади в наличии, больных нет, а четверо отсутствующих казаков находятся в карауле.

Но от цепкого взгляда командира полка полковника Голутвина ничего не скроется:

– Сотник, что у вас с конем? Его, что, черти гоняли?

– Все в порядке, господин полковник! – Николай привстал на стременах, поедая глазами начальство. – В свободное время занимался вольтижировкой, а также изучал пересеченную окружающую местность на случай предстоящих учений!

– Похвально, – Голутвин слегка кивнул, выражая одобрение, – не задерживайтесь сегодня, поторопитесь к себе на квартиру – Григорий Петрович в гости к вам приехал, случайно увиделись.

Известие, сообщенное полковником, Николая несколько не обрадовало. Он догадывался, по какой причине прибыл его отец, станичный атаман и бывший сослуживец Голутвина, ясное дело, не для того, чтобы передать привет от матушки и привезти домашних гостинцев. И не для того, чтобы взглянуть на сына и узнать, как ему служится. Ради таких мелочей Григорий Петрович и ногу бы не переставил. Совсем иная причина сняла его из дому и притащила сюда за много верст. Совсем иная...

«Лихо дело начинается, – усмешливо хмыкнул Николай, когда Голутвин отъехал к следующей сотне, – процарапают дырку, а там и прореха явится! Уж прости, Григорий Петрович, да только я выпрягусь. Как пить дать – выпрягусь!»

Деревня с ласковым названием Колыбелька, в которой офицеры полка стояли на квартирах, темнела серыми тесовыми крышами недалеко от лагеря – версты полторы. Николай, чтобы Соколка не тревожить и дать ему отдохнуть в полное удовольствие, отправился пешком, срезая путь наискосок по веселому лугу. И пока шел, радуясь вечерней прохладе, шурша сапогами по мягкой траве, он снова слышал чудный голос, звонкий смех и видел точеную босую ножку, которая сердито топала по темно-красному, ворсистому ковру. Улыбался, сам того не замечая, и совсем забыл, что приехал к нему в гости отец и ждет его на квартире.

Вспомнил, когда увидел на широком дворе расседланного коня Григория Петровича. Прошел мимо, поднялся на крыльцо, толкнул низкую

дверь, ведущую на вторую половину избы, где квартировал. У порога замешкался, снимая фуражку, стаскивая с себя португепю и шашку, вешая их на гвозди, вбитые в стену. И лишь после этого, раздернув свободнее гимнастерку, двинулся навстречу отцу, который поднялся из-за стола:

– Здравствуй, батя.

– Здорово были, сын.

Поручкались, обнялись, расцеловались троекратно и сели за стол, напротив друг друга – до удивления похожие: скуластые, узкоглазые, черноволосые. Только и разницы, что у Григория Петровича седой клок в половину ладони на голове с правой стороны вылез, да и в теле, раздавшись и огрузнев с годами, был он шире сына. А во всем остальном, на скорый взгляд, если мельком кинуть, – братья единокровные, старший и младший.

– Как дома, батя? Матушка, Галина с Настей? Все ли здоровы?

– Слава Богу, никто не хворает, отсеялись вовремя. Поклоны тебе пересылают, да только не за этим я сюда приехал, сын, чтобы поклоны передавать да про домашние дела рассказывать. Утром раненько домой собираюсь, времени у меня в обрез, поэтому слушай, чего сказать хочу, – Григорий Петрович утвердил локти на столешнице, свел пальцы в замок и уложил на них густую вороненую бороду, – одно сказать хочу – надумали мы тебя женить. На следующей неделе на смотрины поедем, в Иргит. А ты, заранее, в станицу прибуди. Оттуда все вместе и тронемся. С Голутвиным я говорил, он тебе рапорт на короткий отпуск подпишет, на пять суток.

– И какую же дурочку, батя, я осчастливить должен? – лицо Николая враз поменялось – скатился румянец, потемнело оно до черноты и скулы, будто раздались шире, выдались острыми углами сквозь бородку.

Потемнел, нахмурившись, и Григорий Петрович, но голоса не изменил, ровно говорил, степенно:

– Невесту, которую мы тебе выбрали, слава Господи, умишком не обнесли. Смышленная девка, бойкая и на лицо пригожая. Поглянется. Приемная дочка купца Естифеева, из Иргита, слышал небось?

– Да кто ж про него не слышал, батя?! И мельницы имеет, и пароходы, и хлебом на ярмарке ворочает, тысячными пудами!

Богатеющий старикан! Да только я казак вольный и жениться на его дурочке не собираюсь! Говорил тебе и еще скажу – не стану жениться!

– А это мы поглядим – кто кого пересилит! Решенье мое твердое. И ты, Николай Григорьич, свет мой ясный, так плясать будешь, как я скажу!

– Сам пляши, батя! На пару с дурочкой естифеевской! А еще лучше – женись на ней! Будет в хозяйстве прибыток, глядишь, старикан тебе в

приданое от щедрот своих мельницу или пароход отвалит!

Никогда, ни единого разу, с того самого дня, как запищал в люльке его первенец, не слышал от него Григорий Петрович столь неуважительных речей. И даже опешил поначалу, когда таковые прозвучали. Разомкнул пальцы, сведенные в замок, медленно вздыбился над столом, глухо скомандовал:

– Замолчь!

– Я и так молчу. А что сказал, то слышал!

Такое непослушание уже ни в какие ворота не влезало. Вспыхнул Григорий Петрович, как сухая береста от горящей спички, протянул широкую и сильную ладонью с растопыренными пальцами, сгреб сына за грудки, в комок собрав гимнастерку, вздернул над столом, а другая растопыренная ладонь со всего маху тяжело и глухо ухнула по уху, отчего голова у Николая мотнулась на сторону. От гимнастерки отлетела пуговица, одиноко зацокала, подпрыгивая на половице. А растопыренная ладонь между тем еще раз увесисто хлестнула по уху, и гимнастерка треснула, выдираемая из цепко сведенных пальцев. Вырвался Николай, отскочил от стола к порогу, и затрепыхались крылья тонкого носа от ярости.

– Сядь! – рявкнул Григорий Петрович.

Но в сыне его гуляла та же самая буйная и упрямая кровь – отцовская. Остался стоять на месте как вкопанный. Только всхрапывал, тяжело и надсадно, как Соколок после скачки. Григорий Петрович сжал тяжелые кулаки, медленно выбрался из-за стола.

Двигался к сыну, припадая сразу на обе ноги, и страшен был, как внезапный вихрь – захватит сейчас, закрутит, измолотит и унесет неведомо куда, а после выкинет за ненадобностью, как ветошь драную, ни на что негодную.

– Не замай, батя! Не доводи до греха! – всего лишь один шаг отшагнул Николай, уперся спиной в косяк, руки метнулись по стене на ощупь, и блескучая молния шашки, выдернутой из ножен, со свистом опоясала полный круг, сорвав с простенка бумажный листок с портретом певицы Бурановой. В полной тишине покружился он и лег на пол с едва различимым шорохом, точно посередине между отцом и сыном.

Григорий Петрович остановился. Стоял со сжатыми кулаками, молчал. И сын тоже молчал, не опуская поднятой шашки. Вдруг крутнул ее ловким, почти неуловимым движением и кинул себе под ноги. Шашка вонзилась острым носком глубоко в половицу и упруго закачалась из стороны в сторону. Николай толкнулся спиной в двери, выскочил на улицу. Шел, не понимая, куда идет, ничего не видел перед собой, и только правой рукой

отмахивал резко, словно все еще сжимал в ней эфес шашки.

Ночевал он в лагере, в палатке вместе с казаками. На квартире появился лишь после утренней поверки. Отцовского коня на дворе уже не было. Шашка торчала в половице, и на этой же половице лежал листок с портретом певицы Бурановой, вырезанный из журнала «Нива». Николай приколол портрет на старое место, выдернул шашку из половицы, сунул ее в ножны, сел за пустой широкий стол и задумался.

Было о чем подумать сотнику.

Славный город Иргит, если взглянуть на него с макушки горы Пушистой, лежал внизу, как большой круглый пирог, придвинутый одним боком к Быструге и порезанный на большие треугольные куски. Разрезы-улицы, с какой бы стороны они ни начинались, прямехонько тянулись к сердцевине города – Ярмарочной площади. Если спуститься с горы вниз и пройти по одной из таких улиц, сразу же бросится в глаза одна особенность: возле каждого дома, даже возле самой захудалой избенки, имеется, кроме хлевов и пригонов, огромный, крытый двор с широкими и высокими двустворчатыми воротами – любой воз въедет. Для возов эти дворы и ставились, потому как город Иргит – это не просто город, а город-ярмарка. Два раза в год, на Николу-вешнего и на Николу-зимнего, торгует, шумит, звенит, поет и пляшет здесь знаменитая на всю Сибирь широкая Никольская ярмарка, ведущая свою родословную еще с давних благословенных времен матушки Екатерины, которая и определила своим указом, что быть в данном селении, при удобном расположении реки и тракта, большому торгу. Доброе место выбрала: на восток – Сибирь необъятная, на запад – Россия неоглядная, а на юг – степи и страны азиатские. И отовсюду двигались к означенным срокам по тракту и по иным дорогам обозы и караваны, плыли по Быструге плоты и дощаники, пароходы и лодки – густо-густо вскипал город многолюдьем, и не было в нем ни одного свободного двора, где можно было приткнуться с конским возом и найти приют и ночлег – все заняты. Для иргитских жителей такие дни – все равно, что горячий сенокос или жатва. Бывает, что сам хозяин с домочадцами в баню переселяется, а избу приезжим уступает – пользуйтесь, любезные, сколько вашей душе угодно, только денежку – извиняйте! – вперед, за весь срок, отмусоливайте.

Главное украшение Иргита – Ярмарочная площадь. А на площади – гостиный двор в четыре этажа, именуемый с недавних пор иностранным словом «пассаж». А еще – гостиница с внушительным названием «Коммерческая». Отдельно – театр, вокруг которого в ярмарочные дни возникали, словно из-под земли выскакивали, увеселительные балаганы, качели и катальные горы. А уж вокруг площади, в два, в три, а где и в четыре, в пять рядов, магазины и магазинчики, лавки и лавочки, базарные ряды и просто-напросто торговые места на голой земле – отдал копейку и торгуй, чем хочешь и что в наличности имеешь. Можно еще проще:

повесил лоток на шею и ходи со своим немудреным товаром, где пожелается, да кричи, расхваливая его, погромче и позаковыристей.

Ярмарка...

Считанные дни оставались до ее открытия.

Арина сидела у настезь распахнутого окна, смотрела, как мужики быстро и сноровисто возводят временный балаган напротив театра и едва слышно, нараспев, шептала:

– Вот и приехала... Вот и приехала...

День угасал. От гостиницы «Коммерческая» вытягивалась по широкой площади, выложенной булыжником, огромная ломаная тень, но в оконных стеклах ближних зданий еще кипели яркочерные отсветы закатного солнца.

Ладошками, как это делают дети, Арина вытерла слезы, нечаянно выступившие на глазах, и отошла от окна, оставив незакрытыми распахнутые створки. Номер у нее в гостинице «Коммерческая» был до того просторный, что она, босая, в простеньком сарафане, в платочке, небрежно повязанном на голове, совершенно в нем терялась и если бы пожелала спрятаться за каким-нибудь креслом, ее долго пришлось бы искать. Впрочем, все равно бы нашли, потому как слишком много людей жаждали ее видеть и слышать.

И самым первым в числе таких жаждущих был, конечно, Черногорин, ее давний антрепренер. Высокий, поджарый, как гончая, всегда безупречно и с иголочки одетый – у него даже махонькие застёжки на башмаках сияли как солнышки – Яков Сергеевич ступал неслышно, говорил негромко и при этом плавно разводил руками, будто хотел очистить перед собой пространство, чтобы ничего лишнего между ним и собеседником не имелось. Говорить он начал, едва лишь вошел в номер:

– Несравненная! Мое опытное и часто битое нутро подсказывает – нас ждет успех. На первый концерт все билеты проданы!

Кроме концертов в театре еще три вечера в пассаже. Публика наэлектризована. Плеснули маслица в огонь и местные писаки. Это даже хорошо. Вот, послушай...

Черногорин развернул иргитский «Ярмарочный листок» и начал читать:

– К гастролям известной певицы Арины Бурановой. Покорив в последнее время московскую и петербургскую публику, эта эстрадная дива, «несравненная», как именуют ее чересчур восторженные почитатели, прибывает на Никольскую ярмарку в Иргит. Но такая ли она

«несравненная»? – зададим мы свой вопрос. Имеются разные мнения. Не обладающая музыкальными познаниями, не имеющая даже основ культурного воспитания (какое может быть воспитание у деревенской девушки?), Буранова, тем не менее, становится едва ли не королевой всех российских подмоетков. Одна из столичных газет весьма ядовито отозвалась о Бурановой, напечатав следующую эпиграмму:

А вот вам – баба от сохи,
Теперь в концертах выступает,
Поет сбор разной чепухи,
За выход «тыщи» получает!

– Яков, выкинь свою газетенку! Надоело! Ты же знаешь, что я терпеть не могу этих дурацких статей!

– Зачем же выкидывать, пригодится для моей коллекции. Придет время, и я продам ее за большие деньги. Представляешь, Арина, я – старый, хворый, пальчики трясутся, стакан воды подать некому... Печальная и горькая картина! Но приходят благодарные потомки и спрашивают: а скажите, Яков Сергеевич, что это за явление было в России на заре нового века – Арина Буранова? И тогда я достану бесценные...

Арина сдернула с кресла замшевую подушку и запустила ее в Черногорина. Тот, ловко увернувшись, обошел вокруг стола, удобно уселся в кресло и вытянул длинные ноги в блестящих башмаках; плавно разводя перед собой руки, продолжил негромко и спокойно:

– Все наши придут завтра, номера заказаны. Теперь о вашей просьбе, Арина Васильевна...

– Узнал? – встрепелась Арина, пробежала, глухо стуча босыми ногами по ковру, и присела, как девочка, на корточки, снизу вверх глядя на Черногорина: – Не томи, Яков! Рассказывай, что узнал!

Черногорин опустил тонкие худые руки на колени, запрокинул голову, устремив взгляд в потолок, и вздохнул:

– Провинция, моя несравненная, хоть и ярмарка известная, а все равно глухомань – паутина-с, изволю вам доложить, по углам имеется... Глянь сама.

Арина сердито дернула плечом, но ничего не сказала, терпеливо ждала. Черногорин тряхнул головой, словно пытаясь что-то вспомнить, и снова вздохнул, но дальше говорил уже четко и ясно – по делу:

– Все узнал, Арина Васильевна. Итак, по порядку. Естифеев, Семен

Александрович. Великан-старик, несмотря на почтенный возраст. Собственная торговая контора, скупка и продажа зерна, имеет три больших мельницы, три парохода и баржи. «Кормилец», на котором вы приплыть изволили, ему принадлежит. Член ярмарочного комитета. Здесь вся местная знать в ярмарочном комитете состоит, а возглавляет его городской голова, господин Гужеев, и с Семеном Александровичем находятся они в приятельских отношениях. Не так давно Естифеев в третий раз женился, а в скором времени, похоже, состоится еще одна свадьба – падчерицу свою он хочет выдать за сына станичного атамана. Фамилия у этого атамана забавная, под стать должности – Дуга. Торговые и финансовые дела у Семена Александровича идут очень даже хорошо, никакого изъяна в них не наблюдается, и подступиться к нему ни с какой стороны невозможно. Брось глупую затею, Аринушка!

Брось! Отвеселим здешнюю публику, получим свои денежки, и – ту-ту! В Москву!

– Как ты сказал, фамилия атамана? Дуга?

– Точно так-с. Именно Дуга, а не Телега. Арина, ты меня хорошо слышишь? Брось! И знай – я тебе помогать не буду!

– Будешь, Яков Сергеевич, будешь помогать. И никуда ты не денешься. Все деньги за концерты твои – до копеечки. Весь мой сбор себе заберешь.

– Милая моя! Но я же всего-навсего антрепренер, а не шулер!

– Это одно и то же, что антрепренер, что шулер, переучиваться тебе, Яков, не понадобится. Теперь ступай, поздно уже, я отдохнуть желаю.

Черногорин поднялся с кресла, хотел что-то возразить, но передумал. Он давно и хорошо знал Арину Буранову и понимал, что говорить сейчас разумные слова – все равно, что сухой горох кидать в стенку, сколько ни старайся – отскакивает. Развел перед собой руками и вышел из номера.

Неотъемлемой частью гостиницы «Коммерческой», точно так же, как высокие колонны и каменное крыльцо, был этот сивобородый дед по прозвищу Лиходей. Впрочем, имел он вполне благозвучную фамилию, Соснин, и имя-отчество приличные, Петр Кириллович, но, похоже, давным-давно их позабыл и охотно отзывался на свое прозвище и сам себя им называл, представляясь незнакомым людям. После полудня, ближе к вечернему часу, подъезжал он к «Коммерческой» на своей знаменитой тройке – звери, а не кони! – становился на законное место, принадлежавшее только ему и которое никто не имел права занимать, доставал из-под облучка старую, обтерханную балалайку с двумя струнами и начинал терзать эти струны корявыми, в дегте измазанными пальцами с черными ободьями грязи под толстыми ногтями. Струны брэнчали, дребезжали, тенькали, но даже намек на складную мелодию озвучить не могли. Лиходей же, слушая собственную игру, блаженно улыбался, поматывая головой из стороны в сторону, и его седая, во всю грудь, борода шевелилась, будто сама по себе, и поблескивала.

Старожилы Иргита рассказывали, что раньше Лиходей был совсем иным: крепкий, обстоятельный мужик; имел справный дом, хозяйствовал, но случилась беда – жена его с дочкой переплывали в непогоду Быстругу на лодке, перевернулись и утонули. После похорон, погоревав и справив сороковины, он продал свой дом со всем скарбом, который имелся, и перебрался с одним узелком к своей троюродной сестре, стареющей бобылке, с детства глухой на оба уха. Вдвоем и стали жить. Вскоре Лиходей завел тройку, коляску на рессорном ходу и подъехал к гостинице «Коммерческой», остановившись в тени высокого тополя. Здесь и стоит до сегодняшнего дня, тренькая на двух балалаечных струнах в ожидании седока или седоков.

Он никогда не зазывал клиентов шутками-прибаутками, не хватал их за рукава, как другие извозчики, не голосил во все горло, расхваливая свою езду; молча сидел, тренькал, и клиенты сами его находили, когда случалось у них срочное дело, когда требовалось в самые короткие сроки доскакать до означенного места. Или иная нужда имелаась – прокатиться с ветерком, чтобы хмель из тяжелых голов встречным ветерком выдуло. Лиходей бережно засовывал балалайку под облучок, разбирал вожжи, вскрикивал тонким, пронзительным голосом, и тройка срывала коляску, как легкую

игрушку, несла ее словно на крыльях, и столь стремителен был ход диких жеребцов, что глаза седоков сами собой закрывались от страха, а сердца обмирали, как перед гибелью.

Не имелось в округе быстрее тройки, чем у Лиходея.

Все это знали, потому и недостатка в клиентах у него не было; хоть и редко к нему седоки садились, зато метко – расплачивались за быструю езду, денег не считая. Да он и не торговался никогда, сколько давали, столько и брал. Похоже, что деньги у него на втором месте обретались, а на первом значились скачки, которые тешили и грели его душу слаще «красненьких».^[1]

В этот вечер, дергая балалаечные струны, Лиходей, как обычно, не оглядывался по сторонам и не видел, что из гостиницы вышла Арина Буранова, скромно одетая в серенький сарафан и повязанная в серенький платочек. В правой руке держала она маленькую сумочку из коричневой кожи и размахивала ей, словно собиралась подальше забросить. Постояв на нижней ступеньке высокого крыльца, Арина быстро двинулась к тополи, под которым перебирала ногами застоявшаяся лихоедеевская тройка. Подошла, послушала бреньканье струн и окликнула:

– Здравствуй, дед! Музыка у тебя нескладная и струны две... Куда третью-то подевал?

Лиходей поднял голову, обернулся, и сплошная борода разомкнулась:

– Проехать желаете? Или так... любопытствуете?

– И проехать желаю, и... любопытствую, – Арина легко поднялась и уселась в коляску, – прокати меня, дед, до Сенной улицы, домик там раньше стоял на выезде, под черемухами, знаешь?

– Видывал. Да только какая нужда тебя, барышня, туда гонит, домик-то брошенный, и дела там, сказывают, всяческие случаются. Нечистый домишко, по ночам, сказывают, мертвяки в нем бродят, которые по-православному не отпетые, вроде как на судьбу жалуются... А час уже поздний...

– Трогай, дед, трогай!

– Как скажете, барышня, – Лиходей сунул балалайку под облучок, сам привстал, разбирая вожжи, и тонкий, режущий вскрик сдернул жеребцов с места: – Эх, вы, горькие мои! Поберегись, ударю!

Мелькнула перед глазами Ярмарочная площадь и – отскочила, оставаясь позади. Мелькнули магазины и лавочки на краю площади и – отлетели. Тройка неслась вдоль прямой улицы, похожая на привидение, вот – была, а вот – ее уже и нету.

– Рви кочки! Ровняй бугры! Держи хвосты козырем! – вскрикивал

Лиходей, и жеребцы, послушно отзываясь хозяину, рвали кочки и ровняли бугры, распушив длинные хвосты и взметывая на встречном ветерке гривы.

Долго и бесшумно оседала за коляской летучая пыль.

Арина сжалась в комочек, закрыв глаза, и только одна-единственная мысль билась в голове – не выпасть бы на пыльную дорогу...

Удержалась.

И широко распахнула глаза, когда тройка остановилась. Но еще до того, как Арина открыла глаза, уловила она сладкий и волнующий запах цветущей черемухи, которая, свисая ветками, почти закрывала прогнувшуюся крышу старой избенки, глубоко вросшей нижними венцами в землю. Неведомая птичка, несмотря на поздний час, весело заливалась в глубине белой кипени, не прерывая своего пения ни на одно мгновение – будто тянула, радуясь, бесконечную звонкую нить. Жеребцы всхрапывали, били копытами в землю, казалось, что они досадают и сердятся на неожиданную остановку. Лиходей, не выпуская вожжей из рук, сидел, не оборачиваясь, на облучке и ждал приказаний – дальше трогаться или здесь стоять?

– Жди меня, дед, – Арина ловко спрыгнула с коляски и вошла, оберегаясь густой и невысокой еще крапивы, в маленький дворик, плотно затянутый сухим прошлогодним будылем. Дощатые сени избенки давно развалились, и жерди вперемешку с досками догнивали в крапиве, дверь выпала вместе с косяками и избенка смотрела на нежданную гостью пустым и беспросветно темным проемом.

Арина открыла свою сумочку, которую не выпускала из рук, Достала свечу и спички. Скоро под ладошкой затеплился у нее желтый, трепетный огонек. Оберегая его, чтобы не потух, Арина перешагнула порог и вошла в темный проем. Шаткая половица отозвалась скрипом – резким, противным. Желтый огонек, вздрагивая и трепыхаясь из стороны в сторону, растолкал темноту и проявились осевшая на один бок русская печка, обвалившиеся на нее полати и провисший в дальнем углу потолок. Властвовал в избенке застоялый запах долгого мышинового житья, и даже черемуховый аромат не мог его перебить. Все потемнело, почернело от дождей и талого снега, все было тронут гнилью, и только мох, торчавший из пазов, казался почти свежим и даже чуть заметно поблескивал, когда падали на него отсветы свечного огонька. Арина пробралась в передний угол, где обычно устраивают хозяева божницу, выставляя на нее иконы и обрамляя их вышитым полотенцем. Замерла, прикоснувшись одной рукой к стене, и долго стояла, словно вслушивалась, ожидая какого-то звука или голоса. Но в избенке было тихо, как в деревянном гробу, и только снаружи, из

цветущей черемухи, доносилась сюда трель неведомой птички.

Арина оторвалась от стены, вытянула перед собой свечу, сжимая ее вздрагивающей рукой, вышла на улицу и, не погасив огонек, приблизилась к коляске.

– Свечку-то задуй, барышня, – посоветовал Лиходей, – обронишь ненароком и коляску мне спалишь.

Арина послушно дунула, и огонек, испуганно вздрогнув, погас. Темнота подступила плотнее, и Арина, вздохнув, бросила ненужную теперь свечу в крапиву. Устало и негромко скомандовала:

– Теперь, дед, вези меня к Глаше-копальщице.

– Ку-у-да-а? – Лиходей даже привстал с облучка и шляпу, похожую на засохший блин, сдвинул на затылок. – Этак, барышня, ты мне скоро прикажешь тебя напрямиком в преисподнюю доставить! Ты чего, все поганые места в нашем Иргите объехать решила?

– Да что же в них поганого, дед?

– А то Люди зря болтать не станут. Здесь покойники бродят, а там... там в бабенку бес вселился, хоть и икона, говорят, у нее в яме имеется.

– Ты сам-то видел?

– Не-е, я не охотник до таких дел, я туда не ездук, я все больше по веселым местам седоков своих развожу, по кабакам, по трактирам, да по девкам непотребным.

– Значит, не поедешь?

Вместо ответа Лиходей разобрал вожжи, крикнул тонким своим голосом, и тройка выскочила из истока улицы, устремляясь по узкой полевой дороге к горе Пушистой, которая мрачно чернела в зыбкой темноте майской ночи, врезаясь своей пологой макушкой в светлое и звездное небо.

Из-за горы, еще невидная на небесном склоне, поднималась луна и неверный свет, извещая об этом, растекался по земле, окрашивая зеленую траву в синеватую бледность. Тени жеребцов и коляски неслись и подскакивали в этой бледности словно сказочные чудища. Вот и подошва горы Пушистой. Кони встали.

– Здесь валуны торчат, – сообщил Лиходей, – ближе никак не подъехать. Вон, елки обогнешь, там и копальщица твоя копает. Назад-то ждать или как?

– Жди, дед, жди.

Несколько раз запнувшись о валуны, обросшие от старости мохом, Арина выбралась к елкам, обогнула их и увидела впереди желтое пятно света. Постояла, набираясь решимости, и медленно пошла, не отрывая глаз от этого мерцающего пятна. Свет струился из широкой горловины,

наполовину затянутой старым дырявым рядом. Арина опустилась на колени, заглянула вниз. Горловина, расширяясь, уходила в глубь земли, и там, на самом дне словно в невиданном колодце светились два больших фонаря и растрепанная женщина, одетая в немыслимое рванье, копала лопатой плотный суглинок, укладывая его в большие деревянные ведра, которыми, уже полными и еще пустыми, было уставлено все свободное пространство. Женщина копала размеренно, не останавливаясь и не разгибая спины. Длинные, сваявшиеся космы свисали вниз, закрывая лицо, и слышались только надсадные хрипы, будто копальщица задыхалась, будто ей не хватало в огромной яме воздуха.

Арина наклонилась еще ниже, упираясь ладонями в холодную землю, негромко позвала:

– Глаша, ты меня слышишь? Глаша! Это я, Аринушка! Ты меня помнишь? Помнишь Аринушку?

Копальщица отвела лопату, с силой воткнула ее в суглинок и рывком, упираясь руками в поясицу, выпрямилась. Подняла изможденное, морщинистое лицо, желтое от фонарного света, и дико сверкнули на нем безумные глаза:

– Изыди, лукавая! Изыди! Не искушай!

Нагнулась, выхватила из-под ног сухой комок, с размаху кинула его вверх и, захрипев, громко и жутко, выдернула лопату, взметнула ее над косматой головой. Рубила короткими взмахами воздух, словно отбивалась от кого-то невидимого, и хрипела, выдавливая из плоской груди одно лишь слово:

– Изы-ди!

Арина молчала, уже не называла ее по имени и не окликала, ясно было, что докричаться сейчас до несчастной с поврежденным разумом – невозможно. Поднялась с колен и отошла от горловины. Вернулась к ожидавшему ее Лиходею, села в коляску и приказала ехать в гостиницу.

– Возле этой избенки смертоубийство случилось, давно еще. Какого-то большого чина прирезали, говорили, что хозяин с товарищем постарались. Ну, хозяина отыскали, а куда его семья делась – никто не знает. Убиенного, как водится, похоронили, а избенка ничья оказалась. Один мужичок проворный влез на дармовщину со своим семейством и выскочил – недели не продержался. Такие страхи рассказывал! Покойники по ночам шастают, как живые, плачут, о помощи просят – светопреставленье, одним словом. Так она и стояла, брошенная. А года три назад поселилась в ней бедолага эта, Глаша. Тихо жила, незаметно, и – нате вам! Накупила ведер, лопат, заступов и начала под Пушистой яму рыть. Ее спервоначалу в участок таскали и в скорбный дом грозилась отправить, а после рукой махнули – пускай копает, вреда-то от нее никакого не имеется. Даже вроде как забавно, господа иногда знатные приезжают любопытствовать. На зиму исчезнет неизвестно куда, а как только весна наступает – опять тут. Привыкли уж к ней, бабы жалеют, еду носят... А ваш-то, барышня, какой интерес? Кем она вам, Глаша эта, доводится?

– Спасибо, дед. И за езду спасибо, и за рассказ, вот тебе деньги, держи, а про любопытство мое лучше бы помолчать. Умеешь молчать-то?

– Э-э-э, милая, я со своими конишками столько видел-перевидел, столько слышал-переслышал, что заговори мы нечаянно – много бы шума случилось, а может, и смертоубийства с каторгой. Будь спокойна.

– Вот и ладно, возьми еще денежку – за понятливость.

– Достаточно, барышня, и так по-царски наградили. Будет надобность – кликни.

– Кликну, обязательно кликну.

Арина вышла из коляски, положила ассигнацию на колено Лиходею и быстро взбежала на гостиничное крыльцо.

В номере у нее сидел Черногорин, по-домашнему одетый в цветастый халат, и пил вино, закусывая его леденцами, которые крушил с громким хрустом на крепких зубах. Яркая жестяная коробка, из которой он доставал леденцы, была наполовину пустой, а на полу, под столом, стояла порожняя бутылка – давно уже сидел Черногорин, дожидаясь внезапно исчезнувшую Арину.

Когда она вошла, он поднял бокал, прищурился и через темнокрасное вино принялся ее разглядывать; вдруг озаренно вскинул голову и не совсем

трезвым голосом известил:

– Истина в вине – так утверждали древние. Они не заблуждались, моя несравненная, они мыслили верно. Гляжу на тебя через призму вина и вижу всю твою суть, вот она – пузатая, кривоногая тетка с маленькой-маленькой головенкой. В такой головенке даже самая простенькая, даже идиотическая мыслишка не может разместиться – ей там тесно! Куда ты отправилась? Одна, ночью, с этим полоумным извозчиком! У тебя завтра вечером первое выступление! Ты забыла?

– Ничего я не забыла! – Арина бросила на диван сумочку, скинула башмаки и, босая, присела к столу, развязывая платок. Опустила его на плечи и пригорюнилась, по-бабьи подперев щеку ладонью. Казалось, что она сейчас глубоко вздохнет, как это делают деревенские женщины, и затянет тоскливым голосом протяжную и горькую песню. Но Арина лишь пригладила ладошкой рассыпавшиеся волосы и тихо попросила: – Налей мне вина, Яков Сергеевич, и, будь ласковым, не пили меня, как сноху свекровка. Мне и без твоих строгостей тошно. Ой, как мне тошнехонько, Яков! Давай выпьем, и выметайся отсюда, одна хочу остаться...

Черногорин молча и сердито, всем своим видом показывая едва сдерживаемое негодование, налил ей полный бокал вина и поднялся из-за стола. Сунув руки в карманы халата, принялся ходить по номеру. Видно было, что порывался что-то сказать, но Арина его опередила:

– Пойми – это не прихоть, не капризы и не глупости вздорной бабенки, как ты считаешь. Никогда тебе не говорила, теперь скажу, чтобы ты уяснил и понял. Я к себе домой приехала, Яков Сергеевич, я здесь родилась, здесь у меня дом был, родители... Все было! И ничего не стало... Только одна черемуха цветет. Цветет и голову кружит... Ты видел, Яков, как змеи прыгать умеют? Лежат, – такие ленивые, едва шевелятся и вдруг – ка-а-к прыгнут! Даже глазом моргнуть не успеешь. И насмерть! Капелька яда, ма-а-хонькая, а человек в могиле. Яков Сергеевич, я сюда, как змея, приползла, и скоро прыгну. Теперь ты понимаешь?

Черногорин, не ответив, подошел к столу, ухватил тонкими пальцами горлышко недопитой бутылки с вином и крепко стукнул дверью, покидая номер.

Утром он появился, как ни в чем не бывало, с иголки одетый, отутюженный и наглаженный, крепко надушенный, как барышня, одеколоном, и, разводя перед собой длинными руками, известил, даже не поздоровавшись:

– Через два часа нас ждут на пристани, Арина Васильевна. Городской голова, господин Гужеев, изволил вам подарить речную прогулку. Завтрак

подадут прямо на пароходе. Будьте уж настолько милостивы – без капризов и без опозданий.

Арина подошла к нему, положила руки на плечи, глянула снизу вверх и спросила с надеждой:

– Яков, ты мне поможешь?

Черногорин молча снял ее руки со своих плеч, отшагнув назад и, отвернув худое, горбоносое лицо, сказал, глядя в стену:

– Экипаж подадут к выходу, я буду вас там ждать.

Повернулся, пошел и даже не замедлил шага, когда догнал его крик Арины:

– И черт с тобой, индюк надутый! Без тебя справлюсь! Больше ни одного контракта с тобой не подпишу! Сам будешь петь, и пусть тебя тухлыми яйцами закидают!

У порога Черногорин все-таки остановился, напомнил:

– Попрошу не опаздывать.

Сумочка, которая подвернулась Арине под руку, полетела, описывая дугу и роняя на пол всяческую мелочь, но ударилась уже в закрытую дверь и повисла, зацепившись за бронзовую ручку. Таким же манером пролетел башмачок и глухо упал на пол, отскочив от двери. Арина, остывая от внезапной сердитой вспышки, присела возле трюмо, долго вглядывалась в свое отражение и вертела вздрагивающими пальцами серебряную пудреницу. Но вдруг мотнула головой, раскидывая распущенные волосы, вытерла ладошкой наворачивающуюся слезу и рассмеялась – звонко, в полный голос, словно обрадовалась несказанно радостному известию. Она всегда так делала, если одолевали ее тоска или обида. Смеялась и будто стряхивала с себя все житейские неурядицы, душа успокаивалась, глаза снова смотрели на мир восторженно и любовно.

И вот так, с сияющим взглядом, с высоко вскинутой головой, украшенной круглой белой шляпой с широкими полями и с атласной голубой лентой, завязанной кокетливым бантиком, появилась она на высоком крыльце «Коммерческой», ласково улыбаясь ожидавшему ее Черногорину. Тот, несколько не удивляясь внезапно произошедшей перемене в настроении «несравненной», подал ей руку и осторожно посадил в коляску. Кучер хлопнул вожжами, и коляска мягко покатила в сторону пристани.

День над Иргитом разворачивался теплый, яркий. Ни ветерка, воздух стоял неподвижным, и виделось в прострел длинной и ровной улицы далеко-далеко: зеленый берег, пристань, искрящаяся синева Быструги, и еще дальше – другой берег, пологий и песчаный, венчавшийся темной, без

единого просвета, полосой густого ельника.

У пристани уже стоял «Кормилец», украшенный разноцветными флагами и флажками, на мостике, поглядывая из-под руки, красовался Никифиров в белом кителе, у трапа, поджидая гостей, важно прохаживался городской голова Гужеев, а рядом, почтительно вытянувшись, стояли чиновники городской управы, которые были удостоены чести присутствовать на речной прогулке, устроенной в знак уважения к знаменитой столичной певице, о которой раньше доводилось только читать в журналах, да в газетах. А сегодня вот она, собственной персоной, и совсем не гордая, не заносчивая, всем улыбается, поблескивая большими голубыми глазами, и говорит просто, не жеманясь:

– Я вам так благодарна, господа, честное слово, такое удовольствие на этом пароходе плыть, такое удовольствие на красоту глядеть, я в восторге!

– Примите мои извинения, – повинулся, прикладывая пухлую руку к груди Гужеев, – что не смог вас вчера встретить. Срочное заседание управы пришлось проводить, у нас ведь ярмарка открывается, страда наша... Простите великодушно.

– Да о чем вы говорите, уважаемый! – улыбалась ему Арина, обласкивая его теплым взглядом. – Я совсем не в претензии, меня прекрасно встретили, прекрасно устроили – мне все нравится! Все!

Она взяла городского голову под руку, и он, высокий, большой, грузный, осторожно повел ее по трапу на палубу «Кормильца», а следом за ними, на почтительном расстоянии, потянулись и остальные. Замыкал процессию Черногорин, осторожно ступая по истертым доскам блестящими башмаками. Смотрел себе под ноги, наклоняя голову, словно хотел скрыть свою умную и незлобивую усмешку.

Завтрак, речи за завтраком, гуляние по палубе, рассказы о красивых местах, мимо которых проплывали, иные милые, душевные разговоры – все это затянулось надолго, и Арина с Черногориным вернулись в гостиницу только после полудня.

А там их с большим нетерпением уже ждали. Приехали остальные, как называл их Черногорин, когда был зол, «трупы труппы»: аккомпаниаторы Сухов и Благинин, и Аннушка Нефедова, исполнявшая должности горничной, мамки, бдительной охранницы, кормилицы и даже учительницы жизни.

Изначально собирались ехать в Иргит все вместе, но Арина переиначила по-своему: первым отправился Черногорин, сама она поплыла на пароходе, кружным путем, а сегодня от ближайшей железнодорожной станции Круглой прибыли по старому тракту на экипаже Сухов, Благинин и Аннушка, которую все любовно называли Ласточкой.

Теперь были в полном сборе.

Просторный номер Арины, куда все пришли, огласился громкими голосами, смехом и, конечно, очередным потешным рассказом Благинина, который мастерски умел облечь в слова любую несуразную ситуацию. А ситуаций таких за время долгих и дальних гастролей было преизрядно, и ни одна из них не оставалась без ехидного повествования Благинина. Вот и сегодня, едва лишь схлынуло первое оживление встречи, он вскочил с дивана и заговорил своим скорым, окающим говорком:

– Могло такое случиться – не дождались бы нас сегодня. Пришлось бы Арине Васильевне без аккомпанемента выступать, а мы бедовали бы в каталажке. Ну разве что Яков Сергеевич приехал бы выручил, хотя, думаю, денька три все равно подержали бы, для устрашения...

– Ботало! – сиплым, обрывающимся голосом перебила его Аннушка. – Нагородит теперь семь верст до небес, и все лесом!

– Попрошу не обижать меня простонародными словами, Ласточка. Говорю только голую правду. Итак, слушайте... Пока экипаж ожидали, зашли в чайную, перекусить. И только за стол сели, только половой к нам подошел, как забегает растрепанная девонька и голосит отчаянным голосом, чтобы ее спасли от гибели. Никто ничего понять не может, а следом за девонькой – мужичок пьяненький, ухватил ее за волосики и давай таскать по полу. Мы и ртов открыть не успели, и глазами не моргнули, а

Ласточка из-за стола выскочила, мужичка за шкирку и за штаны взяла ручками своими белыми и в окно выкинула. Да хорошо, что окно настежь было открыто по причине теплой погоды – нигде мужичок не зацепился, прямиком в лужу прибыл. И лежит, не шевелится. Ну, думаем, убился. Спихватились и бежать. А тут, на счастье наше, и экипаж подали. Вовремя отъехали, хорошо погони не было. И не ведаем теперь – живой тот мужичок остался или помер? И спросить не у кого!

– Ботало! – еще раз повторила Ласточка и обиженно поднялась из-за стола, выпрямляясь во весь свой огромный рост. Необъятная в стане, с могучим разворотом крутых плеч, с грудью, выпирающей из кофты, как две горы, с крупными, широкой кости, руками, Ласточка казалась сказочной богатыршей, которую следует не на шутку опасаться – а вдруг возьмет, да и осерчает. Но круглое ее лицо с добрыми коровьими глазами излучало столько чистой наивности и простоты, что не верилось, что способна она кого-то всерьез обидеть.

– Набрехал, и довольный! – говорила Ласточка, заливаясь смущенным румянцем и поправляя рукава кофты. – Нисколько он не убился, сразу на карачки встал, а после выпрямился и ушел, и мы убежать никуда не убегали. Поели и поехали. Насочинял! Язык, как помело!

– Погоди, погоди, – тихонько, в ладошку, хихикал Черногорин. – Но в окно-то мужика выкинула?

– А чего он, дьявол пьяный, за волосы бедняжку таскать взялся! Кто ему такую волю дал, чтоб над живой душой измываться?

– Ты уж, миленькая, не обижайся, – вступила в разговор Арина, – только пьяных больше так не наказывай, а то и впрямь неприятность случится – заберут в полицию.

– Да кому я там нужна, в полиции-то?! – сиплый, срывающийся голос Ласточки звучал неподдельно удивленно, – У них, по-всякому, другие хлопоты имеются! А с меня какой спрос?!

Она твердо была уверена, и никто бы не смог ее переубедить в том, что заступаться за тех, кого обижают, дело само собой разумеющееся и, соответственно, никакому наказанию не подлежащее. И чтобы ей ни говорили, какими бы словами ни пытались внушить опасение, она бы искренне не поняла.

Вот такая она была, Аннушка-Ласточка, самый близкий для всех человечек в «труппе трупов». Любили ее, как малое дитя любят в большой и дружной семье, подшучивая и посмеиваясь над его проделками.

Когда-то она служила вместе с Благиным и Суховым в разъездной оперетке. Благинин с Суховым играли в оркестре, Аннушка ворочала

громоздкий реквизит при частых переездах, штопала и перешивала костюмы и время от времени, если возникала надобность, выходила на сцену исполнять безмолвные роли. Но в Нижнем Новгороде, на ярмарке, приключилась с ней любовная драма – завладел ее большим и отзывчивым сердцем цирковой борец Подгурский. Великан, красавец, усы – в разлет. И пропала Аннушка. Все бросом бросила, отправилась вместе с цирковыми в долгие гастроли по Волге. Плыли, плыли и приплыли в Астрахань, где Подгурский коварно отрекся от Аннушки в пользу воздушной гимнастки. Аннушка впала в тоску, загоревала, и хватилась в отчаянную минуту неразведенного уксуса, решив, что лучше умереть, чем жить с душевной раной. Но в больнице ей помереть не позволили, выходили, и в память о недолгой и несчастной любви остался только сиплый, срывающийся голос, спаленный злым уксусом. Этим голосом, почти потерянным, Аннушка обозвала Подгурского гулящим кобелем, воздушную гимнастку – сучкой, и начала новую жизнь, зарабатывая на хлеб стиркой белья и снимая угол у вдовой старушки.

Прошло несколько лет. Благинин вместе с неразлучным дружкой своим Суховым покинули оперетку, точнее сказать, переманил их чуткий на таланты Черногорин, точно угадавший, что лучших аккомпаниаторов для репертуара Арины Бурановой и желать не надо. Не ошибся. Слово из ружья выстрелил и в яблочко попал. Звезда Бурановой быстро поднималась вверх, и немалую долю в ее успех вносили неразлучные дружки, виртуозно владевшие гитарами, гармонью и цитрой,^[2] оставаясь по-прежнему абсолютно непохожими: один – шустрый и говорливый, другой – молчаливый, почти немой, всегда с тусклым и ленивым взглядом, будто только что проснулся. Несмотря на столь разительные отличия, дули они в одну дуду, по любому поводу было у них единое мнение и поэтому несколько не удивительно, что явились они на гастролях в Астрахани к Черногорину и стали просить в один голос, чтобы он принял в труппу Аннушку. Та, оказывается, прочитала на афишах их фамилии, пришла на концерт, а после заглянула за кулисы и взмолилась: возьмите меня, родненькие, хоть кем, увезите отсюда, я тут насквозь рыбой провоняла и на руки страшно глянуть – до живого мяса достигалась. Черногорин подумал-подумал, нахмурил лоб, поразводил перед собой руками и соизволил разрешить:

– Приводите, поглядим на вашу девицу.

Когда Аннушка появилась в гостиничном номере, едва не заполнив его наполовину своим телесным избытком, Черногорин, пораженный этим явлением, только и смог, подскочив с кресла, удивленно воскликнуть:

– Ласточка!

Так Аннушка получила свое второе имя.

С Ариной они сдружились с первого дня – водой не разольешь. И с первого же дня Ласточка решила, что Арина без ее догляда обязательно пропадет, поэтому заботилась о ней днем и ночью, оберегая, иногда неуклюже, от неприятностей, которые, по ее мнению, могли приключиться. Сейчас, после разлуки, соскучившись, она досадовала, что Благинин, как всегда приукрасив и приврав, рассказывает о казусе, случившемся в чайной, и не дает расспросить в подробностях о том, как Арина добралась до Иргита, какое у нее настроение, и не болит ли нога, которую она подвернула перед отъездом.

Сама же Арина, глядя на Ласточку, на Благинина и Сухова, испытывала тихое и теплое душевное спокойствие – вот и хорошо, все вместе, все родные, и даже Черногорин, в которого швыряла утром сумочкой и башмачком, которого ругала и грозилась никогда с ним больше не подписывать контракта, даже он, как и прежде, был близким и милым – долго сердиться она не умела. И послушно выслушала, и согласно кивнула головой, когда Черногорин строго напомнил, что до вечера, до выступления, времени осталось немного и веселые разговоры можно отложить на будущее. А теперь – всем в театр, осмотреться, подготовиться и одеться для выхода. Первое выступление на гастролях – это не первый блин, который комом. Если оно провалится, никаких блинов и пышек больше не будет.

Дружно встали и пошли, пошли, пошли... Благо, что до городского театра рукой подать – через площадь.

С раннего утра в доме Гуляевых царили переполох и суета – собирались выезжать в Иргит на ярмарку. Правда, суетились, перекликались, шумели и хохотали без всякой видимой причины гуляевские девки – было их в семье трое. Глава семейства, Поликарп Андреевич, пребывал в смутном расположении духа, хмурился, покашливал, сплевывал на землю тягучей слюной и никакого участия в общих сборах не принимал – сидел в ограде, в теньке от стены дома, на чурочке, и делал вид, что занимается важным делом: осколком стекла скоблил березовое топорище. Тяжело было нынче Поликарпу Андреевичу. Глаза бы ни на что не глядели. Вчера понес он новый, только что сшитый полушубок деревенскому лавочнику Аверьянову. Тот полушубок примерил, прошелся по горнице, перед зеркалом покрасовался и премного остался доволен: обновка получилась – на загляденье. От довольства своего принялся Аверьянов щедро угощать Поликарпа Андреевича, говорил, захмелев, что такого мастера, такого портного, какой в Колыбельке имеется, даже в самом городе Иргите не водится, а еще говорил, что Гуляев для деревни – сущий клад, ведь обшивает он всех подряд, цены за работу не задирает и всегда поступает честно: если останется кусок овчины лишней, либо материи лоскут, никогда его себе не притаит, а вернет заказчику. Вот за это и уважают люди Поликарпа Андреевича, и он, Аверьянов, тоже уважает и желает угостить золотого человека от чистого сердца и поцеловаться с ним от избытка чувств. Выпивали, целовались, да не по одному разу, и домой добирался Поликарп Андреевич в очень шатком положении. Сколько ни целился, а в калитку лишь с третьего захода угодил. Дальше – дело известное и с недавних пор привычное: прокрался в боковую каморку, где топчан имелся, и прикорнул неслышно.

Раньше, лет десять назад, он по-иному домой заявлялся. Какими бы тычками земля под ногами ни дыбилась, он всегда находил опору, упираясь руками в столб или в калитку, и кричал, не торопясь войти в свою ограду:

– Кто домой пришел?!

Выскакивала из дома жена его, терпеливая и послушная Антонина, бежала открывать калитку и громко голосила:

– Поликарп Андреевич, хозяин наш, домой к себе пожаловал!

И много происходило шума и слышалось грозной ругани, если Антонина замешкается и не так громко, как хотелось хозяину, проголосит.

Строг был Поликарп Андреевич, когда требовал к себе беспредельного уважения. Но требовал его не часто, лишь в те редкие дни, когда перебирал зеленого вина. А в остальное время сидел, не разгибая спины, над швейной машиной «Зингер», и стрекотала она, не ведая перерывов. А как иначе? Трое ртов нарожали они с Антониной в совместной жизни, и в каждый рот требовалось какую-никакую крошку положить, а заодно еще и одеть-обуть. Вот и трудился...

Размеренную жизнь судьба переломила, как палку через колено, ровно в три дня. Именно такого короткого срока хватило нутряной болезни, чтобы свести в могилу Антонину. Остался Поликарп Андреевич с тремя малыми девками на руках и хлебнул горького по самые ноздри. Через год не выдержал – женился. Привел в дом новую жену и мачеху, Марью Ивановну. Издалека ее доставил, из глухой деревни в верховьях Быструги, где засиделась она в девках-перестарках по причине одного существенного изъяна – кривая была на левый глаз, затянутый бельмом. А во всем остальном – на загляденье. И телом ладная, и характером покладиста, и умна по-житейски – всех троих девок быстро сумела прилепить к себе любовным терпением. Они в своей мачехе души не чаяли. Скоренько окоротила Марья Ивановна и Поликарпа Андреевича, когда тот, освоившись с новым своим положением, потребовал, возвращаясь домой пьяненьким, уважения и почитания. Два раза крикнула Марья Ивановна, извещая, кто домой пожаловал, и сапоги с супруга стащила, и уложила в постель, а на третий раз такое коленце выкинула, что Поликарп Андреевич сразу протрезвел, хоть и не до конца. Заслышав грозный голос супруга, явившегося на развязях, Марья Ивановна схватила заранее припасенную веревку и кинулась в сарайку; пока бежала, а бежала трусцой, не торопясь, по сторонам оглядываясь, кричала, как под ножом:

– Да пропади она пропадом, такая жизнь! Удавлюсь – все легче будет!

В сарайке петлю изладила, скамейку притащила, но вставать на скамейку и голову в петлю засовывать не спешила, только кричала, пока не вломился в сарайку Поликарп Андреевич и не дал совершиться задуманному столь хитро якобы самоубийству. Девки во время всей этой заварушки так верещали, загодя наученные мачехой, что сбежались соседи даже с дальнего конца улицы – когда еще такую потеху увидеть доведется?!

С тех пор хозяин больше уже не вопрошал у супруги, кто в дом после гулянки пожаловал. А если приходил пьяненьким, проскальзывал неслышно, как тень, в боковую каморку и засыпал там, на топчане, вполне удовлетворенный.

Только вот голова по утрам хворала по-прежнему.

Перемогая боль, Поликарп Андреевич уже и не знал, какое заделье себе придумать. Топорище осколком стекла до того гладко отскоблил, что оно из рук выскальзывало. Тоскливо оглянулся, повел взглядом по ограде – чем бы еще заняться?

– Да не мучайся ты, ступай в дом, я на столе там тебе оставила, – сообщила, между делом, пробегая мимо с узлом, Марья Ивановна. Даже головы не повернула, буркнула себе под нос и проскочила. До чего же хитрая баба! Столько времени мучиться заставила! Поликарп Андреевич кинул стекло на завалинку и поспешил в дом, сжимая в руке топорище. На столе дожидались его большая кружка с домашним пивом и кринка с холодным квасом. Не торопясь, обстоятельно, Поликарп Андреевич обе посуды до доньшков осушил, посидел, прислушиваясь к себе, и повеселел. А скоро уже вышел на крыльцо, огляделся – орлом, и появился в доме прежний хозяин, который спуску своим домашним не давал за самую малую провинность. Все узлы на возах переложил собственноручно, чтобы они на ухабах из телег не вывалились, сам лошадей запряг и сурово прикрикнул на дочерей, вырядившихся в новые кофты и юбки с оборками, чтобы они в обиходные сарафаны оделись – нечего добрую одежду в дороге трепать. Марья Ивановна попыталась заступиться за девок, но Поликарп Андреевич так глянул, что она сразу же и осеклась – умная все-таки баба, всегда край чувствует, за который перелезть не следует. Пошептала с падчерицами, что-то быстренько им сказала, они повеселели и дружно побежали переодеваться.

После обеда, как и задумывали, выехали со двора на трех подводах. На первой восседали Поликарп Андреевич с Марьей Ивановной, на второй – трещала без умолку, как сорока на ветке, младшенькая Дарья, а на третьей – весело переговаривались старшухи-погодки Елена и Клавдия, входившие уже в пору невест на выданье.

В нынешнем году не смог Поликарп Андреевич выехать на ярмарку в дни Николы-зимнего, захворал, простудившись, и теперь вез на продажу свои портняжеские изделия – полушубки, рукавицы-мохнашки и шапки – с большой тревогой: много нашил за зиму, найдется ли столько же покупателей? За вторую часть своего товара, лежавшего в отдельных мешочках на возах, он не беспокоился – белоснежные кружева у него всегда забирали оптом. Марья Ивановна среди своего, прямо сказать, небогатого приданого привезла и коклюшки – кружева вязать на досуге. Да только быстро сообразила, что если еще шесть рук добавить, можно и о продаже подумать. Прикупила коклюшек, ниток и быстренько выучила всех трех падчериц в кружевниц. Вечера зимой долгие, ветер воет, метель

метет – самое время в тепле сидеть, да коклюшками постукивать. Кружева, когда в первый раз привезли на ярмарку, оказались ходовым товаром – подчистую все распродали. А уж на следующей ярмарке явился торговый человек из Екатеринбурга и сказал, что отныне он, если в цене сойдутся, все оптом забирать будет. Поторговались недолго и в цене сошлись, ударили по рукам, и теперь у Поликарпа Андреевича голова о кружевах не болит. А вот как с полушубками, рукавицами и шапками дело сложится?

Он шлепнул вожжами по сытой, крутой спине жеребца, запряженного в телегу, и вслух, не торопясь, выговорил:

– Да уж как-нибудь, глядишь, и выкрутимся – товар хороший, цена веселая... Становись, ребята, в очередь!

Марья Ивановна, понимая, о чем супруг раздумывает, не удержалась, с тихим и кротким вздохом шпильку вставила:

– Продадим на рупь, полтину пропьем, на другу опохмелимся – вот и вся наша удача... Да ты меня не слушай, Поликарп, это по дурости по моей всякие слова с языка соскакивают.

Ну, вот как с такой бабой жить?! И шпильку вставила, и повинилась сразу же, и обругать не за что! Поликарп Андреевич насупился, замолчал и больше уже своими мыслями вслух не делился, продолжая думать о предстоящей ярмарке, на которую должен был приехать киргиз Телебей Окунбаев и привезти на продажу овечьи шкуры. С Телебеем они приятельствовали не первый год и всегда были друг другом довольны. Надеялся Поликарп Андреевич, что и в этот раз все у них сладится и купит он шкуры для шитья полушубков в нужном ему количестве и по цене не сильно задиристой.

Младшенькая Дарья на второй подводе беспрестанно щебетала о чем-то своем, девчоночьем, и хохотала без удержу, словно ее щекотали за пятки. Иногда оборачивалась, кричала старшим сестрам, чтобы они не отставали, и продолжала беседовать сама с собою.

На третьей подводе, у Клавдии с Еленой, свои разговоры – секретные. А заключался их общий секрет в том, что везли они в Иргит письмо, которое передал им казачий сотник Николай Дуга, квартировавший в избе, стоявшей через улицу как раз напротив гуляевского дома. Сидели они вчера вечером на лавочке, щелкали семечки и вдруг видят – скачет по улице на коне сотник и правит напрямик к ним. Соскочил с седла сам не свой, глаза горят, а голос, когда заговорил, просительно прикладывая ладонь к груди, и вовсе не признать было – дрожит жалобно и рвется, как у больного, которому воздуха не хватает:

– Девоньки, на вас у меня вся надежда! Помогите! Клава, Ле-нушка,

выручайте! Вы же завтра с отцом в Иргит едете?!

– Едем, – еще ничего не понимая, отозвались в один голос Клавдия и Елена, очень уж удивленные необычным поведением сотника. Раньше они его совсем другим видели – шутил, смеялся при встречах, и все грозился привести из своей сотни самых красивых кавалеров и построить их перед сестрами, чтобы те выбирать могли, кого пожелают. Клавдия с Еленой поначалу смущались, краснели, а после привыкли к его шуткам и сами при встречах со смехом напоминали – а где обещанные кавалеры, Николай Григорьевич?

Но вчера вечером было ему не до шуток, и девушки сразу это поняли. А когда узнали, о чем и просит Николай Григорьевич, переглянулись между собой и дали согласие. Очень уж хотели они, не сговариваясь, помочь сотнику. Ясно им было, что просьба его не просто просьба, а с сердечными делами связанная. И хотя он об этом ни словом не обмолвился, они сами догадались. Просил их Николай Григорьевич о том, чтобы доставили они в Иргит письмо и вручили его прямо в руки певице Бурановой. Для этого, учил их Николай Григорьевич, надо будет купить билет на концерт и еще купить букет цветов. И когда все хлопать в ладоши станут, подбежать к сцене и отдать письмо вместе с букетом.

Получив согласие от девушек, Николай Григорьевич вручил им письмо и деньги на билет в театр и на цветы. Хотел еще что-то сказать, но передумал, хлопнул плеткой по голенищу сапога, взлетел в седло и ускакал в сторону полкового лагеря, даже не оглянувшись.

Сейчас, под негромкое тарахтенье тележных колес по полевой дороге, сестры, словно опаматовавшись, рассуждали: как же они смогут выполнить просьбу Николая Григорьевича? Сами они в театре никогда не бывали и цветов никому не подносили – боязно. А еще боязно, что вдруг строгий тятенька никуда их не отпустит, скажет: вы чего, оторвы, удумали, в какой еще театр собрались?! И такой театр отломит, если осерчает, что небо с овчинку покажется, может и плеткой постегать, если мамонька не заступится. Мачеху свою сестры звали мамонькой и обычно делились с ней всеми девичьими секретами. Теперь, вспомнив о ней, решили: вот приедут в Иргит, выберут свободную минуту и расскажут о просьбе Николая Григорьевича. Мамонька, если ей хорошенько все объяснить, обязательно что-нибудь придумает и подскажет. Решив так, они повеселели, и стало их разбирать любопытство: а чего в письме, которое они везут, написано? Так им захотелось глянуть в него и прочитать, что едва-едва удержались. Узел с кружевами, куда письмо было засунуто, переложили на задок телеги, чтобы соблазну не поддаваться, и успокоились.

Под вечер, когда Гуляевы с полевой дороги выбрались на тракт и стали приближаться к Иргиту, пришлось им вдоволь поглотать пыли – подводы, возы, коляски и экипажи двигались одним сплошным потоком. На ярмарку ехало огромное количество народа. Щелкали бичи, ржали кони, скрипели колеса, ругались кучера и возчики – все это сливалось, сплеталось в один невообразимый гвалт, и просекали его, как острые иглы, истошные визги маленьких поросят, которых везли для продажи в немалом количестве.

Возле моста, перекинутого через ручей, впадающий в Быстругу, и вовсе столпотворение. Поликарп Андреевич под уздцы вывел коня, запряженного в первую подводу, на низкий лужок, после и две остальные свои подводы вырубил из общей кутерьмы – решил, что лучше переждать в прохладе возле ручья, чем томиться в пыли и слушать несмолкающий гвалт. Да и коням передохнуть требовалось.

Сестры, спорхнув с подвод, кинулись к ручью умываться, брызгались друг в друга, и водяные капли, прежде, чем упасть, успевали вспыхнуть искрящимися блестками, отражая лучи красного, закатного солнца. Марья Ивановна, отряхнувшись от пыли, сняла с головы платок, выхлопала его, и, повязав заново, зорко огляделась целым глазом – ничего с возов не упало, не потерялось? Все лежало на месте. Она обернулась к супругу и предложила:

- Поликарп, лошадей, может, выпрягем? Пуцай травки пощипают.
- До места доберемся, там и покормим.
- Ой, да эту беду не переждать, глянь – едут и едут. И откуда столько миру взялось?!

В это самое время, словно отзываясь на их голоса, из кустов ветельника вышел, весело насвистывая, странный господин. Был он уже немолод, но строен, одет по-городскому, даже шляпа на голове имелась, но штаны его были выше коленей закатаны, а сапоги, перевязанные за ушки веревочками, держал в руке.

В другой руке – небольшой черный баульчик с блестящей медной застежкой.

Поликарп Андреевич насторожился. Человек он был опытный и хорошо знал, что на ярмарку не только продавать-покупать едут, но и темный народишко плывет, как навозная жижа по теплу из хлева. Такое уж место – ярмарка. Всех без разбору притягивает.

Но странный господин, словно угадав его мысли, перестал насвистывать и вежливо поклонился, растопыривая руки с сапогами и баульчиком:

- Доброго вам здоровья, люди хорошие, и дороги гладкой.

– Ага, гладкой, – буркнул Поликарп Андреевич, – тут не дорога, а затычка.

– Можно ее и обогнуть, если желание имеется, я здесь брод знаю, берега пологие, не желаете за мной прокатиться, – предложил господин и направился к воде, неловко поддегивая занятыми руками закатанные штаны еще выше.

Поликарп Андреевич ответить ему еще ничего не успел, а он, чуть поднявшись вверх по ручью, побрел по воде, которая, оказывается, доставала ему до колен. Не оглядываясь, докладывал:

– Дно здесь твердое, телеги, как по мостовой, прокатятся.

Не долго думая, Поликарп Андреевич тоже разулся, закатал штаны, ухватил коня за повод, и первая подвода осторожно покатила на другой берег ручья. А следом за ней и две других туда же благополучно переправились.

– Спасибо вам, не знаю, как звать-величать, – поблагодарил Поликарп Андреевич.

– Спасибо, человек хороший, для меня многовато будет, не унесу, а вот до Иргита подвезти – в самый раз. Сапоги у меня новые, неразношенные, замучился. И босым отвык ходить – земля колется.

– Ну и полезай на телегу, поедем.

Господин быстро и ловко устроился на телеге, на мягких узлах, и снова принялся насвистывать, внимательно оглядываясь по сторонам.

В Иргит прибыли уже в потемках.

Город, несмотря на поздний час, был оживленным и многолюдным, торопливо шевелился и не собирался, похоже, отходить ко сну. Ворота крытых дворов настезь распахивались, в них въезжали груженные телеги, в домах желтыми пятнами светились окна, отражаясь на земле темными крестами рам, хозяйки сновали, сбиваясь с ног, накрывали ужин для прибывших постояльцев.

Многие из тех, кто регулярно приезжал на ярмарку, уже точно знали, где останутся – загодя договаривались с хозяевами о постое. А кто этого не сделал, ехал обычно вдоль улицы и тыкался во все дома подряд, но редко кому улыбалась удача – все было утрамбовано возами, лошадьми, кладями с товарами и прибывшим на ярмарку народом.

Поликарп Андреевич не тревожился: вот уже который год останавливался он у местного лавочника Арсения Кондратьевича Алпатова. И не только на постой останавливался, но еще и арендовал часть прилавка в его лавочке, стоявшей в третьем ряду на подступах к Ярмарочной площади. Алпатов был бездетным, проживал вдвоем с женой, но дом имел на Сенной улице не бедный, с размахом: на добром фундаменте, под железной крышей, в пять комнат, да во дворе еще флигелек имелся. Вот этот флигелек он обычно и сдавал Поликарпу Андреевичу, а все его портняжеские изделия, привезенные для продажи, сгружали в каменный подвал, закрывали на замок, и ключ от того замка Алпатов передавал своему постояльцу – для полного его удобства.

Едва лишь въехали на Сенную улицу, как господин, который и сидя на телеге, продолжал насвистывать, попросил остановиться:

– Благодарствую, любезный, как на царской карете доставил, до самого места.

Он спрыгнул с телеги, уже обутый, и пошел скорым шагом, растворяясь в темноте, обозначая себя лишь негромким посвистом, но скоро и посвист потерялся. Поликарп Андреевич пересадил Марию Ивановну на вторую подводку, потому как младшенькая Дарья, утомленная дорогой, начала клевать носом, и поехали дальше, глотая густую пыль: на Сенной было не протолкнуться от возов.

Но вот, слава Богу, и добрались.

Окна в доме Алпатова зазывно светились, словно извещали, что

хозяева ждут гостей и спать не ложатся. Встречать вышел сам Алпатов, с фонарем, который бросал яркие отсветы и выхватывал из темноты высокого, крепкого еще старика, с холеной, всегда расчесанной бородой рыжего цвета. Ни единой сединки в этой бороде не маячило, да и сам Алпатов смотрелся, как крепкий груздок – немалые годики пролетали мимо него, не задевая.

Он помог завести подводы под крышу двора, помог распрячь коней, а после таскал вместе с Поликарпом Андреевичем узлы в подвал, и все делал несуетно, обстоятельно, только время от времени громко побряхтывал – была у него такая привычка.

Когда весь товар утрясли и сами расположились, сели ужинать. На стол подавала хозяйка, проворная старушка Василиса Артемьевна. Помочь ей порывалась Марья Ивановна, но хозяйка лишь решительно отмахивалась сухонькой рукой и приговаривала:

– Сиди, голубушка, сиди и кушай. Намаялись за дорогу – отдохайте.

Оно и верно – намаялись. Сразу после ужина направились спать во флигелек. Даже младшая воструха Дарья не щебетала и не хихикала, сунулась на подушку, набитую соломой, и сразу уснула – только расслабленными губешками сладко причмокивала. Следом за ней уснули Елена и Клавдия; поворочавшись и повздыхав, утомилась Марья Ивановна, и только Поликарп Андреевич никак не мог задремать, пытаясь вспомнить: привязал ли он утром к одной из телег деревянную корчажку с дегтем? Колесо на третьей подводе, после переправы через ручей, противно заскрипело и до самого дома Алпатова ехали с тележной музыкой. Девкам-то мимо ушей, а он сразу услышал. За суетой, пока на постой устраивались, он про колесо это позабыл, а вот теперь вспомнил и маялся – есть у него деготь, чтобы ось смазать, или нет? Сон не шел. Поликарп Андреевич чертыхнулся, на ощупь отыскал штаны и рубаху и неслышно, чтобы никого не разбудить, выбрался из флигеля.

Ночь уже скатывалась на вторую свою половину, небо вызвездило, и темнота проредилась. Глаза в потемках обвыклись, и Поликарп Андреевич без всякого труда прошел к телегам, нашарил корчажку, привязанную к днищу и полную дегтя, успокоился, вытер измазанные пальца о штаны и со спокойной душой направился во флигель, где и уснул без всякой тревоги.

Утром, за завтраком, они рассуждали с Арсением Кондратьевичем, между кашей и чаем, о том, что сегодня доставят товар в лавку, разложат его, оглядятся, по ярмарке побродят, ценами поинтересуются, а уж завтра, помолясь, начнут торговлю – до открытия самой Никольской ярмарки оставалось еще три дня. Вот и начнут, чуть загодя...

Хотел Арсений Кондратьевич еще какие-то слова сказать, да так и замер с открытым ртом, стакан с чаем в его руке дрогнул и серебряная ложечка тоненько, жалобно звякнула. Глаза замерли и неподвижно уставились на дверь. Поликарп Андреевич обернулся – он спиной к двери сидел – и увидел на пороге господина, который вчера показал брод через ручей и которого он подвез до Иргита. На голове у него, сбитая на затылок, красовалась черная шляпа, а в правой руке покоился черный баульчик с блестящей медной застежкой. Сам господин улыбался, отчего плоское, словно стесанное лицо становилось чуть шире. Точно так же, как и вчера возле ручья, он поклонился, растопырявая руки и приветливо произнес:

– Доброго здоровья, люди хорошие. Как говорится, хлеб да соль.

У Василисы Артемьевны вздрогнули худенькие руки, большой железный лист, на котором лежали только что вынутые из печи маленькие булочки, выскользнул, грохнулся в пол и булочки весело раскатились по половицам. Господин стремительно нагнулся, ловко подхватил одну из них, дунул на румяную корочку, отхватил зубами больше половины и начал жадно жевать, прищуривая глаза от удовольствия. И одновременно, с полным ртом, говорил:

– Давно домашней стряпни не пробовал – соскучился. Приглашай за стол, Василиса Артемьевна, хоть я и не званый гость, а все равно... Или прогнать желаете?

– Садись, – глухо уронил Арсений Кондратьевич и торопливо, большими глотками стал допивать чай, словно боялся, что стакан с серебряной ложечкой у него сейчас отберут.

Поликарп Андреевич сразу смекнул, что ему со своим большим семейством засиживаться за столом не следует – у людей свои разговоры, для чужих ушей не предназначенные. Вздернул головой, показывая дочерям и супруге, что завтрак закончился, и первым поднялся из-за стола. Хватит, почаевничали. Перекрестились на иконы в переднем углу, поблагодарили хозяев и ушли. А хозяева, растерянные после появления неожиданного гостя, никак не могли обрести себя и в ответ на благодарные слова постояльцев даже не кивнули.

– Кто это к ним явился? – спросила Марья Ивановна своего супруга, когда спустились с крыльца алпатовского дома.

– Не докладывали мне, – сердито буркнул в ответ Поликарп Андреевич, обрезая неуместное любопытство жены, а сам думал: «Нечистое тут дело, ох, нечистое. Остолбенели оба, будто их мешком придавили. Надо будет ухо остро держать. И кто он таков, господинчик этот, если так шибко их напугал?»

Ответить на этот вопрос самому себе Поликарп Андреевич не мог, и поэтому, как всегда в таких случаях поступал, когда тревожился и не знал, что делать, прикрикнул на своих домашних:

– А вы зачем, красавицы, сюда приехали? Глазками хлопать? Дела вам нету? Кто за вас узлы разбирать-раскладывать будет?

– Да, узлы-то в подвале лежат, под замком, – кротко отозвалась Марья Ивановна, – а ключа у нас не имеется.

– Еще чего! Дай вам ключ – сразу и потеряете, полоротые!

Круто развернулся и направился к подвалу, на ходу доставая ключ из просторного кармана штанов.

Скоро в маленьком флигельке уже негде было повернуться. Из больших узлов доставали по ровному счету и увязывали снова десять шапок, десять пар рукавиц и три полушубка – именно с такого количества всегда начинал свою торговлю Поликарп Андреевич, суеверно считая, что если этот товар в первый день разоидется, значит, дальше удача будет – хоть лопатой гребь. А если все, что на ярмарку привез, в первый день вывалить – верное дело, сглазишь эту самую удачу.

Притомился, пока таскал. Не столько от тяжести, сколько от неудобства. Узлы большие, никак не ухватишь, со спины сваливаются. Последний узел, с полушубками, и вовсе из рук выскользнул, глухо хлопнулся о землю, приминая молодую траву, и Поликарп Андреевич не удержался, со злостью пнул его носком сапога. А после махнул рукой и сел на этот узел, переводя дух.

Сел он как раз под окном, створки которого были настежь распахнуты, и хорошо слышалось, о чем говорили в доме. Точнее сказать, говорил один гость. Алпатовы помалкивали. Поликарп Андреевич дернулся было, чтобы подхватить свою поклажу и тащить дальше, но любопытство пересилило, и он остался сидеть, как сидел. А гость между тем напористым и веселым голосом излагал, будто азартно кромсал острой пилой сухую доску – без всякого перерыва:

– По вашей милости, мои сердешные, помытарился я на каторге за убийство, которое не на моей совести, на поселенье в диких краях пожил, по разным городам-весям попутешествовал, а теперь сюда вернулся, долги собирать. Как я их собирать стану, я пока еще не придумал, но точно знаю – с кого эти долги вернуть. Готовьтесь расплачиваться. Жить у вас буду, денег за постой от меня не ждите, и не вздумайте ночью зарезать или отравить какой-нибудь гадостью. Со мной еще другие ребята прибыли, и если что случится, они вас порешат в тот же час, а на крышу красного петуха закинут, чтобы одни угли остались – и никаких следов. Про полицию или

про Естифеева, если жаловаться ему по старой памяти побежите, и говорить не стану – дойти не успеете. Ну а если послушно на меня глядеть будете, может, я вас и пожалею. Вот весь мой сказ. Больше его не повторяю.

– На обличье-то не шибко изменился, – подал наконец голос Алпатов, – приглядаются – узнают...

– Да и пусть узнают! – весело отозвался гость. – Я и сам не прочь о прошлых годиках покалякать – за милую душу. Паспорт у меня чистенький, жить я могу, где пожелаю – вольный я теперь человек. Ясно? А теперь показывайте место, где мне отдыхать.

– Послушай, – заторопился Алпатов, – послушай меня...

– Не буду я тебя слушать, – осадил гость, – и говорить ничего не надо. Когда спрошу – тогда можно и ответить.

Скрипнули по полу ножки стула, который отодвинули в сторону, прозвучали шаги, и все стихло.

«Вот это попал Алпатов! Как с ним гостенек-то сурово, прямо веревки из бедняги вьет!» – Поликарп Андреевич легко подхватил узел и шустро потащил его во флигель, продолжая думать: да кто же он такой, господин этот, свалившийся неизвестно откуда и столь неожиданно?

Всякий раз замедляла она быстрый и скользящий свой шаг, прежде чем ступить на край сцены. Останавливалась, замирая, быстро шептала «Отче наш» и медленно крестилась отяжелевшей рукой. Почему-то именно руки наливались в эту минуту непонятной тяжестью, будто исполняла она перед своим выходом долгую и непосильную работу.

«...не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго...»

Легко вздыхала и словно теряла ощущение своего тела – летела. Бился волнами от стремительных шагов пышный подол длинного платья, вспыхивало, переливаясь, бриллиантовое кольцо на нежной, обнаженной шее, а перед глазами – словно мутная пелена висела. Никого и ничего не видела Арина в первые мгновения своего выхода на сцену. Зал перед ней, как глубокая яма, в которой невозможно даже дна разглядеть – только тугой гул накатывает, ударяет в уши и пелена, как будто разрывается от звуков, глаза прозревают, и видит она перед собой весь зал, залитый светом электричества. Чуть заметный поворот головы в сторону Благинина и Сухова, и гитарные струны, вздрогнув, срезают гул подчистую, а затем уже вольно, без всякой помехи, посылают мелодию, с которой сливается голос.

И обрывалась, замирая, душа, уносилась в белую холодную замять, где нет еще ни разлук, ни печали, ни одиночества, где безоглядно царствует лишь одна любовь, обещающая блаженство и счастье, которые никогда не закончатся. Но коротки, ой, как коротки в суровой жизни миги любви, как внезапно они обрываются, оставляя после себя неутраченную печаль – на долгие годы, а иногда и до самой гробовой доски. Но ведь было, было счастье, и пресекалось от него, как от молодого острого мороза, взволнованное дыхание... А раз так, раз оно было – радуйся, вспоминая, благодари низким поклоном, что не обогнуло оно тебя стороной, ведь горе и счастье всегда идут рука об руку по длинной дороге, стремящейся в неведомую даль, туда, где небо смыкается с землей...

Она не песню пела, она судьбу рассказывала, которую здесь же, в эту минуту, на сцене и проживала – от начала и до конца.

Когда начинала петь, Арина всегда выхватывала наугад быстрым взглядом одного человека, на которого смотрела и для которого пела, как будто он был единственным во всем большом зале. Вот и в этот раз выхватила худощавого господина в третьем ряду, и тот, словно поняв, что она обращается лишь к нему, подался вперед, будто желая быть ближе, и

замер – не шелохнется.

Кончилась первая песня.

И показалось, что потолок иргитского театра с грохотом раскололся и рассыпался – вот с какой силой зал взорвался аплодисментами, а дальше – овация.

Плавно сложив на груди руки, Арина низко-низко поклонилась, а когда она выпрямилась, снова подали свои голоса гитары и снова, как срезали восторженный гул, вернув в зал благоговейную тишину. Исчезла, соскользнув с кончиков пальцев, тяжесть в руках, и руки вспорхнули, зажили сами по себе, то ласковые, то гневные, то застывающие в горьком изломе, то широко распахнутые от радости – каждый жест был в тон песне. И от этого она становилась еще пронзительней.

После третьей песни из зала наперебой стали кричать:

– «Лучинушку»!

– «Шалишь»!

– «Захочу – люблю»!

– «Ветерочек»!

Каждый кричавший желал услышать свою, самую любимую, самую родную и близкую сердцу.

Теперь Арина пела все подряд – весь свой репертуар, перемешанный зрителями, как игральные карты в колоде.

И вдруг, после очередной песни, увидела она, как худощавый господин, сидевший по-прежнему неподвижно и даже не хлопавший, привстал неожиданно словно его кто вздернул и крикнул:

– «Когда на Сибири...!»

Она различила его голос в общем шуме, и не только различила, но и услышала в нем нечаянно вырвавшуюся тоску.

Арина запела:

Когда на Сибири займетса заря
И туман по тайге расстилается,
На этапном дворе слышен звон кандалов —
Это партия в путь собирается.
Каторжан всех считает фельдфебель седой,
По-военному ставит во взводы,
А с другой стороны собрались мужички
И котомки кладут на подводы.

Господин слушал, низко опустив голову. Кажется, и глаза у него были закрыты. Поникли плечи, словно возложили на них невидимый, но тяжелый груз. Столько было горького переживания во всей его согнутой фигуре, что казалось – сейчас он не выдержит и упадет со своего сиденья.

Раздалось «марш вперед!» и опять поплелись
До вечерней зари каторжане,
Не видать им отрадных деньков впереди,
Кандалы грустно стонут в тумане...

Господин так и не выпрямился. Просидел, сгорбившись, не подняв головы, до самой последней песни, когда зал, буйствуя восторгом, поднялся и на сцену полетели цветы. Арина, кланяясь непрерывно, потеряла его из вида, но в памяти у нее он остался, тронув душу своим тоскливым выкриком и поникшей фигурой. Уходя со сцены, она еще раз глянула в зал, но в многолюдье господина уже не различила.

В гримерной комнате, где Ласточка деловито укладывала цветы, как сено в копну, Арина обессиленно опустилась на кресло перед зеркалом и закрыла глаза. Она всегда так делала, потому что никаких сил не оставалось, лишь кружилась голова, да сильно и часто бухало сердце. Руки мелко вздрагивали.

Но вот, кажется, отдышалась. Медленно, словно после долгого сна, подняла веки, увидела в зеркале свое лицо, и оно ей совсем не поглянулось – некрасивое. Тихо попросила:

– Ласточка, подай платье. Переодеться бы надо.

– Сию минуту, Аринушка. Отошла? Экие страсти творятся, слышь, до сих пор хлопают! И цветов-то, цветов надарили, как мы их все дотащим? Погоди чуток, я тебе умыться принесу, вон, как потом обнесло, а после уж одеваться...

Ласточка хлопотала, как наседка, и от ее неподдельной заботы и сиплого, срывающегося голоса Арина окончательно успокоилась, а когда умылась и переоделась в простенькое платьице, повязав голову платочком, она даже повеселела и Черногорина, вошедшего в гримерную комнату, встретила ласковой улыбкой и вопросом:

– Ну, как вам первый блинчик, Яков Сергеевич, чай, довольны?

– Премного доволен, Арина Васильевна. Разрешите в знак признательности вам ручку поцеловать.

Церемонно поцеловал милостиво протянутую руку и, выпрямившись

во весь свой рост, торжественно произнес, горделиво вскинув голову:

– Начало положено замечательное, слух о бешеном успехе завтра распространится по всей открывающейся ярмарке, и театриш-ко этот будет трещать от зрителей, как спелый арбуз от семечек! Благодарю тебя, моя несравненная! А теперь – ужинать! От всех банкетов я на сегодня отказался, стол будет накрыт у тебя в номере, Арина Васильевна, и только для своих. Никаких почитателей, никаких поклонников! Ласточка, если полезут, стой намертво!

– Закрыться на ключ, никто и не полезет, – отозвалась Ласточка, – оно и мне спокойней, а то опять пихну кого невзначай, полицией грозить станете...

– Ласточка, все как раз наоборот, это надо полицию тобой пугать! Не обижайся, я же шучу. Настроение у меня сегодня, Ласточка, приподнятое, вот и валяю дурачка. Все, девоньки мои, все! Занавес! Домой, домой! Выходим через черный ход. А где Благинин с Суховым?

– Да здесь они, через стенку, чай пьют, перед концертом еще заказали, чтобы чай был, – Ласточка стукнула по стене растопыренной ладонью и стена загудела, а в дверь гримерной комнаты сразу же просунулся Благинин. Спросил, обводя всех тревожным взглядом:

– Чего стряслось?

– Да ничего, – усмехнулся Черногорин, – Ласточка в стену нечаянно стукнула.

– А я подумал – землетрясение...

– Это несчастье пока откладывается, а мы идем в гостиницу, через черный ход.

Благинин кивнул, давая знать, что все понял, и исчез.

Вышли через черный ход, благополучно добрались до «Коммерческой», и скоро уже в полном составе собрались за столом в номере Арины.

Все они любили эти нечастые, но такие дорогие их сердцам, посиделки, когда можно было вот так, собравшись за столом своим маленьким кругом, говорить, перебивая друг друга, шутить, смеяться, и ни о чем печальном не задумываться. Арина сняла платок, вольно рассыпав волосы, разулась и болтала под столом босыми ногами, как маленькая девочка, испытывая от этого несказанное удовольствие. Черногорин то и дело поднимал бокал, говорил витиеватые тосты, Сухов, как всегда молчал, только пил и закусывал, и глаза у него становились все более сонными. Ласточка успевала за всеми ухаживать, подкладывая в тарелки, вина не пила – она никогда его не пила – и ласково смотрела большими коровьими

глазами, в которых отражалась словно в зеркале бесконечная доброта. Благинин тешил всех байками, которые, похоже, здесь же, на ходу, и придумывал. Иные из них были весьма солеными, и Ласточка, краснея, недовольно отмахивалась большой рукой, а Благинин лишь похохатывал и, уловив момент, затевал новую байку, или бухтину, как он их называл:

– В вологодских краях у нас обычай такой имеется, – говорил он, сильнее обычного нажимая на «о», – за грибами, за ягодами на телегах ездят. Чтобы корзины на себе не таскать, телегу подгоняют и грузят доверху. Домой везут, а там уж чистят, моют, солят. Вот мой дядя с тетушкой и с ребятенками своими поехали...

Но услышать, что произошло с дядей и тетушкой Благинина, когда поехали они в лес за грибами, не довелось – в распахнутое окно донесся противный, протяжный скрип. Черногорин и Благинин кинулись к окну, перегнулись через подоконник, и снаружи донесся прерывистый голос:

– Руку... руку дайте! Труба оторвется!

Благинин протянул руку, Черногорин, перегнувшись еще дальше, кого-то ухватил, и вдвоем, общими усилиями, они втащили на подоконник встрепанного человека. Он запаленно дышал, настороженно оглядывался, но страха в глазах не было. А когда спрыгнул с подоконника, одернул пиджак и пригладил волосы, то и вовсе успокоился, словно явился через двери в назначенный час по любезному приглашению, а не залез по водосточной трубе, которая едва не оторвалась.

– Слушаем вас, – обратился к нему Черногорин, – чем порадуете?

Человек широко улыбнулся, и его худое лицо землистого оттенка словно посветлело. Арина сразу его узнала – это был тот самый господин, которого она, по неизвестному ей наитию, выделила сегодня среди многих зрителей в зале театра. И кольнуло сердце давней памятью – что-то знакомое, уже виденное ей раньше, еще до сегодняшнего дня, поблазнилось в этом лице, во всем облике и фигуре странного господина.

– Вы кто? – Арина поднялась со стула и подошла к нему, почти вплотную.

Господин снова широко улыбнулся и вместо ответа сообщил:

– Вышел после вашего концерта, Арина Васильевна, и, представьте себе, носом к носу с капитаном Никифоровым встретился. Поздоровались, прошлые годы вспомнили, он, оказывается, тоже на концерте был. Никифоров ничего про вас не сказал, а я догадался. Хоть и тяжело теперь вас признать, а вот догадался. Поговорить захотелось, а швейцары в «Коммерческой», как псы цепные, – не пускают. Пришлось по трубе залезать, вы уж извиняйте за вторжение...

– Филя?! – вскрикнула Арина.

– Он самый. Так можно мне остаться, Арина Васильевна?

– Садись за стол. Выпьем за встречу. Вот, друзья мои, разрешите представить – старинный мой знакомый, Филипп Травкин. Со свиданьем, Филя!

Она до дна выпила свой бокал и замолчала, внимательно разглядывая неожиданного гостя. Остальные за столом тоже молчали, и даже Благинин не пытался продолжить и довести до конца свою байку. Веселое настроение как испарилось, и скоро посиделки свернули. Благинин, Сухов и Ласточка ушли, а вот Черногорин со своего места не тронулся. Сидел в кресле, вытянув длинные ноги, потягивал вино и всем своим видом показывал, что номер он покидать не собирается.

– Яков Сергеевич, нам бы вдвоем остаться, поговорить нужно, – попросила Арина.

– А я вам не мешаю – разговаривайте, – Черногорин отхлебнул вина и, подумав, добавил: – Если я все знать не буду, Арина Васильевна, я даже пальцем не шевельну, чтобы тебе помочь. Понимаешь меня?

Арина долго не отзывалась, продолжая рассматривать гостя, словно силилась увидеть что-то еще кроме него самого – давнее, прошедшее, но до сих пор не забытое и не изжитое, не отболевшее. Вздохнула:

– Ну хорошо, Яков Сергеевич, сиди...

Мир за порогом дома открывался сразу – огромный, цветущий. Она бежала по холодной траве, которая покалывала босые подошвы, и все существо ее заходило и трепетало от восторга. Она не могла сдержать в себе этот восторг и выпускала его на волю – пела в полный голос неведомую, никому не известную песню, которая складывалась сама собой, без всякого усилия, и тоже рвалась в цветущий и огромный мир:

– Вон моя черемушка цветет, травка колется, батюшка уехал, велел маменьке помогать, я теперь домовничаю, надо полы подмести, побегаю, а после вернусь, молочка попью с хлебушком...

Прерывала свой бег, подпрыгивала на одной ножке и, напрыгавшись, бежала дальше.

Земля под черемуховыми кустами – белая-белая, словно снег выпал. Она старательно собирала нежные опавшие лепестки – полную ладошку. А затем дунула изо всей силы, и лепестки разлетелись. Невесомые, они долго кружились в воздухе и неслышно ложились на землю. А один, прилипнув к ладошке, так и не улетел.

Именно этот весенний день, прохладный и яркий, по-особому отложился в памяти, словно с него и началась жизнь.

Стукнула калитка, громко звякнула железная защелка, по деревянному настилу, ведущему до крыльца, слышались несмелые шаги, и робкий голос позвал:

– Дядя Вася, тетя Наташа! Вы здесь живете?

Зажав в кулачке прилипший лепесток, Арина выскочила из-под черемухи, прострочила неслышным бегом к крыльцу и замерла на краешке деревянного настила, разглядывая гостью распахнутыми голубыми глазами. Стояла перед ней невысокая девушка с длинной темной косой, перекинутой через грудь. В каждой руке – по узелку. На красивом лице – тревожное ожидание.

– Ты кто? Ты к батюшке с маменькой пришла?

– А ты – Ариша? Вот, я верно узнала, вылитая дядя Вася! – Девушка сразу повеселела, ее лицо засветилось радостной улыбкой, и она быстро прошла до крыльца, сложила узелки на ступеньку, вздохнула облегченно и сняла с головы платок. По-свойски обратилась к Арине, как к ровне, словно давно ее знала, и пожаловалась: – Я уж думала, что не найду. Хожу, хожу, а все не в тот дом попадаю – в городе-то в первый раз, голова кругом! А

зовут меня Глаша, племянницей я твоему тятеньке довожусь. Вот, приехала, нужда заставила...

Арина подошла ближе, вздернула голову и попросила:

– Можно я твою косу потрогаю? Никогда такой не видывала!

– Ой, Аришенька, подумаешь, невидаль! – Глаша рассмеялась и присела перед ней на корточки. – Шибко ты на дядю Васю похожа. Это к счастью, говорят, когда дочка на отца походит. А я вот на маму похожа, и богатства у меня – одна коса...

Коса была толстая и тугая. Арина гладила ее, пыталась обхватить пальчиками одной руки, но не получалось – пальчики коротковаты. Тогда она подняла вторую руку, и пальчики сомкнулись в колечко.

– Ого, какая она у тебя! А у меня – тоненькая...

– Хорошая у тебя косичка, Аришенька, и волосики густые, вот подрастешь и такую косу-красу отпустишь, еще лучше будет, чем у меня. А где дядя Вася-то с тетей Наташей?

– Папенька на Быстругу уехал, новую лодку спускать, а маменька скоро придет, она в лавку пошла и обещала пряник мне принести. А хочешь, я тебе молочка налью, с хлебушком, я еще не ела.

– И я тоже не ела, – призналась Глаша, – пойдем обедать, я гостинцы тебе привезла.

Она подхватила свои узелки со ступеньки и поднялась на крыльцо следом за маленькой хозяйкой.

Вот так в домике под черемухой, на улице Сенной в Иргите, появилась новая жилища. Хозяин домика, Василий Дыркин, племяннице своей не сильно обрадовался – не на широкую ногу жил мужик, и лишний рот за столом был совсем не к месту. Но слезно писала сестра в своем письме, что после смерти мужа запурхалась она вконец, с тремя ребятишками на руках, света белого не видит, и потому кланяется в пояс родному братчику, чтобы приютил он старшую дочь Глашу в городе и определил на какую-нибудь работу и что молиться она будет, бедная вдова, за него всю оставшуюся жизнь, если не прогонит он сироту со своего двора – длинное было письмо, на двух листах, вспотел Василий, пока дочитал. Сложил листки, опустил их на стол и придавил широкой ладонью. Взглянул на жену – что делать станем?

– Не помрем, – сказала Наталья, забрала письмо и сунула его за божницу, – может, на пароме Глашу пристроим, поговори с Никифоровым.

Через Быстругу ходил паром, таскал его на длинном и толстом тросу маленький грузовой парходик. Капитанствовал на пароходе Терентий Никифоров, а Василий Дыркин числился матросом, на самом же деле – на

все руки мастером: и в машинном отделении мог работать, и на капитанском мостике стоять, если возникала такая надобность, и чалки умел заводить на пристани, когда не хватало людей.

Хозяин парома, купец Естифеев, платил исправно, но имелась одна причина, по которой служить у него на пароме охотников было немного: летом работник при зарботке, пусть и скудном, а зима наступила, лед встал и паром встал – теперь, ребята, ступайте, куда желаете, кормитесь, чем можете, и весны ждите. Но Василий, несмотря на это, за свое место держался, потому что приноровился: зимой он уезжал на зарботки в губернский город, в механические мастерские, где его хорошо знали и ценили за умелые руки. Худо-бедно, а на прокорм хватало.

Но кем девчушку-то на паром пристроить? Матросом, что ли?! Вот сказанула баба, отломила от великого ума кусочек!

– Да ты погоди, не ерепенься, – остепенила мужа Наталья, – нынче пристань новую достраивают, вон какую большущую замахнули, с буфетом, говорят. Там ведь мыть-убираться кому-то надо, вот и поговори с Никифоровым...

Василий поговорил с Никифоровым, с которым они были в приятелях, тот попросил хозяина, Естифеева, и в скором времени Глашу определили на пристань, где она мыла посуду в буфете и подметала полы. Возвращаясь домой, всегда приносила Арине гостинчик – кренделек, пряник или леденец на палочке. Они садились вдвоем в укромном уголке за печкой, который отгорожен был ситцевой занавеской, и шушукались, как закадычные подружки, пока их не разгоняла Наталья, отправляя Арину спать.

Зимой, когда бойкая речная жизнь на Быструге замерла, Глашу удалось пристроить на склады к тому же купцу Естифееву – клеить бумажные кульки и насыпать в них кедровые орехи. Близилась зимняя Никольская ярмарка, а кедровые орешки в синих кулках слыли очень ходовым товаром. Купил такой кулечек и ходи пощелкивай в свое удовольствие, глазей на чудеса ярмарочные. Снег в людных местах в это время скрывался под толстым слоем расщелкнутых скорлупок.

Гостинцы теперь прибывали Арине в виде горстки-другой орешек, и казались они ей слаще, чем пряники и леденцы.

Примерно в это же время, по зиме, стал появляться в доме у Дыркиных высокий парень с рыжеватой и кудрявой бородкой, и Арина узнала новое, раньше ей неизвестное слово – ухажер. Звали ухажера Филей, то есть Филиппом, был он веселым и разговорчивым и работал у того же Естифеева, на тех же складах приказчиком. Приходил он обычно по

воскресным дням, приносил сладости, и все садились за стол степенно пить чай, только Василия не было, он еще в начале ноября уехал в губернский город.

Филя всех смешил, дергал Арину за косичку, а она сердилась и грозилась, что в следующий раз дверь на крючок закроет и в дом его не пустит, хоть он и ухажер. Глаша краснела, Наталья по-доброму улыбалась и грозила Арине пальцем, а Филя вжимал голову в плечи, делая вид, что испугался, и смиренно просил прощения.

После чая Филя с Глашей уходили гулять к балаганам на Ярмарочной площади, Арина, с ревом, рвалась отправиться вместе с ними, но мать строжилась и никуда ее не отпускала. Тогда Арина, подумав, обратилась к Филе с просьбой:

– Мне тоже ухажер нужен! Ты найди, Филя, ухажера для меня, мы с ним на качели пойдем!

Наталья только руками всплеснула и вздохнула:

– Ну, оторва! Эта уж точно без ухажера не останется и в девках не засидится...

Так проходила зима. Долгими вьюжными вечерами Глаша с Натальей занимались рукодельем, Арина лежала на своем маленьком топчане, притворялась, что спит, а сама чутко слушала, о чем говорят взрослые. Чаще всего говорили они о замужней жизни. Правда, говорила-рассказывала Наталья, а Глаша все больше спрашивала и слушала. Потрескивали свечки на столе, от ветряных порывов погромыживала заслонка в трубе, метель скребла по оконному стеклу сухим снегом, и голос Натальи, неторопливый, размеренный, сплетался с этими звуками и тянулся, не прерываясь, словно длинная шерстяная нить, которую накручивают на веретено.

– Я ведь, Глашенька, замуж-то не по своей воле выходила. И свадьбы у нас никакой не было. Приехали Васины родители, его самого привезли, сели за стол, бражки выпили, а наутро два моих сундучишка с приданым на сани закинули, меня в задок посадили и увезли – только и делов. А мне страшно, сама не своя, ведь в чужую деревню увозят, и какая у меня там жизнь сложится... Реву и остановиться не могу. Слезы уж кончились, а я все вою в голос, как на похоронах. Дорога длинная, степью, помню, ехали, один снег блестит и солнце светит. Я глаза прикрыла, чтобы солнцем их не слепило, и не заметила, как в сон сморилась. Сплю, будто в своей постельке в родном доме, и никакой мне заботы, никаких переживаний нет. А когда проснулась, вижу, что Вася рядом со мной сидит. Смотрит на меня, улыбается так по-доброму, а глаза-то у него синие-синие, как небушко, –

краси-и-вый... Я ж его в саях только в первый-то раз вблизи разглядела. Вот и живем до сих пор, грех жаловаться. Сначала в деревне в вашей жили, после сюда перебрались, домик вот срубили, Аришку родили. Вася по железной части большой мастер, все самоуком одолел, без него на перевозе, как без рук. И то сказать – верный кусок хлеба. А больше нам и не надо. Вот так, Глашенька, я замуж выходила. Да ты чего задумалась, никак опечалилась?

– Нет, тетя Наташа, не опечалилась, я про свое думаю. Филя о свадьбе речь заводит, вот, говорит, до осени еще погуляем, а на Покров поженемся.

– Значит, так и будет. Парень он хороший, не баламут какой-нибудь...

И долго они еще говорили, слова сплетались в одну нитку, и даже заслонка, погромыхивая в трубе, не могла эту нить прервать, и Арина уже не слышала и не видела, покачиваясь в сладком сне, как мать заботливо прикрывала ее лоскутным одеялом и крестила на ночь легкой рукой.

Быстро минула зима, а весной Глаша снова оказалась на пристани.

И там, сойдя с парохода, увидел ее и разглядел некий банковский служащий из губернского города с чудной, цветочного происхождения фамилией – Астров.

Прибыл Астров в Иргит по казенной надобности – вынимать душу из купца Естифеева. Тот, не рассчитав свои капиталы, схватил в банке большущую ссуду, надеясь, что в означенные сроки он ее сможет вернуть. Но тут, как на грех, утонули на Быструге две его баржи с зерном. Буря была крепкая, вот и опрокинула баржи. Как камни, на дно ушли. Конкуренты скоренько подсустились, писакам в иргитском «Ярмарочном листке» сунули денежек, и те бойко настрочили: доверять грузы г-ну Естифееву стало опасно, потому как не может он грузы эти вовремя доставить и сохранить в целости – складно, сволочи, настрочили, будто клеймо припечатали. Подряды на перевозку грузов, как обрезало, а тут еще, следом же, неурожай выпал и хлебная торговля зачахла. Свободных денег нет, а ссуду требуется возвращать срочно, так как все оговоренные сроки давно минули, и никаких отсрочек банк уже не давал. Грозное дело впереди замаячило – выставять на продажу движимое или недвижимое и расплачиваться с банком. Но Естифеев и мысли такой не допускал: скорее земля под ногами разверзнется, чем он свое родное имущество из рук выпустит. Надеялся, что удастся ему с Астровым договориться об отсрочке платежа – не впервой, бывало, и не таких важных уламывал.

Но Астров держал себя неприступно. От обеда отказался, номер для себя снял в гостинице «Коммерческой», хотя Естифеев усиленно зазывал его в свои хоромы. И как только разложил вещи в своем номере,

потребовал доставить себя в естифеевскую контору и выложить перед ним на стол все необходимые бумаги.

Совсем стало худо, керосином запахло, который вот-вот может вспыхнуть – осталось только спичку обронить. Естифеев рассыпается мелким бесом, но Астров его будто и не видит перед собой, лишь губы кривит и хмурится. И слышать ничего не желает, кроме одного – когда ссуда возвращена будет?

Заметался Естифеев, но куда ни кинется, везде на клин натывается. Проехался по иргитским купцам, в ноги падал, вымаливая денег взаймы – никто не дал. И не только потому, что ясно видели – дело у Естифеева рушится, но еще и потому, что не любили его, знали распрекрасно, что при удобном случае он любого обжулит, а после еще и посмеиваться будет: не зевай, братец, торговля сонных не привечает. Вот пусть теперь посмеется, пусть попляшет на горячей сковородке.

На второй день после своего приезда, когда Естифеев уже совсем пал духом, Астров решил чуть смилостивиться и заговорил немного иным тоном. Речь завел издалека: жена у него немолодая и прихварывает, сам он часто в казенных поездках находится, потому что клиенты банка в самых дальних местах пребывают, и жизнь получается несладкая, даже так можно сказать – горькая: живет он без женской ласки... И много еще чего наговорил Астров, пока не добрался до главного – подай ему девку с косой, которую он на пристани видел, тогда и подумаем вместе, как сделать, чтобы отсрочку по ссуде получить.

Вон, каким дальним кругом выехал! А мог бы и не ездить! Сказал бы сразу...

Естифеев взметнулся со стула.

Не прошло и часа, как два дюжих работника на пролетке доставили Глашу с пристани в хоромы Естифеева и заперли в дальней комнате. Скоро туда и Астров подкатил.

А через двое суток подъехала к дому Дыркиных все та же пролетка с двумя естифеевскими работниками и высадили они из нее Глашу.

Но Глаша ли это была?!

Какая-то страшная девка стояла на обочине улицы, покачивалась и растопыривала руки, словно хотела нашарить ими опору в воздухе. Волосы раскосмачены, губы разбиты, кофта без единой пуговицы разъехалась до самого живота, а ноги подсекались, то одна, то другая, и казалось, что она не устоит сейчас и рухнет пластом на зеленую траву. Арина выскочила из ограды за калитку, замерла, испугавшись, затем кинулась к Глаше и едва не задохнулась от тяжелого винного перегара, который перешибал запах

отцветающей черемухи. Заверещала в страхе и отбежала. Глаша в ее сторону даже глазом не повела. Тупо смотрела прямо перед собой и губы ее, опоясанные рваной ссадиной, беззвучно вздрагивали, чуть открываясь, и обнажали зубы, окрашенные сукровицей.

Следом за Ариной вылетела на улицу Наталья, ахнула, всплеснув руками, и, оглянувшись, – не видел ли кто? – перехватила Глашу за плечи, быстро повела в дом. Там уложила, принесла воды в ковше, хотела напоить, но Глаша лишь слабо мычала, не размыкая разбитых губ, и отталкивала рукой ковшик, расплескивая на постель воду. Затем повернулась спиной к стене, подтянула колени к животу и завывала – протяжно, тоскливо, как воют собаки в непроглядной ночной темени.

Вечером вернулся с парома Василий, услышал новость и схватился руками за голову. Это как же ему перед сестрой за племянницу отчитываться?! Приступил к Наталье с расспросами, но та в ответ лишь ахала и причитала. Да и что она могла сказать? Сама толком ничего не знала, только и поняла, что ссильничали Глашу, да еще и вином напоили без меры. А что ее двое суток дома не было, так прибежал мальчишка с пристани, сказал, что ее на склады вместе с другими работниками по срочной надобности отправили, что там какой-то товар сопрепел и требуется в самое короткое время его перебрать, и еще сказал, чтобы скоро не ждали. Вот Наталья и не обеспокоилась. Василий ругался, слушая ее невнятные речи, метался по избе, заглядывая в горницу, где лежала Глаша, и отскакивал от проема, закрытого веселенькой занавеской словно ошпаренный. Глаша продолжала лежать лицом к стене, не отзывалась, будто оглохла, и лишь время от времени протяжно выла, пугая всех хриплым нутряным голосом.

Арина пряталась в своем закутке возле печки, видела сквозь занавеску, как отец мечется по дому, слышала хриплый голос Глаши, и дрожала всем маленьким тельцем, еще не понимая в полной мере, что случилось, но, чувствуя своим сердечком – произошло что-то страшное. Ей хотелось заплакать в голос, но она себя сдерживала, и только ладошками вытирала слезы, которые наворачивались сами собой.

В это время прибежал запыхавшийся Филя. Оттолкнул Наталью, которая пыталась заступить ему дорогу, заскочил в горницу, схватил Глашу за плечи, развернул к себе и долго глядел на нее – опухшую, растрепанную, с диким остановившимся взглядом. Затем выпустил ее из своих рук, потерянно вышел, старательно задернув за собой занавеску, и сел на лавку, уронив голову, будто пришибленный. Неожиданно вздернулся, откидываясь к стене, и заговорил:

– Я еще в тот день недоброе почуял, в конторе был, слышал, как Естифеев мордам этим, Петьке с Анисимом, наказывал – срочно девку ко мне домой доставить. А какую девку, для какой надобности – мне и в ум не пало. А сегодня слышу – Петька с Анисимом шушукаются, и Глашу поминают. Я Петьку одного перехватил, рожу ему измусолил, он и сознался: приказал им Естифеев доставить Глашу к нему домой, они и доставили, заперли в комнате, ключ хозяину отдали. А после, как было велено, домой ее отвезли. И еще Петька сказал – Глашей за долги свои Естифеев расплатился. Из банка, которому он ссуду должен, какой-то прыщ приехал, вот он и сунул ему Глашу на поруганье...

– Господи, да что же деется! – вскинулась Наталья. – Неужели на него и управы нет! Надо по властям заявить!

– Не надо, – тихо, едва различимо прошептал Филя, – не надо по властям. У Естифеева везде своя рука имеется, а в руке – деньги. Ладно, пойду я. Если что – не поминайте лихом...

– Ты чего надумал, пареньь?! – заголосила Наталья и кинулась к порогу, заслоняя дверной проем. – Никуда не пуццу!

– Пусти, Наталья, – по-прежнему тихо, шепотом, попросил Филя, – не буду же я через окно выпрыгивать...

И в это самое время дверь в дом широко, уверенно распахнулась, и предстал перед хозяевами и перед Филей собственной персоной Семен Александрович Естифеев. Высокий, сухой, как старое дерево, глаза под лохматыми бровями спрятаны, а голос спокойный и даже слегка веселый:

– Доброго здоровьица честной компании! О чем разговоры шумим? Никак за девицу свою беспокоиться изволите? Да вы шибко не убивайтесь, ну, раскупорили девицу – с кем не бывает! Рано или поздно с каждой девицей такое случается, и ни разу случая не было, чтобы добро ее до дна стерлось. Память забывчива, тело заплывчато. Давайте сядем рядком и обговорим. Я за урон ее девичий хорошие деньги заплачу, на том и договоримся. Приглашай за стол, хозяйка! Я...

Не успел договорить Естифеев. Хоть и небольшой, но стремительный и меткий кулак Филя запечатал ему рот. Естифеев гулко стукнулся затылком в косяк, вздернул руки, пытаясь оборониться, да куда там – голова его под кулаками Филя только моталась из стороны в сторону, будто тряпичная.

– Василий, чего стоишь?! – заголосила Наталья. – Разнимай, убьет ведь! Разнимай!

Словно очнувшись, Василий кинулся к порогу. И с одного удара вышиб Естифеева на крыльцо, на пинках скатил его по ступенькам на

деревянный настил и здесь, уже вдвоем с Филей, они не спускали его с ног до тех пор, пока не подоспели естифеевские работники и не отбили хозяина. Волоком дотащили до пролетки, сунули на сиденье, будто мешок с зерном, и сытый жеребец, перепоясанный кнутом по лоснящейся спине, рывком сдернул пролетку с места – только ее и видели.

Филя с Василием, переводя дух, обессиленно сели на крыльце, друг подле друга, и молча, дружно сплевывали себе под ноги, словно только что довелось им отведать вонючей гадости. Наталья стояла над ними и причитала:

– Да что ж вы наделали?! Он ведь хозяин ваш! Без куска хлеба оставит!

Мужики, не отвечая ей, продолжали угрюмо молчать и плевать, будто у них полные рты слюной забило.

Долго они так сидели, не обращая внимания на причитанья Натальи. Думали. Первым поднялся со ступеньки крыльца Филя, глухо уронил:

– За Глашей глядите. Я завтра с утра приду.

И ушел, не оглядываясь, оставив за собой калитку распахнутой настезь.

Следом за ним тяжело встал Василий. Ни слова не говоря, развернул Наталью, впихнул ее в дом, захлопнул дверь, и лишь после этого пошел закрывать калитку.

К полуночи Глаша затихла, перестав пугать безнадежным воем. Лежала по-прежнему лицом к стенке и не шевелилась. Наталья в тревоге несколько раз заходила в горницу, прислушивалась – дышит ли? И, услышав, что дышит, осторожно, на цыпочках, отходила от кровати. После полуночи они с Василием тоже легли спать, а рано утром, проснувшись, увидели, что Глаши нигде нет. Исчезла. В чем была, в том и ушла. Только оставила на бумажном листке записку, криво нацарапанную карандашом: «Спаси вас Христос за все. Меня не ищите».

Наталья всполошилась – искать надо, найти обязательно, не дай бог, девка руки на себя наложит! Оделись по-скорому, выбежали на крыльцо, а навстречу им, из калитки, полицейские чины:

– Стоять!

И закрутилось-завертелось, как бывает только в тяжелом, кошмарном сне, когда нет сил ни проснуться, ни оборониться от страшных видений.

На улице, прямо под забором, который огораживал садик Дыркиных перед домом, валялся в примятой крапиве мертвый окровавленный человек, раздетый до нижнего белья. Это был, как после выяснилось, банковский служащий Астров.

Полицейские чины начали допросы и расспросы. И начали их так сурово, что грозные голоса не обещали ничего хорошего. Василий и Наталья, ошарашенные столь внезапно свалившимся на них событием, терялись, отвечая на вопросы, уверяли, что они спали и ничего не слышали и не видели, но чем горячее они это доказывали, тем больше сбивались и путались. А голоса полицейских становились все громче, недоверчивей и злее.

В это самое время подбежал к дому запыхавшийся лавочник Алпатов, растолкал столпившихся возле ограды зевак и напрямиком – к полицейским. Одергивал от волнения подол рубахи, перехваченной синим пояском, заикался от собственной скороговорки и рассказывал, вытаращив глаза от усердия: ехал он ночью с супругой здесь, по Сенной улице – у родственников в деревне гостили – и видел своими глазами, как выходил из дома приказчик Филипп Травкин, а Василий Дыркин его провожал и закрывал за ним калитку. Ночь-то светлая была, при луне, вот и разглядел. Вышел Травкин из калитки, пробежал вдоль садика, бросил что-то через забор и дальше побежал, да так быстро, будто за ним собаки гнались. Полицейские, выслушав Алпатова, кинулись в садик, прошлись по нему, по густой траве под черемухой, и – вот оно, железное доказательство: острый, как бритва, сапожный нож, обмотанный понизу тряпкой, с кровавыми пятнами и разводами на этой тряпке и на лезвии.

Полицейские разделились. Одни остались у дома Дыркиных, другие срочно полетели на коляске на другой конец города, на Почтовую улицу, где Филипп Травкин снимал квартиру – половину дома у вдовы Чуриной.

Мигом долетели, заскочили в дом и застали там Филиппа, который сидел за столом и в задумчивости щелкал курком незаряженного револьвера. Оружие у него из рук сразу выбили, оттащили в угол, приказали стоять и не шевелиться.

Филипп стоял, не шевелясь, словно оглушенный поленом, и молча смотрел, как ворошили его пожитки, заглядывая под стол, под кровать и на печку, и вздрогнул, когда из корзины с грязным бельем вытащили скомканный сюртук и манишку. Развернули их, а они – в крови.

– Я не знаю, откуда они здесь! Не знаю! – закричал Филипп, но его уже никто не слушал.

Ловко, сноровисто ему завернули руки и потащили из дома так быстро, что он не успевал перебирать ногами – только носки сапог простукали по ступенькам крыльца да пробороздили по земле длинный след до полицейской коляски.

– Я тогда как не в своем уме был, туман в голове, в глазах – темно. Я же от вас, как Глашу увидел, сразу домой кинулся, револьвер достал и решил в горячке, что пойду сейчас и убью Естифеева. Решить-то решил, а ноги не идут. Вот и сидел всю ночь за столом, смелости набирался, а утром полиция прикатила. Одного тогда не мог понять: когда они успели мне сюртук с манишкой в корзину сунуть, я же все время дома был и не спал ночью – глаз не сомкнул...

– По нужде-то на двор выходил, наверное, – сразу догадался Черногорин и даже головой покачал – чего ж тут мудреного!

– Вот-вот, только я эту загадку уже на каторге разгадал...

– Поздновато дошло, – Черногорин снова покачал головой.

– Да уж как сподобилось, – грустно отозвался Филипп, – на каторге лишь руки заняты, а голова свободная, времени много, вот и додумался.

– А теперь, сударь мой, расскажи подробней о финале этой истории. Как Арина Васильевна...

– Не говори, Филя, молчи, – подала тихий голос Арина, – я сама тебе расскажу, Яков Сергеевич, придет время и расскажу. Не торопи...

Арина вздохнула, плотнее натянула шаль. Плечи ее зябко сутулились. Лицо осунулось, глаза потухли – будто совсем иной человек сидел сейчас в уголке дивана, будто разговор с Филиппом, во время которого они вернули свое давнее прошлое, придавил ее невидимым грузом. Тонкие пальцы, державшие края шали, сжимались все сильнее и даже вздрагивали от напряжения. Отвернувшись от своих собеседников, Арина смотрела в раскрытое окно, в которое несло ощутимой прохладой и за которым пока еще смутно, едва различимо, начинал синеть рассвет.

Черногорин разлил вино, молча подвинул фужер Филиппу, и они выпили, не чокаясь, как на поминках. Долгая и тягучая, установилась тишина, и лишь доносился с улицы тонкий, прерывистый скрип – где-то далеко тащилась одинокая телега запоздалого или, наоборот, очень уж раннего возницы. И вдруг в оконное стекло что-то увесисто звякнуло. Арина даже вздрогнула от неожиданности и вскинулась. На подоконнике, перевернувшись на роговистую спинку, беспомощно молотил лапками крупный темный жук, пытаясь перевернуться. Филипп поднялся из-за стола, шагнул к подоконнику и посадил неожиданного гостя на ладонь.

– Майский жук, – по-детски улыбаясь, объяснил он Черногорину, – по

ночам у нас летает, бывает, что и в лоб стукнется. Ну, очухался, бедолага? Лети! – подкинул жука с ладони, и тот исчез в синеющих потемках.

Филипп проводил его долгим взглядом, вернулся к столу и, не присаживаясь, учтиво попросил:

– Вы уж, Яков Сергеевич, выведите меня отсюда, а то, боюсь, что труба окончательно оборвется и придется мне на костыли становиться.

– Погоди, вывести я тебя отсюда всегда успею, – Черногорин медленно развел перед собой руками, – я от тебя еще ответа не услышал.

– Какого ответа?

– Если ты делаешь вид, что не понимаешь, тогда спрашиваю: вы, сударь, в Иргит зачем прибыли? На родине побывать или на житье здесь устроиться?

– Пока – побывать. Осмотрюсь, огляжусь, может, и на житье останусь.

– А я совсем по-иному думаю, уж прости, любезный. Приехал ты сюда для того, чтобы Естифееву отомстить. И к Арине Васильевне ты сегодня в окно залез совсем не для того, чтобы воспоминаниям предаваться. Выяснить захотел – не войдет ли она к тебе в компанию, чтобы этого Естифеева со света сжить. Верно говорю? Верно. А может вы, мои миленькие, хорошенько подумаете, да и предадите это давнее дело воле Божией. Ни с какого бока вы Естифеева не достанете, разве что уголовщину задумаете. Да только я вам этого не позволю. Слышите меня, Арина Васильевна? Не позволю! Слишком много сил своих и иного прочего я в тебя вложил, чтобы ты певицей Бурановой стала. Это я из деревенской девки Арины Дыркиной певицу Буранову вырастил! Слышишь меня, Арина Васильевна?!

Арина не отозвалась, продолжая кутаться в шаль, и смотрела остановившимися глазами в раскрытое окно.

– Умный вы человек, Яков Сергеевич, – рассмеялся Филипп и весело, громко присвистнул, – на два аршина под землю видите. А вот не желаете, я вам одну историйку расскажу. В деревне у нас, как курицу, бывало, сварят, мы, ребяташки, ломку первым делом ищем. Это косточка такая, вроде как два пальца растопыренных. Вот берут ее двое за разные концы и ломают. А после каждый подает свой обломок другому и приговаривает: бери и помни; а как взял в руки, отвечаешь: беру и помню. И с этого дня все, что ни возьмешь в руки от своего соперника, должно быть со словами – беру и помню. А если не сказал их, если позабыл – значит, проиграл. Дед Аким, сосед наш в деревне, с внучкой своей поспорили, и оба такие внимательные, что больше десяти лет уж прошло, а они – беру и помню. И вот захворал дед, просит внучку, она уж девка на выданье, чтобы кваску на

печку подала. Она подает. Взял он ковшичек и пьет. Внучка и говорит: дедушка, бери и помни. Он аж поперхнулся, бедняга, ковшичек кинул на пол и заплакал: старый я стал, никакой памяти нету. Пришлось ему, как договорено было, когда ломку ломали, ботинки со шнурками внучке покупать. Они ей как раз на свадьбу пригодились.

Черногорин скривил губы и развел перед собой руками:

– Аллегория мне ясна. А мораль... Мораль-то какова?

– Да очень простая, Яков Сергеевич. Я еще долго в ломку играть буду, пока ковшичек с квасом не подам. А теперь проводите меня, утро уже, пора и честь знать.

– погоди, Филипп, задержись на минутку, – Арина говорила, а сама продолжала глядеть в окно, за которым синева наливалась светом и съедала темноту. – Ты Глашу видел?

– Нет.

– А я видела. Она здесь, за городом, яму копает.

– Какую яму?

– Земляную. Не в своем уме она теперь – смотреть страшно. Ты, Филипп, лучше не ходи туда, не смотри. И еще знай, что у меня тоже память хорошая. А что Яков Сергеевич говорил – забудь.

– погоди, погоди! – вскинулся Черногорин. – Откуда про эту Глашу узнала?

– Сорока на хвосте принесла, – Арина помолчала, затем нехотя добавила: – Никифоров рассказал. Он теперь капитан на «Кормильце». Ну и хватит на сегодня. Поговорили и хватит. Проводи гостя, Яков Сергеевич, и договорись там, чтобы его без препятствий в следующий раз пропускали. Придешь, Филипп?

– Приду, Арина Васильевна, я скоро приду.

Черногорин поднялся из-за стола, посмотрел на блестящие носки своих ботинок и молча двинулся к двери, первым выходя из номера. Был он настолько сердит, что даже не оглянулся и не попрощался.

Закрыв двери и оставшись одна в номере, Арина долго еще стояла у окна, смотрела на разгорающийся рассвет, наблюдая, как из синих потемок яснее выступают дома, площадь, театр и недостроенные балаганы возле него, прямые улицы; видела, как покатали тяжело груженные возы, как началось раннее шевеленье в торговых рядах, и все пыталась вспомнить: а когда ярмарка открывается? Завтра или послезавтра?

Так и не вспомнила.

Глава вторая

По краю Ярмарочной площади, вдоль торговых рядов, несли богатый гроб, обшитый глазетом синего цвета. Гроб был большой, широкий и длинный. Несли его почему-то одни бабы – все молодые, красивые, одетые в одинаковые цветастые сарафаны и простоволосые, словно только что вскочили с постели и не успели ни причесаться, ни платков на головы накинуть. Вышагивали они, подставив плечи под гроб, мелкими, плавными шажочками. Подолы сарафанов тащились по земле. А в торговых рядах слышались невообразимый шум и крики: все до единого, кто стоял за прилавками, предлагали наперебой и расхваливали свой товар – квашеную капусту. Больше здесь ничего не имелось, кроме капусты. В бочонках, в бочках, в кадушках, в тазах, россыпью на голых досках – везде капуста. И откуда ее столько взялось?!

Естифеев стоял посередине Ярмарочной площади, приподнимался на цыпочки, вытягивал шею и все пытался разглядеть и понять: кто в гробу-то лежит, кого хоронят? Но видел только белый саван с черными на нем крестиками. Бабы, обойдя торговые ряды, повернули и направились к середине площади, прямо к Естифееву. Гроб на их плечах плавно подплыл, как баржа, и медленно опустился на землю. Одна из баб откинула белый саван, и оказалось, что гроб, вровень с краями, наполнен квашеной капустой. Женский напевный голос ласково предложил:

– Откушайте, Семен Александрович. Знатная капустка, на зубах хрустит.

Естифеев кинулся было в сторону, но его перехватили чьи-то цепкие руки и сунули лицом прямо в гроб, в капустную квашенину. Он дернулся изо всех сил, пытаясь освободиться, и ударился головой в стену. Открыл глаза и долго не мог понять – где он и что с ним?

Взгляд упирался в золоченые цветочки. А эта галиматья откуда? То капуста, то цветочки... Переметнулся на другой бок – слава Богу, дома он, в родной своей спальне и в своей постели. Столик, комод, обои с золочеными цветочками на стенах, божница в переднем углу – откинул тяжелое одеяло, сел, опустив ноги на пол, перекрестился. И в сердцах сплюнул – это надо же, такая гадость приснилась! И почему именно капуста?

– Ладно, растереть пошире и забыть, – Естифеев хлопнул широкими ладонями по коленям и поднялся. Не любил он обременять себя непонятными мыслями, если же они невзначай являлись к нему, то

отмахивался от них, как от надоедливых мух, и старался забытья в обыденных делах – их, дел этих, у него всегда под самую завязку. Ополоснул лицо из рукомойника, оделся по-скорому, и вот уже вышел во двор, оглядывая его цепким, все замечающим взглядом – хозяин.

Восьмой десяток шел Семену Александровичу Естифееву, но он, как старый одинокий осокорь, с годами только темнел, продолжая крепко и уверенно стоять на земле, и никакая червоточина до сих пор не прокралась в худое и жилистое тело. Ходил проворно, говорил резко, коротко, и почти никогда не улыбался; если же накатит редкая веселость, прищурит глубоко посаженные глаза под лохматыми белесыми бровями и чуть качнет крупной своей головой, словно удивится – надо же, случаются еще такие штуки, над которыми повеселиться можно. Все свое обширное хозяйство и людей, которые в нем работали, Семен Александрович крепко держал в темном своем кулаке и терпеть не мог, чтобы ему перечили. В ярость приходил, если такое случалось, и тогда уже не было ему никакого удержу – и черным словом облает, и побить может; схватит, что под руку подвернется, и обиходит.

– Семен Александрович, пожалуйста чай пить! Все готово, самовар вскипел!

Он не откликнулся и даже не повернулся на голос горничной – много чести. Да и обход свой еще не закончил. А совершал он его, если не находился в отъезде, каждое утро: обходил большое свое подворье, заглядывая во все укромные уголки, все видел, примечал, на ходу отдавал приказанья работникам и те хорошо знали, что на следующее утро придет и обязательно проверит – исполнено или нет? И беда будет, если окажется, что не исполнено. Вышибет с подворья и никакие мольбы не помогут. Боялись работники и не любили Семена Александровича, но за место, полученное у него, держались крепко: платил он, несмотря на свою скупость, без обмана, не обижал. Правда, если выгонял за оплошность или провинность, то расчета никогда не выдавал, ни копейки, хоть в лепешку расшибись, выпрашивая свои кровные, – повернется спиной и лишь буркнет сердито:

– Не заработал.

И весь сказ. Ступай и радуйся.

Конюшня, птичник, скотные дворы, погреба, амбары – все успевал обойти с утра Семен Александрович и лишь после этого, после обхода, садился пить чай. Пил он его всегда в одиночку, даже горничную выставлял за порог, чтобы не мелькала перед глазами и не мешала думать. А думал Семен Александрович только о своем купеческом деле, которое разрослось

до большущих размеров и требовало ежедневного догляда. Поэтому каждое утро начинал с того, что размечал наперед весь день: куда съездить, с кем увидаться, какие бумаги подписать требуется. После чая, прибыв в контору, он уже твердо знал, что ему надобно делать. Сейчас, раскладывая наступающий день, Семен Александрович неожиданно сбился с привычных мыслей, чертыхнулся и даже поперхнулся свежей ватрушкой – крошки, веером, по всему столу разлетелись. Как же он мог позабыть?! Не иначе этот дурацкий сон с гробом и с капустой с толку сбил. Как же он мог запомнить! Ведь сегодня, к обеду, должен был прибыть к нему Григорий Петрович Дуга. Как и положено в таких случаях, не один, а с супругой, со свахой и со своим сыном.

Прокашлявшись, Семен Александрович махнул рукой и смирился – пропал день.

Нацедил из самовара кипятку, разбавил заваркой, но пить не стал – все желание отлетело. Не любил Семен Александрович Длинные пустых разговоров, шумных застолий с выпивкой и искренне считал, что предаются этим занятиям лишь люди пустые и никчемные. А сегодня вот самому придется все это проделывать. Да, ладно, все равно никуда не денешься...

И он во второй раз махнул рукой, поднимаясь из-за стола.

В это время за дверью послышался тоненький и жалобный визг, царапанье, затем – легкие, быстрые шаги и голос падчерицы Алены:

– Ну, куда ты, дуралей, лезешь, еще и царапаешься. Пошли отсюда, пошли быстренько.

Семен Александрович распахнул двери. Алена держала на руках совсем маленького щенка, который лупал круглыми глазенками, вертел головой во все стороны и вдруг неумело еще, но уже сердито твякнул. Прислушался – как получилось? – и дальше затыкал без всякого перерыва, набираясь злости от собственного голоса. Семен Александрович свел над переносицей лохматые белесые брови:

– Отнеси в ограду, в конуру, и в дом больше не пускай. Еще раз здесь увижу – порешу.

Алена, вспыхнув, согласно кивнула и убежала, прижимая к себе лупоглазое сокровище. «Вот же чадо горохово, – думал Семен Александрович, сердито глядя ей вслед, – сегодня жениха привезут, сватовство будет, а она все с кошками-собаками играет».

Не в первый раз удивлялся Семен Александрович своей падчерице. Вроде бы все при ней: ладная, красивенькая, послушная, что ни скажешь – все бегом исполняет. Но очень уж жалостливая, без всякой меры: недавно

над скворчиком плакала, которого коты придушили, а после хоронила его в ямке в углу ограды; три дня назад с улицы щенка притащила и теперь с рук его не спускает, а сколько до этого времени всякой калечной живности в доме перебивало – не сосчитать. «Ничего, замуж выйдет – дурь слетит, – продолжал думать Семен Александрович, быстро поднимаясь на второй этаж своего большого дома, – ребятишек нарожает, не до котят станет».

В семейной своей жизни, со всеми тремя женами, а теперь вот еще и с падчерицей, Семен Александрович был строг и немногословен, как с работниками на подворье. Сказал – как отрубил.

А отрубил – не пришить и не приклеить. Ни одну из своих трех жен он не любил и нисколько не горевал по этому поводу. Да что там горевать, если он попросту об этом не задумывался. Сколачивая свое дело и собирая копейку к копейке, он долго не женился, не до того было, а первую жену, уже на тридцатом году своей жизни, взял из голого расчета: приданое за ней очень хорошее давали. И не беда, что невеста была рябая, плоскогрудая и тощая, да еще с хромотой на одну ножку – не скаковая же лошадь в конце концов, чтобы ее по стати выбирать, а после любоваться. Прожили они недолго. Тихая и молчаливая словно пришибленная и потому виноватая, первая жена неслышно, не крикнув и не охнув, померла на шестом году замужества. Вторая жена была при теле, на лицо приятная, но в супружестве на этом свете тоже долго не задержалась – через десять лет отбыла в тот край, где нет ни печалей, ни воздыханий. Ни первая, ни вторая супруга детей ему не оставили. Но и по этому поводу Семен Александрович не горевал – не дал Бог, значит, так и нужно, хлопот и забот меньше. Третью свою супругу, вдовую Катерину Гавриловну, он взял с приплодом – с Аленой. Можно было, конечно, и бездетную найти, но Семену Александровичу в то лето сильно некогда было – он как раз новый пароход в навигацию запустил, отправив его с двумя баржами вверх по Быструге. Можно было, конечно, и обождать, но сильно уж прискучила сухотка, когда один в постель ложишься. А по непотребным бабам Семен Александрович никогда не шлялся. Вот и женился. Наспех, по сторонам не оглядываясь и в выборе не привередничая. И также не горевал. Катерина Гавриловна баба была смиренная, место свое знала и вздорными глупостями никогда не докучала.

Жениха своей падчерице Семен Александрович выбрал сам и не без дальнего прицела: очень уж хотелось ему прибрать к своим рукам скупку хлеба в богатых казачьих станицах, но дуриком туда не полезешь, казачня – народец норовистый. У них все на станичном круге решают. Решат не пускать стороннего скупщика – и не сунешься. Вот и желал Семен

Александрович завести там свою родственную руку, вот и торопился со сватовством и свадьбой, чтобы уже к новому урожаю закрутить свое дело в казачьих станицах.

Ни Катерина Гавриловна, ни Алена и слова не сказали, когда объявил он им о женихе и предстоящем сватовстве. Да и что они могли сказать ему, все равно бы не услышал.

В парадной комнате на втором этаже Катерина Гавриловна командовала двумя горничными, которые накрывали на стол. Позвякивали графины и рюмочки, вилки и тарелки; снизу, из поварской, кухарка таскала закуски, соленья и варенья; на лавке, в больших блюдах жирно поблескивал холодец, только что доставленный из ледника. Семен Александрович глянул на всю эту суету, снова пожалел, что день пропал зря, и забыл, зачем он сюда, наверх, поднимался. Но вида не подал, строго выговорил:

– Невесту-то наряжать пора, хватит ей со щенками возиться.

– Успеем, Семен Александрыч, нарядим, – Катерина Гавриловна смахнула пот со лба и вздохнула: – Мне здесь немножко осталось, стол накроем...

– Поживей шевелитесь.

Он спустился вниз, вышел на крыльцо и остановился, прислушиваясь. Показалось, что где-то зазвенели колокольчики. Нет, поблазнилось. «А чего это я кручусь сегодня, как вша под ногтем? – поморщился Семен Александрович. – Эка невидаль – сватовство! Подумаешь, цари-бояре приедут...» Но, думая так и досадуя, он чувствовал – не в сватовстве дело. Дурацкий сон вышиб его с утра из привычной колеи и не отпускал, цепко держал до сих пор. И что он значил? Капуста, бабы, гроб... Тьфу ты, нелегкая, приснится же такая гадость! Пристукнул кулаком по нагретым перилам и вернулся в дом, пора было и самому одеться по-праздничному к приезду сватов.

Колокольцы за высокой, глухой оградой брякнули ровно в полдень. Работники широко распахнули ворота, и в ограду вкатилась тройка. Семен Александрович степенно, не торопясь, спустился с крыльца, а навстречу ему, из коляски, лихо и по-молодецки выскочил Григорий Петрович Дуга. По столь торжественному случаю и, несмотря на жару, станичный атаман был при полном параде – в темно-зеленом мундире с крестами и при погонах подьесаула, в фуражке с алым околышем, в белых нитяных перчатках и в новых, блескучих сапогах. «Гляди-ка, ни одной пылинки на сапогах нету, будто и не ехал столько верст, – усмехнулся про себя Семен Александрович, – это где он их, за оградой начистил?»

Следом за Григорием Петровичем степенно спустилась на землю,

приподнимая длинные пышные юбки, его дородная супруга, за ней спорхнула сваха – легкая и вертлявая бабенка, которая за короткие полминутки успела и отряхнуться от дорожной пыли, и платок поправить, и крутнуться, так что подол завертелся, и замереть, а после, выкинув руку, поклониться степенным поклоном, едва ли не до самой земли.

«Ну, эта сорока и черта заговорит», – сразу определил Семен Александрович. И не ошибся. Сваха выпрямилась после поклона и затараторила, как сорока на колу:

– Доброго вам здоровьичка, Семен Александрович! К хорошим людям и дорога легкая, быстро доскакали...

– погоди, – властно оборвал ее Григорий Петрович, – чирикать будешь, когда я скажу. Мне, Семен Александрыч, с глазу на глаз переговорить бы с тобой, давай чуток отойдем...

Отошли к крыльцу и только тут Семен Александрович, оглянувшись на супругу Дуги и на бойкую сваху, запоздало удивился – а жених-то где?

Не было жениха.

– Значит, такое дело, Семен Александрович, неувязка вышла, – Григорий Петрович снял фуражку и вытер перчаткой потный лоб, на котором выдавилась красная полоска, – сына моего из полка не отпустили, потому как большие маневры у них, и высокое начальство прибывает. Но слово мое крепкое и назад я его никогда не забираю. Без жениха обойдемся. Сделаем, как водится, по обычаю, чтобы бабы не кудахтали, а решим сейчас, чтобы время попусту не тратить. Какое твое слово будет?

«С кремешком атаман-то, – невольно отметил Семен Александрович, – ишь, как лихо запрягает. Да оно и к лучшему, чего воду переливать, со свадьбой торопиться надо – не успеешь оглянуться, там и молотья подоспеет...» А вслух только и сказал:

– И мое слово крепкое. Идем в дом.

Все прошло по чину и по доброму, старому обряду. Вносили хлебный каравай на расшитом полотенце, сыпала скороговоркой, улещая хозяев, неугомонная сваха; Катерина Гавриловна отнекивалась, ссылаясь на слишком юный возраст невесты, саму невесту выводили к столу, и она краснела до слез от смущения, после рядились о приданом, затем выпивали-закусывали, и никто даже слова не молвил – почему здесь жениха не имеется и где он отсутствует?

Кому надо, те ведают.

Свадьбу решили играть через три недели.

Проводив гостей, Семен Александрович велел срочно заложить коляску – ему еще в Ярмарочный комитет надо было успеть.

– Вот как получается, лапушка, сосватать меня сосватали, а жениха я не увидела, и боязно мне – какой он? Вдруг страшный? Ой, как боязно... – Щенок, уютно покоившийся на руках Алены, свернувшись теплым катышком, приподнял головенку и вытаращил большие круглые глаза, а затем потянулся, высунув яркий шершавый язычок, и принялся лизать ее в подбородок, словно хотел обласкать и успокоить.

– Ой, да хватит тебе! – улыбнулась, отворачиваясь, Алена. – Разошелся... Знаю, знаю, что любишь и пожалеть хочешь. Ладно, лежи смирно.

Но щенок смирно лежать не пожелал. Вздернул головенку, насторожил обвислые еще уши и сердито твякнул. Раз, другой...

Алена обернулась и замерла. На высоком глухом заборе, который огораживал сад на задах дома, сидел, свесив ноги, парень и молча смотрел на нее, прищутив темные узкие глаза. Алена испуганно попятилась, крепче прижимая к себе щенка, но парень приложил руку к груди и попросил:

– погоди, не убегай, не бойся, я поговорить с тобой желаю. Меня Николай Дуга зовут. Отец мой сегодня свататься приезжал. Понимаешь?

Алена смотрела на него и молчала. Зато щенок, подпрыгивая у нее на руках, заходил в тонком твяканье, и даже хвостик его крутился от сердитости.

– Да ты зверя-то своего утихомирь, – насмешливо сказал Николай, – а то вырвется ненароком и порвет меня, как тряпочку. Отпусти его на землю, он стихнет.

Алена послушно опустила щенка на траву, и тот действительно затих, побежал, переваливаясь, к старой рябине и там весело задрал толстую лапку, справляя необходимую нужду.

– Вот и ладно. Дозволь, я вниз спрыгну, а то сижу здесь, как петух на насесте. Дозволяешь?

Сама не зная почему, Алена согласно кивнула, и Николай легко спрыгнул с забора, легким шагом подошел к ней и остановился. Стоял, сунув руки в карманы темных брюк, в синей рубашке, распахнутой на груди, в картузе с лаковым козырьком (форму свою он на квартире оставил, одевшись по-простому) и смотрел с усмешкой, но внимательно. Алена от этого взгляда даже отступила назад – стыдно было, что ее так разглядывают.

– Ну, сосватали? – спросил Николай.

– Сосватали, – выдохнула Алена и зарделась от смущения жгучим румянцем.

– Без меня меня женили! Ловко! А теперь слушай, богатого купца дочка. Жениться я не хочу и не буду. Отцу про мое нежелание известно, да только уперся он, переломить меня хочет. Если переломит, горе тебе будет. Сам я пьяница запойный, а во хмелю себя не помню, недавно коня спьяну шашкой зарубил, как махнул, чуть не наполовину развалил. Вдруг я тебя лупить стану смертным боем... А еще в карты играю, как сяду играть – тоже себя не помню. Все могу проиграть, бывало, что последнюю рубаху снимал. Тебе такая жизнь нужна? Вот и хочу сказать – отказывайся замуж за меня выходить. Говори, что не желаешь судьбу свою молодую сгубить с дурным мужем. Клепай на меня, что придумаешь. Поняла?

– Неправда, – вздохнула Алена и зарделась еще сильнее.

– Чего неправда?

– Неправду вы говорите. У вас глаза хорошие.

– Эть! Кура-вара-буса корова! – Николай выдернул руки из карманов и шлепнул кулаком в раскрытую ладонь. – Я ей про Фому, она мне про Ерему! Да не хочу я на тебе жениться! Как еще разжевать, чтобы поняла?! Не хочу!

– И не женитесь, – от волнения и от смущения у Алены даже слезы на глазах выступили, но голос зазвучал твердо: – Только со своим родителем про это решайте, а я... я вам подпевать не буду и врать ничего не стану. Можете и моим родителям сказать. Полезайте через забор, а после зайдите через калитку, как добрый человек, и скажите. Я и калитку вам открою. Открыть?

– Еще чего придумаешь?! – Николай крутнулся, выворачивая каблуками траву, и вдруг остановился, озаренно хлопнув себя ладонью по лбу: – А давай так договоримся – я тебе другого жениха найду! У меня друг есть, тоже сотник, краси-и-вый, я с ним рядом, как поганка. Такой красивый, глянешь, и с ума сойдешь!

– Не хочу.

– Чего ты не хочешь?

– С ума сходить не хочу. Мне и так нравится – в разуме.

Алена сорвалась с места, на бегу подхватила щенка и убежала – только подол длинной юбки взвихрился.

И что ты с ней делать будешь?! Николай потоптался, глядя вслед Алене, вздохнул и полез через высокий забор.

«Девка-то с занозой оказалась, совсем не дурочка, – думал он,

вышагивая по улице в сторону Ярмарочной площади – с налету не уговоришь. Ладно, поглядим...» Хотя смотреть-то особо, понимал Николай, было некуда. Очень уж крупных дров успел он наломать. Сначала, правда, хотел схитрить и не написал рапорт командиру полка о пятисуточном отпуске, надеясь, что это будет оправданием, а отец без жениха свататься не поедет. Но полковник Голутвин никогда и ничего не забывал, вызвал к себе, выговорил, что рапорт не написан, здесь же приказал написать, и поставил свою положительную резолюцию, сказав при этом, чтобы его не забыли позвать на свадьбу. Что делать? Ехать домой, как говорил отец, и уже из дома – в Иргит, на сватовство? Ну уж нет! Николай подседлал Соколка и махнул напрямик в Иргит, где остановился у родственников своего друга, сотника Игнатьева. Сегодня, в назначенный день сватовства, подошел к дому Естифеева, надеясь, что отец одумается и без жениха не приедет. Зря надеялся. Своими глазами увидел, затаившись за толстым тополем, как подкатила родительская коляска. А когда она въехала в ограду, окончательно понял: худо дело, хуже некуда. Пошел к Ярмарочной площади, побродил там, в людской толчее, без всякой надобности и в конце концов снова вернулся к дому Естифеева, решив поговорить с невестой. Но и тут вышла промашка – не получилось разговора. Не захотела Алена его послушаться. Горит, как маковый цвет, глазки на мокром месте, а голосок – со звоном, твердый. И раскусила сразу, когда понес он окоlesiцу про пьянство, про зарубленного коня и про игру в карты. Себе на уме девица, не в луже подобрали...

Печально размышляя обо всем этом, Николай и не заметил Даже, что снова оказался в центре Иргита, пока не уперся глазами в веселую вывеску «Трактирь». И вспомнил, что еще с утра ничего не ел – маковой росинки во рту не было. Недолго думая, поднялся на крыльцо заведения и толкнул дверь, которая, открывшись, выпустила на волю разноголосый шум, стуканье и бряканье, визгливые бабьи смешки и даже нестройную песню. Отыскал свободный стол и не успел еще сесть, как подлетел к нему расторопный половой – чего изволите?

– Пообедать мне, братец, надо. А там уж сам расстарайся...

– Водочки желаете?

– Водочки желаю, но пить сегодня не буду, не тот случай. Только пообедать.

Половой поскуцнел лицом и испарился. Николай, по сторонам не оглядываясь, крутил в руках деревянную солонку, дожидаясь, когда ему принесут обед, и думал теперь о сестрах Гуляевых: успели они передать письмо Арине или не успели? Найти бы их да выяснить, но вот беда – не

спросил, где они останутся, а по всему городу искать – дело хлопотное. Да и ладно – отдали-не отдали, какая разница! – теперь он и сам может в театр пойти, и сам все исполнить, благо, что в запасе у него еще целых четыре дня. Успокоившись на этом, Николай ближе подвинул к себе глубокую чашку с мясной похлебкой, которую поставил перед ним половой, и взялся за ложку, как за топор – крепко проголодался.

За похлебкой последовал печеночный пирог, за пирогом – каша, и Николай остановил полового:

– Больше, братец, не таскай, не осилю. А вот чайку подай.

Пил чай и теперь, уже неторопливо и обстоятельно, оглядывал разношерстную трактирную публику.

– На свободное местечко присесть не разрешите?

Обернулся на голос, а перед столом, как столбик, стоял, печально наклонив голову набок, человечек маленького роста с морщинистым лицом, похожим на печеную картобочку. Тоненькие и тоже морщинистые ручки были крест-накрест сложены на груди, будто человечек собирался сейчас низко кланяться и о чем-то просить.

– Садись, – кивнул Николай, – место не куплено.

Человечек осторожно примостился за столом, уложил ручки на столешницу и сообщил:

– А у меня несчастье, молодой человек, уделите мне время, выслушайте, больше мне ничего не требуется.

Николай удивился – с подобными просьбами к нему никогда не обращались, и он, с любопытством разглядывая человечка, разрешил:

– Валяй.

– Мне в последнее время катастрофически не улыбается удача, преследуют одни лишь несчастья, и вот вчера случилось последнее – меня лишили средств к существованию. И я сейчас размышляю над одним-единственным вопросом – где мне взять эти средства?

– Если накормить надо, зови полового, я заплачу. А больше ничем не помогу.

– Вы еще очень молоды... простите, как вас зовут? Николай... хорошее имя. И сколько от него всяких слов – Никольский, ни-колин, николаевский... Так вот, Николай, если человек просит вас о соучастии, никогда не суйте ему кусок хлеба. Душу хлебом не накормишь. Душе нужно соучастие. Понимаете?

Николай, ничего не понимая, согласно кивнул. Очень уж забавно было ему слушать этого человечка и очень хотелось выяснить – чего он, собственно, желает, что ему нужно? А человечек между тем, не убирая рук

со столешницы и продолжая сидеть ровно и прямо, не умолкал:

– На жизнь я себе зарабатывал гаданием по старинной книге Мартына Задеки. Не того Мартына, которого наши доморощенные умельцы в виде чертика посадили в ящик и откуда он достает записки, якобы предсказывающие судьбу. Ну вы, наверное, видели... Записочку бросят в ящик, а там – банка, нажимают на нее, и Мартын опускается, это он за запиской пошел, а затем поднимается – записку принес. И пишут на тех записках всякую ерунду – много ли надо темному человеку?! Еще и голоса-зазывают при этом: мой Мартын Задека знает судьбу каждого человека, что с кем случится, что с кем приключится, не обманывает, не врет, одной правдой живет... А я по-иному гадал, по книге старинной. Знаете, как она мудрено называется? Называется она – древний и новый всегдашний гадательный оракул, найденный после смерти одного шестидесятилетнего старца Мартына Задеки. Там толкование всех снов человеческих прописано и указано – к чему тот или иной сон приснился.

– А мне никогда сны не снятся, – признался Николай, – я только голову до подушки – сразу уснул. Голову поднял – утро на дворе. Как будто и не спал вовсе.

– Это вам потому, Николай, сны не снятся, что вы еще мало испытали в жизни. Вот пострадаете, помучитесь, и будут вас сны одолевать.

– Ну уж нет, – рассмеялся Николай, – лучше без снов и без страданий.

– А так в жизни не бывает.

– Ладно, не пугай, рассказывай дальше – чего с тобой случилось?

Слушая человека с его странными речами, Николай развеселился, забавно было, думал про себя – вот еще какие чудилы на ярмарке встречаются! А тот, не сбиваясь с ровного голоса, продолжал:

– Я так гадал: подходит ко мне человек и рассказывает свой сон, а я книгу открываю, и сон этот растолковываю. А если вижу, что человек горем ушиблен, я помимо книги ему толкую – к счастью все, к благополучию. Очень у меня бабы гадать любили, они до последнего часа все счастья ждут. А как я Чернуху завел – ко мне в очередь пошли. Что за Чернуха? Да ворона. Я ее на улице подобрал, у нее крыло сломано было, выходил, выучил. Она у меня такая умница, только что говорить не умела, но каркала всегда в точку. Растолкую сон и спрашиваю: правильные слова, Чернуха? Она крылом, которое не сломано, хлопает, клюв разинет, и во всю моченьку – карр! Значит, правильные слова, верные – будет счастье. А много ли человеку надо? Обнадежили, он и радуется, и дальше живет.

– А с тобой, выходит, несчастье выплясалось? И какое?

– Уснул я. Присел на солнышке, разморило, и уснул. Сон видится,

будто бы я красавцем стал, роста высокого, в красной рубахе, кудрявый, иду по ярмарке, а мне все в пояс кланяются и величают по отчеству. И вдруг вижу – навстречу мне девица бежит, а в руках у нее – моя Чернуха. Я тоже хотел навстречу им кинуться, а ноги не идут... Будто к земле пристыли! И тут проснулся... Обворовали меня. И книгу украли, и Чернуха пропала, и карманы наизнанку вывернули... Вот какое горе, Николай!

– Да, крепко не повезло тебе, – Николай, проникнувшись сочувствием к чужому несчастью, покивал головой: – Без куска хлеба, выходит, остался?

– Остался, – вздохнул человек.

– А я-то чем тебе помочь могу?

– Помог уже. Выслушал, вот на душе у меня и полегчало. Спасибо тебе, Николай.

Человечек встал, поклонился и вышел, семена мелкими шажочками, из трактира, растворился в ярмарочном многолюдье. Николай, торопливо расплатившись с половым, выскочил на крыльцо, сам не понимая, зачем это делает и почему ему очень хочется еще раз увидеть странного человечка. Но его и след простыл.

«Вот тебе и Мартын Задека, узнает судьбу каждого человека», – постоял на крыльце, повертел в руках картуз с лаковым козырьком и направился напрямиком к городскому театру, но замешкался возле круглой тумбы, на которой висела большая афиша. Посмотрел, любовался на крупные буквы, несколько раз перечитал:

Городской театр!

Впервые в Иргите!

Концерт-галла единственной в своем жанре известной исполнительницы русских бытовых песен и цыганских романсов несравненной Арины Бурановой при аккомпаниаторах талантливых музыкантах Александре Сухове и Алексее Благинине Спешите!

И вот они выплыли – три лебедушки. В новых цветастых кофтах, в новых высоких ботинках с алыми шнурками, из-под ярких платков, накинутых на плечи, покачиваются ниже спин толстые косы в лентах. Даже младшенькая, подражая старшухам в степенности, словно подросла в считанный час и тоже заневестилась – глазенки горят-сверкают, на щеках румянец зардел. Поликарп Андреевич глянул недовольно, построжитья хотел – шибко уж расфуфырились! – но суровое слово застряло в горле, потому что пронзила внезапно и остро, до слезы, простая мысль: дети-то выросли. Сохранил он их, выходил, вынянчил после смерти Антонины, не дозволил им хлебать полной мерой горькую и безрадостную сиротскую долю. Отвернулся, заморгал, делая вид, что в глаз соринка попала. Марья Ивановна цепко стрельнула на мужа внимательным взглядом, все поняла, но сделала вид, что не догадалась, что невдомек ей, глупой бабе, додуматься – по какой такой причине мужика слеза пробила. Только и сказала:

– Ну, пошли мы, Поликарп Андреевич, проводи нас хоть маленько.

– Ты там гляди, воли им не давай, и рот не разевайте. Ярманка, она полоротых любит – ах, ах, и остался в одних портах...

С языка у Марьи Ивановны едва не слетело известие, что девки портов не носят, но она вовремя спохватилась и окоротила себя – не залезай за борозду! Вздохнула и послушно заверила:

– Да ты не тревожься, я догляжу. Пошли, девоньки, пошли, Поликарп Андреевич.

И гуляевское семейство в полном своем составе степенно и важно вышагнуло за ограду, на улицу, по которой густо шли люди, как это всегда бывало в ярмарочные дни. Проводил Поликарп Андреевич своих домашних недалеко, до ближнего переуллка, там круто развернулся и молчком пошагал в обратную сторону, к дому Алпатова.

А дочери его, оставшись без строгого отцовского догляда, загомонили все разом, радуясь теплomu дню, многолюдью, своим нарядам, а больше всего – долгожданной свободе и предстоящему гулянью по ярмарке. Особенно радовались Клавдия и Елена. Доверились они маменьке и рассказали, что имеют тайное поручение от сотника Николая Григорьевича Дуги, рассказали, что сильно просил он выполнить это поручение, и отказать они ему не смогли. Дали согласие и письмецо взяли, а теперь,

приехав в город, растерялись и не знают, что с ним делать. Мария Ивановна для начала старших падчериц своих отругала, затем, посердившись, согласилась им помочь, только строго-настрога наказала, чтобы они весь день были, как шелковые, и чтобы ни одним шагом не огорчили тятеньку. Клавдия и Елена мигом вымыли полы во флигельке, дорожку от крыльца вымели вениками, вещи все разложили и бросились со всех ног помогать тятеньке, который разбирался с узлами в подвале – любая работа у них в руках горела словно сухая береста.

Ну и как отцу не порадоваться, глядя на своих работающих дочек?!

Как ему не кивнуть, разрешая им выйти на ярмарку, где столько много всяческих чудес и забав?!

А вот и Ярмарочная площадь впереди, до которой сейчас добраться стоит трудов – вся Сенная улица забита подводами и телегами, кони от тесноты вскидывают головы, ржут, а по деревянному тротуару на краю улицы и вовсе не протолкнуться: народ валит, как в храм на Пасху.

От такой великой толкотни гуляевские девушки примолкли, заозирались растерянно, но Мария Ивановна торила в толпе дорогу, будто острым плугом резала землю. И оглядываться не забывала: все ли на месте, никто не потерялся?

Но вот людской водоворот иссяк, и они вышли на площадь. Здесь уже было не так тесно и столь необычно, что захватывало дух. Крутились пестрые карусели, возле балаганов кричали отчаянными голосами зазывалы, огромные качели взмывали в самое небо, и люди, взлетающие на этих качелях, казались снизу маленькими, как куколки.

И все шумит! Шумит-голосит! Блестит-сверкает! Продает-зазывает! Манит к себе – подойди, даже если денег мало, взгляни хоть одним глазком! Прикинь-примерь!

Но Марья Ивановна и здесь не сплеховала – не впервые она на ярмарке и знает прекрасно, что покупать для хозяйства даже самую малую мелочь, пока ярмарка не открылась, значит, переплачивать. Обождать требуется, когда горячка схлынет. Продавцы-купцы глаза свои завидующие протрут, цены потихоньку уронят, вот тогда и примерять можно и торговаться. Поэтому она сразу сказала падчерицам, чтобы они на торговые ряды напрасно не пялились – не будет нынче обновок. А вот повеселиться... Повеселиться нынче можно.

Сначала купили билеты в театр, после, дожидаясь начала концерта, покатались на каруселях и покачались на качелях. Угощались кедровыми орешками в бумажных кулечках, леденцами на палочках, попробовали мороженое в вафельных стаканчиках и, наконец, с трудом отыскав

свободную скамейку, присели, переводя дух.

Радостно было девицам, и хотя ныли ноги от долгой ходьбы, зато улыбки цвели на милых лицах, как цветы в срединную пору лета. Марья Ивановна обмахивалась синим платочком, этим же платочком вытирала пот со лба и приговаривала:

– Ой, девки, с греха с вами сгоришь! Старая уж я корзинка, по базарам меня таскать. Голова кружится и в пот кидает. А теперь еще и неведомо куда пойдём. Какой такой концерт, кака така певица – сроду не видела!

– Вот и поглядим, мы тоже не видели, – смело вставила свое слово бойкая Клавдия, – чай не хуже других людей, вон их сколько в очереди стояло!

– Язык у тебя, Клавдя! Ох, язык! Вот выйдешь замуж – прикусишь.

– А как же я без языка-то буду, мне тогда и слова сказать нельзя.

– В тряпочку станешь помалкивать – милое дело.

– Так мужу-то со мной неинтересно будет, коли я молчать возьмусь.

– В самый раз.

Марья Ивановна хотела еще что-то сказать, наставляя Клавдю на путь истинный, но осеклась и, зорко сверкнув глазом, приподнялась со скамейки. Приставила козырьком ко лбу ладонь, закрываясь от закатного солнца, и сердито выговорила:

– Ой, девки, да вы меня обдурили, старую. Нагородили небылиц, а он вон, ваш казачок, разгуливает, как на параде. Э-эй, милый, погляди-ка на меня! Тебя, тебя зову! Что, соседей не узнал?! Ну-ка, иди сюда!

Ох, и глаз был у Марьи Ивановны, не глаз, а – алмаз! В сплошной и разношерстной толпе, текущей в разные стороны, умудрилась она разглядеть Николая Дугу, хоть и одет он был не в военную форму, в какой привыкли его видеть в Колыбельке, а в голубую рубаху с настежь распахнутым воротом и в серые штаны с напуском над сапогами. Николай, услышав ее голос, застопорил стремительный шаг, обернулся и, увидев Гуляевых на скамейке, быстро направился к ним.

– Это с какого ж квасу, миленькие, вы турусы передо мной разводите, – с места в карьер взялась отчитывать своих падчериц Марья Ивановна, – он что, казачок-то, безрукий-безъязыкий – вон какой бравый! Вот сам пускай и передает свои записки!

Она вздохнула, набирая в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить, но Николай опередил ее, вклинился и быстро, скороговоркой, объяснил, что отпуск он получил совершенно неожиданно, что хотел их разыскать, чтобы забрать записку, но не знал, где они остановятся, и теперь рад, что все устроилось наилучшим образом.

И протянул руку к Клавде, которая из-за ворота платья достала записку и вложила ее в раскрытую ладонь Николая. Он сжал ладонь, комкая записку в бумажный комочек, поклонился; Марье Ивановне – в отдельности, и быстро ушел, не сказав больше ни слова и не оглядываясь.

Гуляевские девицы смотрели ему вслед круглыми от удивления глазами. Марья Ивановна только и нашлась, что сердито выговорила, покачивая головой:

– Ну и хлюст...

А сам Николай Дуга, дойдя до городского театра, встал в длинную очередь, которая вела к кассе, постоял, вдруг рассмеялся в голос и его узкие темные глаза блеснули. Выскочил на улицу, обошел театр, поглядывая на окна первого этажа. Некоторые из этих окон были раскрыты по причине жаркой погоды, и Николай, прищурившись, прикидывал: высоковато – с фундамента, даже если и подпрыгнуть, до подоконника не достать. Эх, веревку бы с железной кошкой! И еще раз рассмеялся, представив, сколько здесь зевак соберется, пока он залезать будет.

Не хотелось ему стоять в очереди за билетами, не хотелось ему сидеть в зале, хотелось ему, как горькому пьянице рюмку водки, совсем иного: притаиться в укромном уголке на сцене и смотреть на Арину так, чтобы она была вблизи, совсем-совсем рядом, чтобы протянуть руку, если повезет, и дотронуться до нее, успеть сказать хотя бы два слова, когда она будет проходить мимо...

На сцену он бы загодя пробрался и уголок бы укромный отыскал, где бы его никто и не увидел, но вот беда – окна высоковаты...

От расстройства даже кулаком в раскрытую ладонь стукнул и, не зная, куда руки девать, сунул их в карманы. А это что такое? Вытащил смятую бумажку. Да это же записка Арине Бурановой, которую он сочинял весь вечер. И хотя он помнил ее наизусть, бумажку все-таки развернул и прочитал:

«Многоуважаемая Арина Васильевна! Вспоминаю нашу встречу на пароходе „Кормилец“ и думаю о Вас с самыми превосходными чувствами. Записку эту шлю, чтобы знали Вы, что есть у Вас надежный друг, готовый сделать все, что ни прикажете. И еще имеется просьба – не откажите мне во встрече, когда я приеду в Иргит. Преданный Вам Николай Дуга».

Сейчас записка показалась ему глупой и ненужной. И зачем ее написал? Николай разорвал бумажку на мелкие клочки, подбросил их вверх, и они весело разлетелись, подхваченные ветерком.

Он еще несколько раз прошелся перед театром, поглядывая вверх, и вдруг осенило: кроме парадного есть еще черный вход! Круто развернулся

на каблуках и будто в гору уперся – перед ним грозно возвышалась сердитая Ласточка. Руки в бедра уперты, локти расставлены и от этого она казалась еще необъятней, заслоняя своей фигурой всю Ярмарочную площадь.

– Ну и чего ты на меня уставился своими гляделками? – сиплый голос срывался после каждого слова, и поэтому каждое слово звучало по-особенному внушительно. – Тоже залезать собрался? Лезут и лезут, как тараканы, в окна и в те лезут! Ладно, ступай за мной. Навязались на мою голову!

– А куда ступать-то, милая барышня? – Николай вжал голову в плечи, согнул ноги в коленях и снизу вверх робко взглянул на Ласточку, делая вид, что очень уж сильно он испугался.

– Не придуривайся, парень, разгибайся и за мной ступай. Арина Васильевна из окна тебя увидела, велела к себе привести.

Николай ошарашенно выпрямился и послушно, как привязанный, пошел за Ласточкой.

А еще говорят, что чудес не бывает!

Быва-а-ют!

Стояла она теперь перед ним, смотрела на него теплыми синими глазами, и губы ее весело вздрагивали – Арина едва сдерживала смех, потому, как сильно уж растерянный вид был у бравого сотника, будто посадили его не в свою телегу и привезли неизвестно куда.

– И кого ты, Николай Григорьевич в этих окнах выглядывал? Уж не меня ли, грешную?

– Было такое желание, – честно признался Николай, – и поглядеть желательнее, и послушать. Только я рядышком хочу, чтобы на сцене, в уголке...

– Да чего уж в уголке-то ютиться?! – Арина прыснула по-девчоночьи и рот ладошкой прихлопнула, выправились и закончила: – Мы тебя, Николай Григорьевич, на самый первый ряд посадим, как дорогого гостя. Вот Ласточка тебя отведет и посадит. А мне, извини, переодеться нужно. А уж после концерта и поговорим... Хорошо?

Николай молча кивнул и двинулся следом за Ласточкой, которая уже направилась по узкому коридору, обозначая свой грузный ход громким поскрипыванием дощатого пола. Усадила она Николая на первом ряду еще пустого и гулкого зала, строго наказала, чтобы сидел он смирно, а после, когда все закончится, никуда не уходил – сама за ним придет и отведет, куда нужно. Он и сидел, послушно выполняя наказ, смотрел во все глаза на сцену, и ему никак не верилось до конца, что он сейчас услышит голос Арины, услышит, как она поет – без шипенья граммофонной иголки по пластинке, без отзвука в широкой медной трубе... И так он был занят этим своим ожиданием, так торопил время, которое, как ему казалось, тянулось уж очень медленно, что не оборачивался назад, не видел, как зал густо наполнялся людьми и будто опомнился лишь тогда, когда рядом с ним уселся толстый господин в поддевке и, сняв шляпу с широкими, выгнутыми полями, осторожно положил ее на колени, а затем, вздохнув, снисходительно промолвил:

– Ну-ну, поглядим-послушаем... Может, и деньги зря выкинул... Как думаешь, парень?

Николай не отозвался, продолжая во все глаза смотреть на сцену, на которую выходили и усаживались на стулья Сухов и Благинин.

И вот она – Арина.

Совсем на себя не похожая, будто переродилась заново. И ростом

выше, и лицом – несказанно красивая. А когда она запела и когда голос ее взял необоримую власть над всеми людьми, которые ее слушали, она и вовсе показалась недостижимой.

Николай был так поражен, что даже не хлопал, как другие, в ладоши, не кричал восторженно, даже не шевелился, лишь заметил краем глаза, как его толстый сосед вытирает глаза полями шляпы и мотает при этом головой, словно хватил безразмерно горькой, обжигающей водки.

А голос Арины летел и летел, как одинокая птица в необъятном небе – то она чертила плавные круги, широко раскинув крылья, то замирала, камнем устремляясь вниз, то отчаянно билась, одолевая порывы ветра, и свечой возносилась в самое поднебесье, и там, в невысказанной выси, звенела тончайшим серебряным звоном. Душа стремилась следом за этим голосом-птицей, туда, в поднебесье, и тоже пела, звенела серебром, сбрасывая с себя, как засохшую коросту, житейскую накипь, и тогда проступала нежная, розовая, младенческая кожица – чистая и безгрешная.

Арину долго не отпускали со сцены, заставляя снова и снова петь на «бис», забрасывали цветами, кричали, хлопали, а она кланялась низким поясным поклоном и ее волосы рассыпались, обрамляя лицо, на котором устало светилась словно бы виноватая улыбка.

Так и просидел Николай, не шевельнувшись, до самого конца, пока не опустел зал и пока за ним не пришла Ласточка. Тронула за плечо, сиплым голосом спросила:

– Ты часом не уснул, парень? Эй!

Он поднял на нее глаза, совершенно не понимая – о чем она спрашивает? Оглянулся, увидел, что они в зале вдвоем остались, тряхнул головой, словно приходя в себя, и только после этого отозвался:

– Может, и вправду сон был...

– Какой сон? – не поняла Ласточка.

– Да уж такой. – Николай поднялся с сиденья и пошел по пустому проходу, направляясь к выходу из зала.

– погоди, ты куда? – встревожилась Ласточка. – Тебя же Арина Васильевна ждет!

– А зачем?

– Ну уж я не знаю! – Ласточка широко развела ручки. – Мне про это ничего не сказывали. Давай заворачивай!

Николай послушно пошел назад, затем также послушно шагнул следом за Ласточкой по узкому коридору, пока не оказался в маленькой комнатке, где сидели и пили чай Сухов с Благининым.

– Тут подожди, – указала Ласточка на свободный стул и,

приглядевшись, спросила: – Случилось чего? Какой-то ты... Как не в себе.

– А вот подай нам, Ласточка, по рюмочке, мы и придем в себя, – весело отозвался за Николая неугомонный Благинин и подмигнул хитрым глазом.

– Да ну вас! – отмахнулась Ласточка и вышла из комнатки, крепко прихлопнув за собой дверь.

– Садись, чай пить будешь? – пригласил Благинин.

– Нет, – Николай помотал головой и остался стоять, привалившись плечом к стене.

Он и сам не понимал, что с ним происходило. Так стремился, так желал оказаться рядом с Ариной Бурановой, замороженный ее голосом с граммофонной пластинки и портретом из журнала «Нива», так азартно стремился попасть на пароход «Кормилец» и в уголок иргитского театра, а теперь... теперь, когда исполнилось его желание, он испытывал в душе только потрясение, пережитое в зале, и – ничего больше. Неведомое ему раньше чувство светлой умиротворенности захватывало его полностью, без остатка. И еще хотелось сейчас побыть одному, посидеть где-нибудь в тихом, укромном месте, чтобы чувство это не растратилось и не исчезло.

Он откачнулся от стенки и уже собирался выйти из комнатки, как дверь распахнулась, и Ласточка широко взмахнула рукой, показывая, чтобы он следовал за ней. Николай вышагнул за порог, пошел, глядя в широкую необъятную спину, плотно обтянутую пестрой кофтой, и не заметил ступеньки в коридоре, запнулся, едва не упал, успев зацепиться рукой за стену.

– Ты чего? Ноги не держат? – Ласточка, обернувшись, внимательно на него смотрела и поддегивала рукава кофты, словно собиралась подхватить его, если он снова начнет падать. – Да ты в себе ли, парень? Будто пьяный...

– В себе, в себе, и капли во рту не было. Запнулся нечаянно. Куда теперь?

– Куда, куда... – проворчала Ласточка, – на кудыкину гору! Ты бы, парень, отказался и не ездил с ней, она, Арина Васильевна, такая у нас, норовистая, взбредет блажь в голову и – вынь да по-ложь! Ты скажи, что не можешь...

– Чего я не могу?

– Ну придумай, соври чего-нибудь, что я, учить тебя буду!

– Ты про что говоришь? Я понять не могу!

– Да где уж тебе понять! Как мешком стукнутый! Ясным языком толкую – Арина Васильевна куда-то ехать с тобой собралась, и коляска вон

у черного входа стоит, ждет... Дед какой-то страшный сидит. Чует мое сердце, не к добру это... Ты откажись, парень, скажи, что захворал! Ой беда, и Яков Сергеича, как на грех, нету – дела у него нашлись! А то он не знает, что за ней глаз да глаз нужен! – выговорив все это на одном сиплом выдохе, Ласточка осеклась, обреченно махнула рукой и громко затопала к черному входу, толкнула широкой растопыренной ладонью толстую тяжелую дверь, и та отлетела нараспашку словно была невесомой.

На улице тихо покоился теплый майский вечер. Над Быстру-гой, догорая, истаивал огненный закат, но длинные, розовые полосы его еще лежали на земле, и даже необъятная, седая борода Лиходея отсвечивала, словно ее подкрасили. Сам Лиходей, уже без балалайки, сидел на козлах, перебирая в руках вожжи, сдерживал своих коней, готовых рвануться в галопе, и нетерпеливо оглядывался, ожидая приказания.

И оно последовало:

– Николай Григорьевич, прыгай сюда, скорее!

Даже не успев ни о чем подумать, Николай, отзываясь на этот голос, запрыгнул в коляску и Арина звонко, бесшабашно выкрикнула:

– Гони, Лиходей, гони!

Ярмарочный комитет занимал в пассаже ровно половину второго этажа. Были здесь рабочие кабинеты для служащих, имелся свой телеграф, электрическое освещение, а в просторном овальном зале, предназначенном для заседаний комитета и для приема особо важных гостей, висела большая картина в богатой резной раме, изображающая открытие ярмарки. Все на этой картине было узнаваемым: и панорама Иргита с синей дугой Быструги, и Ярмарочная площадь, и магазины, и торговые ряды, и над всем этим торжественно развевался трехцветный флаг на высоком, специально устроенном флагштоке, составленном из толстых бревен, выкрашенных охрой.

Вот к этой картине первым делом и подвел Якова Сергеевича Черногорина городской голова Гужеев, он же председатель Ярмарочного комитета. Подвел и, придерживая гостя за локоть, принялся рассказывать:

– Ярмарка считается открытой, как только поднимается флаг. Традиция идет с незапамятных времен, и мы ее строго соблюдаем. Вы это сами скоро сможете увидеть. И еще у нас примета есть: если флаг на восток под ветром вытянется, значит, ярмарка удачной для сибиряков будет, а если на запад, значит, для москвичей и для расейских. Здесь, на картине, как видите, художник сибирякам потрафил. Поверьте, уважаемый, ярмарка для нас сама жизнь: и радость, и праздник, и работа, и служба...

Яков Сергеевич вежливо кивал головой, делая вид, что внимательно слушает Гужеева, а сам в это время думал, пытаясь ответить на один простой вопрос: «Зачем он меня позвал? Что ему нужно?» Ясно пока было лишь одно: уж не затем, конечно, он приглашен в Ярмарочный комитет, чтобы полюбоваться картиной, пусть она даже изображает торжественный момент. И не для того, чтобы слушать пространную речь Гужеева об иргитских традициях. Причина имелась совсем иная. Вот только какая?

А Гужеев между тем, не сбиваясь, словно бодро шагал по ровной дороге, продолжал:

– Сейчас для нашего славного Иргита не лучшие времена наступили. Мы надеялись, что железную дорогу через нас поведут, а вот ошиблись – мимо ее проложили. И оказались мы теперь, как на выселках. Не торопятся к нам большие люди с большими капиталами ехать... Обороты падают, казна городская пустеет...

– Я, конечно, очень сожалею, уважаемый господин Гужеев, да только

никак понять не могу – чем же я вам могу быть полезен? Я же не торговец, не промышленник и ничего в таких делах не понимаю, наоборот, мне кажется, что ярмарка ваша процветает. В городе ни пройти, ни проехать – одни телеги... Так чем я могу быть полезен?

Гужеев добродушно покачал головой:

– Какой вы нетерпеливый, Яков Сергеевич, прямо, как пылкий юноша. Ладно, не буду вас больше мучить. Пойдемте, отужинаем, а там и просьбу нашу я вам изложу. Учтите, это не моя просьба, а членов Ярмарочного комитета. Прошу!

И он повел Черногорина через зал в отдельный кабинет, где уже был накрыт богатый стол, за которым сидели три незнакомых Черногорину господина, которые поклонились ему, когда он вошел, и по очереди степенно представились:

- Купец Чистяков Афиноген Иванович.
- Купец Селиванов Алексей Петрович.
- Купец Естифеев Семен Александрович.

«Очень даже интересный концерт-галла!» – весело подумал Черногорин, склоняя голову в уважительном ответном поклоне. Как человек многоопытный и немало повидавший на своем пестром веку, Яков Сергеевич сразу понял, что сегодняшнее приглашение городского головы посетить Ярмарочный комитет – это не из вежливости, не из желания поужинать вместе с антрепренером Арины Бурановой, а нечто совсем иное стояло за неожиданным приглашением, которое к тому же принесли ему в гостиницу весьма поздно, уже после обеда. Поэтому он был настороженным и бдительным, как старый, опытный солдат на посту, но вида не показывал и улыбался всем сразу, усаживаясь за стол, и одновременно, стараясь сделать это незаметно, всех разглядывал. С особым вниманием – Семена Александровича Естифеева. Вот, оказывается, каков он! На вид суровый и неприветливый, глубоко посаженные глазки под белесыми лохматыми бровями так упрятаны, что их разглядеть невозможно, и также невозможно догадаться, о чем он думает, потому что худое, морщинистое лицо непроницаемо и темно, как на иконе старинного письма.

Зато Чистяков и Селиванов вместе с Гужеевым излучали добродушие и гостеприимство, давая советы, какое блюдо лучше всего выбрать, и дружно рекомендовали обязательно отведать стерляжьей ухи – такой ухи, как здесь, в Иргите, нигде нет, даже в самой Первопрестольной.

Яков Сергеевич с советами соглашался, пил замечательную мадеру после длинного тоста Гужеева, радостно чокаясь со всеми, хлебал

стерляжью уху и терпеливо ждал – когда же начнется разговор, ради которого он здесь оказался?

Но вот, кажется, и добрались. Естифеев откинул полу сюртука, достал карманные часы, отщелкнул крышку и, глянув на циферблат, покачал головой, словно извещая всех: время-то позднее, пора и о деле речь завести. Гужеев недовольно посмотрел на него, но Естифеев, защелкнув крышку часов, коротко сказал:

– А чего переливать из пустого в порожнее? Выкладывай!

Гужеев старательно вытер рот накрахмаленной салфеткой, осторожно кашлянул в большой свой кулак и заговорил:

– Пригласили мы вас, уважаемый Яков Сергеевич, для того, чтобы передать вам просьбу всего Ярмарочного комитета, большую просьбу, и надеемся, что вы в ней не откажете...

– Если она по моим силам и возможностям, конечно, не откажу, – Черногорин положил вилку на фарфоровую тарелку, и она чуть слышно звякнула в тишине.

– В ваших, в ваших силах и возможностях, Яков Сергеевич, – Гужеев еще раз осторожно кашлянул в кулак и продолжил: – Должен прибыть к нам на ярмарку высокий железнодорожный чин из столицы. Должности его я сейчас назвать не могу, но одно скажу определенно – высокого полета человек. И встретить его, как понимаете, надо по высшему разряду. А теперь суть: господин этот, как нам стало известно, является большим поклонником певицы Арины Бурановой, и даже, когда бывает в отъездах, возит с собой граммофон с ее пластинками, которые и слушать изволят в свободные минуты. Исходя из вышеизложенного, вот и наша просьба: пусть бы спела Арина Васильевна в узком кругу для уважаемого гостя. И, соответственно, знаки внимания ему оказала.

– Что вы имеете в виду под столь расплывчатым выражением – знаки внимания? – быстро спросил Черногорин.

– Ну... – замешкался Гужеев.

– Да чтоб не кочевряжилась, – подал голос Естифеев, который, похоже, сердился на городского голову, говорившего долго и пространно, – и чтобы цацу-недотрогу из себя не строила. А мы уж все возместим, с лихвой. И ей, и тебе на хлеб с маслом хватит! Теперь ясно?

И проявились маленькие глазки из-под нависших бровей, сверкнули сердито и холодно.

«Да-а, Семен Александрович! Крут ты, дедушка! Ради прибылей своих ты и впрямь любого человечка через колено переломишь! И даже не услышишь, как косточки хрустнут. Похоже, нашу несравненную спасать

надо... Нашла с кем тягаться!» – думая об этом, Черногорин не переставал улыбаться и старательно делал глуповатый вид, изображая, что не до конца понимает – чего, собственно, желают от него услышать эти уважаемые господа из Ярмарочного комитета?

– Не притворяйся, любезный, что туго до тебя доходит, – худое, темное лицо Естифеева стало еще суровей, – не такой уж ты глупый, как прикидываешься. Называй сумму!

– Сумму, сумму... Сумму, господа, назвать несложно, да только сегодня я этого сделать не могу. У нас здесь еще несколько выступлений, и мы сразу должны уехать. Контракты уже подписаны, и неустойки мне платить совсем не хочется. А когда ваш высокий гость прибудет, вы еще не знаете, и насколько нам задержаться в Иргите придется, неизвестно. Подумать требуется, уважаемые господа.

Господа переглянулись, и Гужеев согласился:

– Хорошо, подумайте, но не больше двух дней.

– Крепко подумай, чтобы не пожалеть! – добавил Естифеев и первым поднялся из-за стола, давая понять, что разговор окончен и нет никакого резона произносить еще какие-то ненужные слова.

Попрощались, впрочем, вполне дружественно, со взаимными улыбками.

От пассажа до гостиницы «Коммерческой» – рукой подать, даже не скорым шагом за считанные минуты дойти можно. Но Черногорин это расстояние одолевал очень долго. То и дело останавливался, задумавшись, разводил перед собой руками, затем трогался, словно бы опомнившись, и снова застывал на месте. И была у него на этот тихий ход своя причина. Он хотел появиться перед Ариной уже с готовым ответом на предложение членов Ярмарочного комитета, но ответа у него не было.

«Ладно, не буду пока ей ничего говорить, – решил Черногорин, – утро вечера мудренее. Глядишь, и придумаю, не из таких переплетов выворачивались».

Он бодро поднялся по ступенькам и сразу же, не заходя к себе в номер, отправился к Арине. Но встретила его одна лишь Ласточка, которая потерянно хлопала круглыми своими глазами и бессвязно бормотала, срывая от волнения и без того сиплый голос:

– Уехала она, уехала, Яков Сергеевич... Парня какого-то велела провести... Дед на тройке... Только я их и видела...

– Куда? Куда уехала?!

Ласточка хлебнула воздуха широко раскрытым ртом и громко выкрикнула сквозь слезы:

– За горьким счастьем, сказала, поехала!

– Чертова баба! Убью! Задушю своими руками! – Черногорин упал в кресло, как на корню подрезанный, и вздернул перед собой руки, широко растопыривая длинные пальцы, словно и впрямь душил без всякой жалости несравненную Арину Буранову.

Взлетали, подстегивая коней, будто кнутом, резкие, пронзительные вскрики Лиходея:

– Дуй, Дунька! Поддувай, Акулька! Считай разы, Параня!

И – свист! Неистово громкий, пластающий уши словно ножом.

Арина роняла голову в колени, зажимала ее руками и захлебывалась от восторга. Ничего ей больше не требовалось сейчас, кроме безумной скачки по полевой дороге, пустынной в этот вечерний час. Душа ликовала и летела, парила над землей, словно расставшись с бранным телом, и виделся сверху весь огромный, весенний мир, распахнутый до бесконечности: зеленые поля с березовой колками, уже опушенными первой нежной зеленью, голубая жила Быструги, темные зазубрины хвойного бора и тускло взблескивающие при скудном вечернем свете круглые блюдца маленьких озер.

Арина вскидывала голову, глядела восторженно и сразу же закрывала глаза от страха – слишком уж стремительным и неистовым был бег лихоедеевской тройки. Тогда она хватала за руку Николая, вскрикивала негромко и снова роняла голову в колени. Николай сидел, как в седле, уверенно и прочно, скачке не удивлялся – похлеще доводилось видеть. Взглядывал сбоку на Арину, и она уже не казалась ему такой недоступной и недостижимой, как на сцене, наоборот – простая, близкая, хотелось прижать ее к себе, чтобы она не вскрикивала испуганно и не зажмурилась глаза.

Но он не насмелился этого сделать.

Лиходей придержал свою тройку, когда увидел впереди, в наползающих синих сумерках, зыбкое пламя костров. Они горели, разведенные на равном расстоянии друг от друга, и ярко освещали низкий деревянный помост, сколоченный из толстых досок. Дальше, за помостом, виднелись длинные приземистые бараки переселенческого пункта, а еще дальше маячили не до конца возведенные стены железнодорожного депо. Это была станция Круглая, получившая свое название от озера-блюдца, которое тихо покоилось в безветрии верстах в двух.

Изначально, когда прокладывали железную дорогу, станцию здесь возводить не собирались, но времена изменились, поезда пошли гуще, потребовались депо, водонапорная башня, склады, жилье для строителей и служащих – за короткое время пустынное место, обрамленное с трех сторон густым березняком, наполнилось многолюдьем, строениями,

гудками, и они напрочь отодвинули тишину, которая царила здесь долгие годы.

Вот сюда, на Круглую, и доставил Лиходей на своей знаменитой тройке Арину Буранову и Николая Дугу, который удивленно оглядывался вокруг и никак не мог понять – зачем его позвали в коляску и для какой надобности привезли?

Знала об этом лишь сама Арина, но ни словом не обмолвилась, легко и весело выпорхнув из коляски в нарядном своем концертном платье – как невесомая бабочка, радостно порхающая крыльями.

Стояла, чуть покачиваясь на земле, уходящей из-под ног после долгой скачки, и чуть слышно смеялась, запрокидывая голову. А к ней уже спешили, бежали люди, накатывали словно водяной вал, и впереди, радостно раскинув руки, отмахивал широкими прыжками, как задорный мальчишка, Филипп Травкин.

– Арина Васильевна! – радостно кричал он. – А я уже отчаялся! Ну, думаю, пропала затея, и зря я народ переполошили!

– Я своему слову хозяйка, Филя, – обнимая его, отвечала Арина и продолжала смеяться, – если груздочком назвалась, завсегда в кузов прыгаю!

– Пойдем, пойдем, Арина Васильевна, заждались все, – торопился Филипп и вел ее за собой, крепко держа за руку, плечом раздвигая встречающих людей, которые напирали, смотрели с восторгом и любопытством на певицу, которая появилась здесь в столь поздний час так внезапно, словно упала с темного неба яркая звездочка.

Впрочем, она и сама, находясь в возбуждении и смеясь, не знала еще полной причины своего появления здесь, потому что произошло все неожиданно – как снег на голову в летний день. Появился вчерашним утром в номере у нее Филипп Травкин и сразу, без предисловий, огорошил:

– Арина Васильевна, в прошлый раз не сказал, побоялся Якова Сергеевича, сильно уж косо он на меня поглядывал. Знаю я людей, которые на Естифеева большой зуб имеют и речь с ними заводил про ваш случай, но они осторожные, не доверяются до конца. Привези, говорят, к нам свою певицу, посмотрим на нее, а там и решим. Завтра ждут, вечером.

– У меня же концерт завтра! – воскликнула Арина и вздрогнула от услышанного известия.

– А Лиходей зачем здесь обретается?! Домчит, успеете!

– Куда домчит, Филя? И кто эти люди?

Торопясь, перепрыгивая с одного на другое и постоянно оглядываясь на дверь – боялся, что появится Черногорин, – Филипп рассказал, что еще

год назад добирался он из дальних своих странствий до Иргита, но в дороге сильно поизносился, отощал и оказался без единой копейки – хоть садись на паперти и проси милостыню. Но на станции Круглой, до которой он дотопал своим ходом, улыбнулась ему удача: разговорился случайно с двумя инженерами, и они, узнав, что он бывший приказчик, взяли его на работу с испытательным сроком в один месяц. За этот месяц Филипп так показал себя как расторопный и дельный работник, что они в нем души не чаяли. И вот однажды услышал он между ними разговор о Естифееве и понял из этого разговора, что инженеры хотят известить старикана под корень. Тогда он им и открылся, поведал, каким манером искорежена была судьба молодого приказчика Травкина.

Инженеры выхлопотали ему отпуск, выплатили без всякой проволочки жалованье и отправили в Иргит с единственным наказом: разузнать все, что возможно, о Естифееве. Толком он узнать еще ничего не успел, но после встречи с Ариной кинулся обратно в Круглую и получил от инженеров разрешение: вези сюда певицу якобы для выступления, встретим ее как полагается, а дальше видно будет – от какого угла плясать.

Арина, не раздумывая, дала согласие. Ни Черногорину, ни Ласточке, ни Сухову с Благиным, ни слова не сказала, и кинулась на лиходеевской тройке в неведомую Круглую, к неведомым людям, как в глубокий и темный омут, прихватив с собой сотника Дугу. Мало ли какая неожиданность случиться может.

И вот она здесь.

Не успела еще перевести дыхания, как оказалась на деревянном помосте, где на стульях уже рассаживался струнный оркестр. Музыканты – все в парадных мундирах железнодорожного ведомства и главного переселенческого управления – уверенно держали в руках мандолины, гитары, балалайки, и один из них, высокий, русоволосый, похожий на сказочного Садко со цветной литографической картинкой, наклонился учтиво и быстрым говорком сказал:

– Будьте снисходительны, Арина Васильевна, к нашему доморощенному оркестру. Мы не так уж часто играем, но репертуар ваш нам хорошо известен. С чего начнем?

– С «Лучинушки», – также быстро ответила Арина, и успела еще, до первых аккордов, быстро, скороговоркой, прочитать про себя «Отче наш».

Никаких лавок и сидений перед помостом не было – люди стояли, озаренные костровыми отсветами, лица их то появлялись, то исчезали в полутьме, и от этой смены света и тени казалось, что людей очень много, тысячи и тысячи заполняют поле, до самых его краев, упираясь спинами в

смутно темнеющий березняк, который полукругом опоясывал пространство. Стояли чиновники железнодорожного ведомства и главного переселенческого управления со своими женами и детьми, стояли студенты-медики, которых направили работать в переселенческом пункте, стояли рабочие, мастеровые, стояли переселенцы, ехавшие в дальние и неизвестные края за лучшей долей – все вперемешку, без чинов и званий; стояли русские люди и хотелось им слышать голос Арины Бурановой, хотелось отозваться на этот голос единым вздохом и смахнуть нечаянную слезу, вздохнуть, горя о том, что одолела тоска-кручина, словно подколотая змея ужалила, и нет, и не будет больше любимой, и остается только попросить сырую землю, чтобы расступилась она и упокоила горемычного в тихой гробовой келье...

Даже вездесущие мальчишки, шнырявшие перед дощатым помостом, притихли и прилегли прямо на землю, друг возле дружки, словно поняли своими маленькими сердечками, что все происходящее нужно обязательно запомнить – для будущей жизни, когда в зрелые уже годы всплывет внезапно воспоминание об этом вечере, и вздрогнет уставшая душа словно окропленная живой водою, вздрогнет для того, чтобы жить дальше, радуясь солнцу и весне, одолевая извечную тоску-кручину.

Раскинув руки, Арина медленно сводила их, протягивая к своим зрителям, словно хотела обнять и прижать к своей груди всех до единого, кто сейчас стоял здесь. Все, что имела, все, что было в ней, она выплескивала до последней капли и пела в этот вечер при зыбком свете костров так, будто каждая из песен была последней в ее жизни.

Дальше все виделось и плыло перед глазами, как в тумане. Ей неистово хлопали после каждой песни, бросали цветы на помост, а после, когда она сошла на землю, какие-то молодые люди подхватили ее на руки и на руках несли до лихоевской коляски, а затем какое-то время еще бежали следом, кричали прощальные слова, пока не растворилась коляска в непроницаемой уже темени.

Только возле Круглого озера, зачерпнув ладошкой холодной воды и остудив пылающее лицо, Арина пришла в себя и огляделась. Вспомнила – ради какой надобности приезжала она на станцию Круглая. И увидела кроме лихоевской еще одну коляску, Николая Дугу, молчаливо стоявшего в отдалении, Филиппа, тащившего к маленькому костерку раскладной стульчик, и у костерка – двух молодых людей в служебных мундирах, один из которых дирижировал струнным оркестром и был похож на сказочного Садко.

Филипп установил стульчик на землю и позвал:

– Арина Васильевна, прошу вас, присаживайтесь, отдохайте. Вот так, вот и отлично. А теперь позвольте представить – инженер Свидерский Леонид Максимович, инженер Багаев Леонтий Иванович. Вот о них я вам и рассказывал...

Похожим на Садко оказался Свидерский, он склонился, целуя руку Арине, и спросил:

– Я надеюсь, наш доморощенный оркестр вам не очень мешал?

– Что вы! Что вы! – улыбнулась ему в ответ Арина. – Вы замечательно играете! Просто замечательно!

– Понимаю, что оценка завышена, но все равно польщен. Спасибо!

Рядом со своим товарищем-красавцем Багаев явно проигрывал: невысокий, рыжеватый, худенький, в пенсне, стеклышки которого от света костра то и дело вспыхивали красными кружками. Но голос, когда он заговорил, оказался по-командирски уверенным и жестким:

– Как я понимаю, Арина Васильевна, вам быстрее в Иргит нужно вернуться. Поэтому давайте сразу о деле. Этот человек, который у коляски топчется, кто таков? Ему можно доверять? Сюда позвать или пусть там побудет?

– Человек этот, Леонтий Иванович, мой поклонник, зовут его Николай Григорьевич Дуга, казачий сотник, и в скором времени собираются его женить на падчерице Естифеева.

– Интересно. Ладно, пусть там постоит. Ну что же, Арина Васильевна, давайте выясним, как говорят военные, нашу диспозицию. Насколько я понимаю, есть у нас один общий противник, замечательный иргитский купец Семен Александрович Естифеев. Человек он незаурядный, умный и хваткий. И еще, что немаловажно, жестокий. Возникнет надобность, он и перед смертоубийством не остановится. Это я для того говорю, чтобы вы предвидели степень опасности...

– Я эту степень на своей шкуре прочувствовала... – перебила его Арина.

– Ваше дело давнее, и кредит губернскому банку по сравнению с нынешними оборотами Естифеева, это так себе, тьфу, мелкие семечки.

– Не пойму я вас, Леонтий Иванович, все пугаете меня, пугаете... Когда о деле говорить начнете? – Арина сердито поднялась со стульчика.

– Да вы успокойтесь, – вмешался в разговор Свидерский, и осторожно, ласково взяв Арину за плечи, усадил ее на стульчик, – Леонтий Иванович человек у нас строгий, как казенный параграф, и никаких эмоций не признает, простите его великодушно...

– Зато ты у нас непревзойденный мастер по эмоциям, – Багаев

наклонился, поднял с земли сухую веточку, переломил ее несколько раз и бросил в огонь. Видно было, что он недоволен вмешательством Свидерского в разговор.

Но надо было знать несравненную!

Редкий человек, когда она этого желала, мог устоять перед ее обаянием.

Порывисто поднялась со стульчика, шагнула к Свидерскому и Багаеву, протягивая к ним руки, и покаянно склонила голову, словно собиралась отдать низкий земной поклон. Голосом задушевым, чуть звенящим от волнения, заговорила и лишь камни замшелые, потрескавшиеся от старости, могли не отозваться на этот голос:

– Милые мои господа, Леонтий Иванович, Леонид Максимович, простите меня, ради Христа, неразумную! Вы мне такой чудный вечер подарили! Я все еще как не в себе! Простите, что так резко высказалась. Знаете, это от волнения. И еще раз простите – я ужасно проголодалась... Филя, там корзина в коляске, тащи ее сюда!

– Вы уж нас не обижайте, Арина Васильевна, у нас тоже корзина имеется, тем более, что вы – гостья! А мы – хозяйева! Не извольте беспокоиться! Филипп! – Свидерский повернулся к Филиппу, но тот и без приказания знал, что ему нужно делать, и возле костра мигом появился раскладной столик и две большие плетеные корзины.

– Давайте мы пока прогуляемся! – Арина подхватила под руки Свидерского и Багаева, повела их к озеру, к самой кромке берега, и там, словно остыв от влажной прохлады, которой наносило от водной глади Круглого, они говорили уже спокойно и вполне доверительно.

Молодые инженеры, не осторожничая, откровенно рассказали Арине суть своего беспокойства. Заключалась же она в следующем. Приехав сюда год назад, они поначалу никак не могли понять и разобраться – почему все означенные сроки постоянно срываются из-за нехватки леса, кирпича, железа, гвоздей и прочих строительных материалов. Прибывали они, через пень-колоду, с вечным опозданием и плохого качества. Стали интересоваться – в чем причина? И выяснили, что главным подрядчиком является купец Естифеев. Но мало того, что он все сроки срывает, мало этого... Въедливый в своей службе Багаев залез в бумаги, положил рядом с собой счета и щелкал по вечерам костяшками целую неделю. И нащелкал! Такого нащелкал, что, не дождавшись утра, побежал к Свидерскому на квартиру, разбудил его посреди ночи и огорошил: главный подрядчик-то – ворюга несусветный!

Дальше Багаев пространно начал говорить о торгах, ведомостях,

договорах, поставках, но Арина умоляюще его перебила:

– Леонтий Иванович, голубчик миленький, это ж для меня лес темный! Не тратьте время, я все равно не пойму, мне бы попроще...

– Ну, если попроще, это к Свищерскому, – усмехнулся Багаев, – он у нас любит все упрощать.

– Потому что сама жизнь проста и немудрена, усложнять ее совсем не требуется, – весело отозвался Свищерский, – представьте себе, Арина Васильевна, что нам вот здесь, на берегу Круглого, нужно построить стену. Сколько для нее потребуются кирпича? Начинают считать: длина стены вот такая, ширина вот такая, а высота – вот какая! Складывают все это, умножают и получается – тысяча кирпичей, допустим, требуется, чтобы эту стену построить. Объявляются торги – кто поставит кирпич, желательнее подешевле? Но только на торгах этих для нашей стены требуется уже не тысяча, а две тысячи кирпичей! Как так? Откуда? Почему? Да потому, что нужный человек, не альтруист, конечно, насчитал столько, сколько его попросили. И вот торги. Появляется на них Естифеев, либо его доверенный человек, и сбивает напрочь цену конкурентов, потому как знает наперед, что поставить ему придется одну, а не две тысячи этого несчастного кирпича. В итоге – стена построена? Построена! Сколько на нее кирпича ушло? Да кто его ведает!

– Я, конечно, плохо разбираюсь, но только вот думаю – это ведь одному Естифееву не под силу, кто-то же содействует ему!

– В том-то и дело, что содействуют, но мы лишь некоторых знаем, – Багаев помолчал и добавил: – Нам ваша помощь требуется, Арина Васильевна.

– Да чем же я помогу, миленькие, если я ничего не смыслю в таких делах?

– А вам и не надо в них разбираться, Арина Васильевна, – упрямо гнул свое Багаев, – как нам стало известно, с инспекционной поездкой до Владивостока едет высокий чин управления по сооружению железных дорог нашего славного Министерства путей сообщения. Он обязательно должен здесь остановиться. Мы вам бумаги подготовим, а вы эти бумаги ему передадите, прямо в руки.

Подождите, подождите, Леонтий Иванович... А где я его увижу?

– Увидите. Он является вашим поклонником, нам об этом верные люди сказали, даже запрос сюда по телеграфу делал – до какого числа Буранова гастролировать будет? И просил обеспечить ему хорошее место в театре. Так что, на один из ваших концертов обязательно придет. А дальше... дальше от вас зависит.

– Поймите, – Свидерский порывисто схватил Арину за руку, – мы сами не можем передать, нас никто к нему не допустит, слишком наши чины мелкие. Можно, конечно, прорваться через свиту и вручить, но тогда объяснить придется – что в этих бумагах. А рядом будут стоять наши противники и все услышат. Пока суд да дело, пока разбирательство начнется, они успеют все следы замести. А мы с Багаевым окажемся виноватыми. Теперь понимаете?

– Да не совсем уж я глупая, Леонид Максимович. Кое-что понимаю, – Арина резко повернулась, пошла, направляясь к костру и на ходу, как о чем-то обыденном и не стоящем внимания, сообщила: – Все сделаю, что смогу, не сомневайтесь, миленькие. А теперь покормите меня, господа, поимейте жалость к бедной певунье.

Подошла к костру, протянула к огню раскрытые ладони и крикнула:

– Николай Григорьевич! Хватит скучать, иди к нам, гулять будем!

Когда он подошел, Арина, словно извиняясь за невнимание, за то, что оставила его одного возле коляски, прижалась к нему плечом и нежным голосом попросила подать ей кусочек ветчины с черным хлебом.

Рано утром, едва только рассвело, Иргит умылся коротким и теплым дождиком, словно резвая баловница зачерпнула воды в ладошку и брызнула. Летучая пыль осела под водяными каплями, еще ярче зазеленела молодая трава на обочинах улиц, а когда взошло солнце, она вспыхнула, как осыпанная стеклянным крошечком. Горизонт распахнулся до бесконечности, небо поднялось выше, воздух не колыхался, и трехцветный флаг, поднятый в высоту в знак торжественного события – открытия Никольской ярмарки, безвольно повис в безветрии и даже ни разу не распрямился.

– Вот как нынче, – говорили люди, запрокидывая вверх головы, – ни вашим, ни нашим, ни москвичам, ни сибирякам особой удачи не видать – всем поровну!

И закипела ярмарка еще круче, ключом забила – как кипящая вода в раскаленном чугуне.

Прокатывались плотные людские потоки мимо рядов мануфактурных, галантерейных, посудных, кожевенных, бакалейных, растекались на ручейки, заплескиваясь в магазинчики и лавочки, где примеривались, встряхивались, перебирались товары, и не было тем товарам ни конца ни края – глаза разбегались, и все хотелось купить сразу. И плуг новый, и упряжь с медными блестящими наклейками, и полушубок, и валенки, и бусы с серьгами, и ковер бухарский, и вилки серебряные, и тарелки фарфоровые, и шаль атласную либо кашемировую, и сапоги со скрипом, и ботинки девичьи с алыми шнурочками, и дрожжей, и уксуса, и перца, и пряников фигурных ребятишкам на сладкую закуску...

Все, что душе угодно, – в изобилии!

А если и этого мало, хватают за рукава веселые девки, всучивают едва ли не силком орехи кедровые и грецкие, родные каленые семечки в кулечках, пироги и шоколад с мармеладом и, озоруя, приговаривают, будто песню поют:

Пускай тухло, да гнило,
Лишь бы вашему сердцу было мило!

Проворная баба печет блины, поставив сковороду прямо на таганок, ловко скидывает румяные солнца на плоскую большую тарелку, успевает

принимать медную монету, засовывая ее в широкий карман фартука, и тоже время от времени вскрикивает тонким, умильным голосишком:

Блины-блиночки!
Кушайте, милые дочки!

Вдруг голос у нее меняется, и она гремит звонкой руганью, отгоняя подальше разбитного кудрявого молодца, который корчит ей рожи и кричит во все горло:

Раз блиночков я поел,
Так едва не окошел!
А как два подряд отведал,
Так неделю на двор бегал!

Селедочки, расхваливая свой недавно посоленный товар, ходят с деревянными бочонками, поставив их на головы и придерживая руками, пирожники, разложив пироги на лотках, мечутся, как угорелые, а вот квасники, где встали, там и стоят, зато слышно их едва ли не за версту:

Квас для вас!
В нос шибает!
В рот икает!
Запупыривай!

Бывший гостиный двор, именуемый с недавних пор красивым, нездешним словом пассаж, гудит, как улей в горячую пору медосбора. Шутка ли – целая сотня лавок в нем размещается. Здесь товар почище, подороже. Сукно, драгоценности, платья, Шляпки, чай, фрукты, граммофоны, швейные машины «Зингер»...

На самом верху, на четвертом этаже пассажа, огромный ресторан с эстрадой. Снуют бесшумные, как тени, официанты. В зале ресторана, словно в другом мире – нет ни шума, ни стука, ни грюка. Народ здесь сидит серьезный, крупный: московские тузы по коммерции, сибирские и уральские промышленники, водяные короли, у которых под рукой десятки пароходов, скупщики хлеба и сала, торговцы пушниной и чаем. И

разговоры у них неторопливые, обстоятельные, с подробностями. Не кулек с орехами продают-покупают, на сотни тысяч целковых заключают договора, и промахнуться в таких больших сделках – все равно, что палец себе по нечаянности отрубить. Потому и тишина, спокойствие в ресторане, что хорошо знают тузы, промышленники и скупщики одну заповедь: большие деньги громкого крика не любят.

Это уж вечером, когда грянет оркестр, другая картина в ресторане нарисуетя...

Но до вечера еще дожить требуется, до вечера еще далеко.

А пока на дворе стоял лишь солнечный полдень, и ярмарка, еще не достигнув своего пика, набирала и набирала обороты.

На южной окраине Иргита, после скачек, которые всегда устраивали в первый день ярмарки, зашумел отдельный конский базар, раскинувшийся на широком поле, огороженном пряслом из длинных жердей. Здесь главные продавцы киргизы, пригнавшие из дальней своей и бескрайней степи косяки отборных коней, а заодно, в придачу, доставили в бесчисленных тюках на верблюдах бычьи шкуры, войлок, овчину, конский волос, мясо и баранье сало. Все товары эти лежали прямо на земле, на подстилках, и крепкий, ядреный запах витал над ними – с непривычки, когда его хлебнешь, чихать будешь, словно нюхательного табака без меры в ноздри себе насыпал. Но что – запах! Принюхаешься! Зато глянешь, как танцует от нетерпения точеными ногами жеребец-красавец, как вскидывает он голову, разметывая гриву, как косит круглым глазом, в котором отражается вся округа, и остановишься, пораженный. Когда и где еще доведется узреть такую красоту?!

Одни только верблюды здесь ничему не удивляются, жуют равномерно, показывая желтоватые зубы, лениво топчут копытами влажную землю и смотрят равнодушным, отстраненным взглядом на весь базар, словно презрительно желают высказаться: нет такой причины, чтобы столь бестолковую суету устраивать...

«И вся эта картина, как бы привычная и хорошо знакомая глазу обывателя, невольно навеивает успокоительную мысль о том, что дела на Иргитской ярмарке идут очень даже успешно. Мысль эту старательно поддерживают и члены Ярмарочного комитета, выступая с пышными речами. А в суровой реальности обстоят дела далеко не так радужно, как внешне кажется. Железная дорога проложена мимо Иргита, и это грустное обстоятельство в самом скором времени весьма печально скажется на положении Иргитской ярмарки. Благодаря железнодорожным путям огромное количество товаров пройдет мимо нее. Но об этом, более

подробно и обстоятельно, мы расскажем в следующем номере».

Вот такими словами заканчивал большую статью в «Ярмарочном листке», который выходил в это время ежедневно, бойкий автор, укрывшийся под псевдонимом «Летописец».

– Вошь ты на гребешке, а не летописец, – Гужеев скомкал газету, отбросил ее на край большого своего стола и, вздохнув, добавил: – Не могла тебя мать маленького в кадке утопить...

Сердился городской голова славного Иргита по одной простой причине – кругом был прав неизвестный ему писака, именовавший себя «Летописцем».

Внешне и впрямь все обстояло благополучно: и ярмарка открылась торжественно, без сучка и задоринки, и народу нахлынуло, как в былые времена, и в торговых рядах нет ни одного свободного места, но знал Гужеев, во много раз лучше, чем «Летописец», что общие обороты ярмарки неуклонно снижаются с каждым годом, как санки под гору катятся. А покатались они с тех пор, как провели мимо Иргита железную дорогу. Отпала надобность везти большие объемы товаров прямо на ярмарку, строить склады по берегам Быструги, да еще тревожиться, чтобы с товаром ничего не случилось, чтобы не погнил он, не промок и не протух; теперь большие воротилы с прейскурантами сюда прибывают. Сидят в пассаже, в ресторане, раскладывают эти прейскуранты, как карты игральные, и по тем прейскурантам договора заключают. А товары по чугунке до нужного места отправляют – дешево и сердито. Если дальше так пойдет, горько размышлял Гужеев, у воротил со временем и вовсе надобность отпадет на ярмарку являться – мимо будут проезжать.

И что тогда делать прикажете?

С одной мелочевкой оставаться, с блинами-пирогоми?

Веселенькая картинка получится...

Яснее ясного было Гужееву и всем членам Ярмарочного комитета – железную дорогу надо тянуть от Круглой до Иргита, иначе придется навсегда остаться на обочине. Но как с этой мечтой-идеей до столицы пробиться? Посылали уже прошения, но все они возвращались с суровыми резолюциями, суть которых сводилась к одному короткому слову – «нет!». И ходяков тоже посылали, но те дальше приемных самых мелких чиновников железнодорожного министерства пробиться не смогли и ответы получили те же самые, короткие – «нет и нет!»

И вот, кажется, проскользнул лучик света: высокий железнодорожный чин из Петербурга прибывает на станцию Круглая, а затем в Иргит собственной персоной.

Когда стало известно об этой новости, Гужеев сразу же собрал Ярмарочный комитет, но не в полном составе, только самых доверенных людей. Было их трое: Чистяков, Селиванов и Естифеев. Знали друг друга не первый год, знали, кто чего из них стоит, и хотя дружить они между собой никогда не дружили, держались всегда вместе – так уж по жизни и по общим торговым делам повелось, ведь Гужеев тоже из купеческого звания на свой пост взошел.

Собрались, выслушали новость, которую им сообщил Гужеев, и задумались. Понимали все прекрасно, что счастливый случай сам в руки плывет, да только как его не прозевать и не прохлопать... Заполучить в союзники такого высокого чина – это, можно сказать, половину дела решить. Но в первый раз так ни до чего и не додумались. Однако вскоре узнал Гужеев от железнодорожных, что прибывающий чин очень любит слушать певицу Буранову, которая в данный момент и поет по вечерам в иргитском городском театре. Хорошо поет, славно, публика в театр ломится, как на дармовую выпивку.

В срочном порядке Гужеев известил свою доверенную троицу, собрались еще раз, и Естифеев, не раздумывая долго, высказался, как всегда, коротко и ясно:

– Певичку эту надо ему подсунуть, а когда размякнет, мы ему – подношение. Только хорошее подношение! Не поскупись. Если своего добьемся, все вернем! Это ж какие подряды огромные! У меня аж руки чешутся!

На том и порешили. На следующий день пригласили антрепренера Черногорина, но тот ускользнул от ясного ответа и попросил время подумать. Времени на раздумье ему дали два дня. Один уже прошел.

Какой ответ принесет завтра антрепренер Арины Бурановой?

Вздыхнул Гужеев и грузно поднялся из своего широкого, резного кресла, в котором сидел без малого полтора десятка лет. Много чего случалось за эти годы, всякого: и сладкого, и горького, и такого, про что и вспоминать не хочется. Но никогда еще Гужеева так сильно не угнетало двоякое чувство: с одной стороны, согласился со всем, что предложил Естифеев, а с другой – душа не на месте, ноет, потому что не нравится ему эта затея, дурно от нее пахнет. Но деваться-то некуда, вот и приходится нюхать...

– В телегу не сяду и пешком не пойду, – пробормотал Гужеев, переложил бумаги с места на место, передвинул большой и тяжелый письменный прибор и остановился – чего бы еще сделать?

Но больше никакого заделья для себя не нашел, и брякнул в медный

колокольчик, вызывая секретаря – решил чаю выпить.

Секретарь на звон колокольчика не отзывался. Гужеев побрякал еще раз. Тишина. Тогда он, грузно топая, прошел к двери, сердито распахнул ее и оторопел: секретаря в приемной не было, зато стоял на широком зеленом ковре маленький человечек в черных сапожках, в черных брючках и в черном же пиджачке, из разъема которого выглядывала голубенькая рубашка. Личико сморщено, ручки детские, а глазки по-стариковски усталые, смотрят с такой печалью, словно человечек собирается вот-вот заплакать. На плечике у него, крепко цепляясь когтями за пиджачок, сидела встрепанная ворона и безмолвно, не издавая ни звука, широко разевала клюв.

– Ты кто? – Гужеев вышагнул из дверного проема, навис над человечком. – Ты как сюда попал? Кто пустил?

– Да никто не пускал, – добрым тоненьким голоском ответил ему человечек, – я же маленький, а здесь все вверх смотрят, вот меня и не замечают. Я взял и прошел.

– Зачем?

– Видите ли, господин хороший, я раньше зарабатывал себе на хлеб гаданием по старинной книге Мартына Задеки, а Чернуха моя, вот она, на мне сидит, помогала, каркала в нужный момент. Но случилось со мной несчастье, задремал я на солнышке, а когда проснулся – ни книги моей нет, ни Чернухи. Я совсем отчаялся, потому как остался без пропитания, и пошел к Глаше-копальщице, я и раньше к ней ходил, она меня всегда привечала и кормила. Вот пришел, рассказываю про свое горе, а она сердится: книга, говорит, твоя гадательная – бесовская, и радуйся, что ее украли, а Чернуха твоя жива-здоровая и ждет не дождется, когда ты за ней явишься. Куда же, спрашиваю, явиться за ней? Глаша и сказала: самый большой магазин в городе, а рядом елки растут, вот она под елками и сидит, голодная; на, покормишь ее. И подает мне кусочек белого хлебца. Я хлебец взял, побежал сюда и точно – сидит, моя родненькая, вся растрепанная. А еще Глаша сказала, что я отблагодарить ее должен. Пойди, сказала она, в самый большой магазин, найди там самого главного начальника и передай ему мои слова. Вот пришел я, передаю слова Глашины. Они такие: голос ангельский я слышу, белая голубка поет, а на голубку сеть плетут хитрые руки, не дозволю я, чтобы голубку в ту сеть поймали, руки отсохнут...

Человечек переступил с ноги на ногу на зеленом ковре, вздохнул протяжно словно от усталости после тяжелой работы, моргнул глазками и еще раз вздохнул:

– Теперь прощайте, господин хороший.

Поклонился, повернулся четко словно солдатик, и ворона на его плече даже не колыхнулась, сидела, уцепившись когтями, прочно, как влитая.

Гужеев так растерялся от всего увиденного и услышанного, что даже не нашелся, что сказать или спросить. Проводил человечка взглядом до двери и долго еще стоял посреди пустой приемной, ощущая, как пугающий холодок тонкой змейкой ползет по спине. «Чушь, ерунда, бредни полоумных!» – думал он, а холодок не исчезал.

Вернулся секретарь с бумагами, Гужеев его обругал – где шляешься? – и, недослушав оправданий, велел подать чаю. Задумчиво сидел в своем кабинете, в полном одиночестве, медленно жевал ломтик лимона, присыпанный сахарной пудрой, прихлебывал чай, а холодок, извиваясь змейкой, все полз и полз по спине, не зная остановки.

Земля сырая, липкая, холодная.

Здесь, на глубине, она еще не отошла от каленых зимних морозов, и в иных местах, когда лопата со скрипом выковыривает камни, они обнажают грязный белесый ледок. Положишь руку, ледок тает, а пальцы, если долго не убирать ладонь, начинает ломить тупой болью.

Студена сырая земля, студена, и, ой, как много ее, как много!

И где-то там, далеко внизу, под плотными, слежалыми пластами видится Глаше тихая, счастливая жизнь, в которую ей очень хочется попасть. Потому и стремится она всей душой туда, под землю, где эта жизнь запряталась, и нет больше никаких помыслов, кроме одного – докопаться. Там, на глубине, знает Глаша, знает и видит, как наяву – перед глазами он у нее стоит, – высится на пригорке ладный и небольшой домик с резными наличниками, выкрашенными голубой краской, с маленьким крылечком в три ступени, а в самом доме, как войдешь в него, стоит длинный стол, накрытой белой скатертью, с вышитыми на ней алыми цветами. За столом сидят ребятишки, и Глаша обходит их всех по очереди, наливает им в кружки молока из большой глиняной кринки, а отец ребятишек, муж Глашин, красивый, с рыжеватой бородкой, режет на крупные ломти круглый хлебный каравай, прижимая его к груди. Каравай только что из печи вынут, еще не остыл, и ребятишки перекармливают ломти из ладошки в ладошку, дуют на них и смеются-заливаются, пьют молоко взахлеб, а на губешках у них белые усы, как нарисованные...

Глаша встряхивает головой, раскидывая свалывшиеся космы, грязным рукавом протирает глаза, чтобы в них прояснило, хватает гладкий, отполированный черенок и с силой всаживает острую лопату в суглинок. Ноет спина от постоянного наклона, неведомая жилка дрожит в животе, кажется, что она сейчас оборвется, но Глаша пересиливает все боли, и копает, копает, не давая себе роздыха. Одно за другим деревянные ведра набиваются землей по самые края, вот и последнее – полное. Глаша подхватывает два ведра за железные дужки, тащит их к выходу из глубокой ямы и, выбравшись наверх, будто запинаясь за солнечный свет, который ослепляет ее, обдавая ощутимым теплом. Хочется постоять, отогреться, досыта нарадоваться теплоте и яркому свету, но Глаша торопится, в припрыжку несет полные ведра к высокой куче, высыпает землю и, круто развернувшись, снова спешит в яму, и так ровно десять раз, потому что

ведер у нее для выноса земли двадцать.

И снова – копать, копать, копать. До следующего выхода на солнечный свет, пока не подкосятся ноги, и не упадет она плашмя на жесткую землю. Где упадет, там и останется лежать, забывшись коротким сном. Но и во сне будет видеть под земляной толщей домик, стол, мужа и ребятишек, пьющих молоко.

Когда Глаша очнулась и открыла глаза, а лежала она ничком, то дернулась испуганно, не различив, что такое перед ней шевелится. А когда пригляделась, блеклые запекшиеся губы зашевелились, будто бы в улыбке – ползла по зеленой травинке божья коровка, цепко ползла, не оскальзывалась. Глаша положила ее себе на ладонь, отнесла в сторону и опустила осторожно на молодой лист лопуха – нечего на дорожке ползать, здесь ее нечаянно и раздавить можно...

И только она распрямилась, собираясь снова спускаться в яму, как услышала вдалеке одинокое и протяжное карканье. Остановилась, прислушиваясь, и скоро увидела, как торопится к ней мелкими шажочками маленький человечек, а на плече у него, взмахивая одним крылом, сидит Чернуха и время от времени, широко разевая зевластый клюв, подает голос.

– При-и-ше-е-л, – протянула Глаша и, перевернув деревянное ведро кверху дном, осторожно присела.

Человечек обогнул последний валун, лежавший перед ним на дороге, и, запыхавшись, столбиком встал перед Глашей, вытирая ладошками с маленького личика крупный пот.

– При-и-мо-ри-ил-ся, – Глаша перевернула еще одно ведро и подвинула его человечку, – са-а-дись...

Говорила она нараспев и говорила очень кратко – три-четыре слова за один раз, не больше. И лишь, когда ругалась, распев этот терялся неведомо куда, а голос становился хриплым и пугающим.

Человечек отдышался, ручки на колени положил и стал рассказывать:

– Повезло мне, Глаша, и до города подвезли добрые люди, и обратно тоже подвезли. И все ты, родимая, верно указала, до капельки. Видишь, нашел я свою Чернуху, под елкой. Увидела меня и бежит навстречу, бежит и крылом машет – признала меня. И слова твои начальнику передал – в точности.

– А о-он че-е-го?

– Да ничего, Глаша. Смотрит на меня и молчит. Я с ним попрощался и пошел. Думал, что ругаться станет, а он не ругался – молчит.

– Чу-у-ет... Чу-у-ет, бой-и-тся...

– Глаша, а хлеба у тебя не осталось, я бы съел...

Она молча поднялась, спустилась в яму и вернулась с тряпичным узелком, положила его на землю перед человечком, развернула. Лежали в узелке крупная краюшка хлеба, два печеных яйца и луковица.

Человечек сначала покормил Чернуху, отламывая крошки от краюхи, затем, облупив яйца, начал есть сам и, проделывая все это, не торопясь и опрятно, не отрывал взгляда от Глаши, смотрел на нее преданно и благодарно. Она же, чуть повернув голову, глядела в темный зев ямы, и выцветшие, блеклые глаза ее, обычно отрешенные, вспыхивали, словно в них искры проскакивали, и можно было догадаться, что видит она не то, что лежит перед ней, а нечто совсем иное...

Взмыленная тройка Лиходея с шиком, на полном скаку, подскочила к «Коммерческой». Кони вздернули морды, осаженные твердой рукой, и замерли, шумно раздувая влажные ноздри после долгого бега. Николай первым выскочил из коляски, подал руку Арине, но она, словно не заметив этого, легко спрыгнула на землю, послала воздушный поцелуй Лиходею, взбежала на лестницу, звонко стучая каблуками, и сверху, уже у двери, обернулась, крикнула:

– Помни, Николай Григорьевич, уговор наш! Не забудь!

Он ничего не ответил, постоял в раздумье, а затем пошел прочь от коляски, даже не попрощавшись с Лиходеем. Тот глянул ему в спину, понял, что не будет больше надобности в быстрой езде, и тихонько тронул своих коней, направляя их не к постоянному месту стоянки, под топодем, а домой – хватит, наездились, пора и отдохнуть, полежать-подремать, ведь почти целые сутки глаз не смыкали.

Николай шел, по сторонам не оглядываясь, сам не зная, в какую сторону его несут ноги. Усталости не было, спать ему не хотелось, наоборот, тело пружинило, налитое молодой силой, но в груди была полная пустота, ни желанья, ни чувства – ничего. Пусто, как в мешке, из которого зерно высыпали, а после еще и выхло-пали, последнюю пыль вытряхнув. Он пересек площадь, дошел до торговых рядов, вклинился в людской водоворот и поплыл в нем, как щепка по течению.

Шумела-гремела ярмарка, голосила на разные лады, манила и зазывала, а он брел, равнодушный ко всему, что вокруг звучало и бурлило, и слышался ему голос Арины Бурановой, будто она была рядом и шептала на ухо, обдавая горячим дыханием:

– Хороший ты человек, Николай Григорьевич, и душа у тебя чистая, светится. Я вижу, как светится, я таких людей сердцем чувствую. Да только про любовь ко мне не говори больше ни одного слова. Не может промеж нас никакой любви быть. Прости, не может. Это так, затмение на тебя легкое нашло, оно пройдет. Не ищи меня больше – забудь. Живи своей жизнью, она у тебя впереди еще длинная-длинная, счастливая-счастливая... А я вспоминать буду сотника Дугу, как братика родного. Младшего братика, я же тебя старше. Договорились? Дай слово, Николай Григорьевич. Вот и хорошо. Если мне помощь понадобится, и я тебя позову, ты же поможешь? Не хмурься, не хмурься, не сердись на меня, а на прощание... давай я тебя

поцелую...

И после этих слов она осторожно обняла его мягкими, теплыми руками, крепко поцеловала в губы и, отстраняясь, взъерошила ему легким движением руки жесткий, неподатливый чуб – как маленькому ребенку.

Вот так и закончилась эта длинная, непонятная ночь, когда они, проводив инженеров и Филиппа, остались у затухающего костра на берегу озера Круглого. Хотя нет, когда они уже пошли, направляясь к лиходеевской коляске, Арина еще сказала:

– Предупреди отца, чтобы со свадьбой не торопился. Для Естифеева скоро плохие времена наступят – я точно знаю. Совсем плохие времена...

Но эти последние слова Николай пропустил мимо ушей, потому что про сватовство и про свадьбу он совсем не думал – забыл напрочь.

Он и сейчас об этом не думал. Шел в толпе, натываясь на людей словно слепой, и злился, что торговые ряды все не кончаются и он никак не может выбраться из толчеи, чтобы оказаться в тихом месте, где можно побыть одному, а рядом – никого.

В конце концов он нашел такое место – в церковной ограде Никольского храма. Служба здесь давно уже закончилась, прихожане разошлись, следом за ними исчезли и нищие, перебравшись поближе к торговым рядам, и одна лишь согбенная старушка в черном одеянии тяжело катила тележку, нагруженную крупным речным песком, и сыпала этим песком боковую дорожку, раскидывая его маленьким железным совочком.

Николай перекрестился, поднимая глаза на золоченый купол храма, постоял у входа, наблюдая за старушкой, которая упорно, как муравей, продолжала тянуть тележку, и вздохнул на полную грудь – будто невидимый кляп из него вышибло. Тихо, пусто, благостно было в церковной ограде. Ярмарочный шум сюда не достигал, и слышно было, как деревянные колесики у тележки чуть-чуть поскрипывают. Николай прошелся по дорожке, приблизился к старушке и предложил:

– Бабушка, давай я тебе помогу...

Старушка легко разогнулась, взглянула на него добрыми, выцветшими глазами и согласилась:

– А и помоги, родной, если желание имеется. Тащи ее, не поспешай только, а я песочек раскидывать стану, вон как красиво ложится – и глазу приятно, и ногам радостно по такой дорожке ходить. Праздник завтра – Никола-вешний. Святитель наш, за всех заступник. И торговых, и морских людей, и всех хрестьян оберегает. Служба завтра пышная, народу много, вот и порадуемся, помолимся, и ты, сынок, приходи, помолись, попроси Николу, чтобы он тебе счастье помог обрести. Он услышит, Никола всех

нас слышит...

И вот так, под неторопливый голос старушки, они засыпали песком дорожку до самого конца. Николай попрощался, вышел из церковной ограды, и показалось ему, что он умылся чистой и прохладной водой, и глаза его после этого, будто обрели новое зрение: открылся окружающий мир ярко и далеко – до самого окоема.

Теперь, уже никуда не сворачивая, он быстрым шагом направился к родителям своего друга, сотника Игнатова, где дожидался его Соколок. Увидев хозяина, конь радостно встряхнул гривой, потянулся бархатными губами, надеясь получить сухарь, но в карманах у Николая было пусто, и Соколок фыркнул, разбрызгивая слюну, словно подсадовал: что, не мог сухарик на ярмарке купить?

– Ладно, не сердчай, я тебе хлебушка сейчас вынесу, – Николай похлопал его ладонью по шее, погладил и направился в дом, где его встретили встревоженные старики Игнатовы.

– Николушка! Да где ж ты пропал?! – в один голос, перебивая друг друга, запричитали они. – Обыскались мы тебя! Потеряли! Из полка нарочный был, велено тебе, как объявишься, срочно на службу прибыть! Строго-настрога наказали, чтобы ни минуты не медлил.

Ради пустяков Голутвин нарочного посылать не стал бы – Николай быстро, как по тревоге, заседлал Соколка и вылетел из ограды, даже не попрощавшись со стариками Игнатовыми. Только и успел рукой махнуть, когда они выбежали на крыльцо.

Полковник Голутвин сидел за столиком, вольно и широко расстегнув ворот мундира, вытирал большим пестрым платком пот с крупного лба, морщился словно от дурного запаха и крутил в пальцах длинную папиросу с золотым ободком на бумажном мундштуке, что было верным признаком крайнего раздражения. Курил командир полка очень редко и лишь в тех исключительных случаях, когда требовалось сдерживать самого себя, чтобы не сорваться на крик. Все офицеры это прекрасно знали и, увидев в руках у командира папиросу, старались не подавать и малейшего повода, чтобы раздражение Голутвина не достигло крайнего рубежа и не переросло в гнев. В гневе полковник был страшен, как занесенная над головой шашка.

Николай четко и громко доложил о своем прибытии и замер – руки по швам. Голутвин осторожно положил папиросу на край стола, накрыл ее широкой ладонью, словно хотел спрятать, чтобы сотник не видел, и неожиданно спросил:

– Когда свадьбу играть наметили?

Вот тебе и привет, любезный, – лови оплеуху, чтобы мимо не проскочила!

Чего угодно ожидал Николай, когда летел в полк, сломя голову, но только не этого вопроса. Растерялся, даже в жар кинуло, но врать и изворачиваться не стал, честно признался:

– Не знаю.

– Похвально, сотник, что за нос меня не водите и в заблуждение ввести не пытаетесь. Иначе мне пришлось бы за вас краснеть. Григорий Петрович заезжал, когда из Иргита возвращался, и доложил мне, что сватовство вы своим присутствием не осчастливили. Так?

– Так точно, – отчеканил Николай.

– И отпуск, который я вам предоставил для устройства личных дел, используете по своему усмотрению.

На этот раз Николай благоразумно промолчал.

– Ладно, отложим ваши свадебные выкрутасы до лучших времен, – Голутвин поднял руку, посмотрел на папиросу и снова прихлопнул ее широкой ладонью, – теперь, сотник, слушайте меня внимательно. Даю вам три часа. За это время привести сотню в полную боеготовность, получить патроны, провиант на полторы недели и ждать приказа. Вопросы есть?

– Никак нет!

Голутвин взмахнул рукой, словно выпроваживая сотника из штабной палатки, и тот, козырнув, четко повернулся и выскочил в узкий проем, даже не задев откинутый наружу полог.

Ровно через три часа сотня выстроилась на плацу. Дальше, за сотней, стояли шесть конных повозок, где были уложены и крепко увязаны котлы, мешки с крупой и овсом, топоры, лопаты, веревки, даже сухая береста для растопки – все, что может понадобиться в походе на долгое время. Казаки шепотом переговаривались между собой, поглядывали на своего сотника и все хотели знать – что за тревога случилась? И почему подняли лишь одну сотню?

Но ответа никто не знал, в том числе и сам сотник.

Скоро все прояснилось. К штабной палатке подкатила коляска, из нее выскочил жандармский офицер, а навстречу ему вышел Голутвин. Они недолго поговорили между собой и направились к сотне. Прошлись вдоль строя, внимательно оглядывая казаков и лошадей, затем Голутвин сделал знак Николаю, чтобы тот спешил и следовал за ним. Втроем они вернулись к палатке, и Голутвин представил:

– Ротмистр Остальцов, сотник Дуга. Прошу.

В палатке по-прежнему было жарко, и Голутвин снова расстегнул ворот мундира. Длинной папиросы с золоченым ободком, как заметил Николай, на столике уже не было, видно, полковник ее все-таки выкурил. Теперь на столике лежала развернутая карта, циркуль и два красных карандаша. Один из них Голутвин протянул ротмистру и предложил:

– Будьте любезны, введите сотника в курс дела.

– Докладываю, – ротмистр шагнул к столику, наклонился над картой, – вот здесь, где лес начинается, киргизы, когда гонят свои табуны на ярмарку, всегда устраивают привал, степь прошли и – на отдых, своего рода перевалочная база. Колодцы вырыты, постройки кое-какие имеются. Два дня назад шайка Байсары Жакенова налетела на своих соплеменников, половину из них перебила, другую половину, отобрав у них коней и овец, отправила, как говорится, в родные пенаты. А конский табун исчез вместе с шайкой и с овцами. Задача простая – найти табун, а шайку, естественно, обезвредить.

– А зачем они здесь напали? – удивился Николай, взглянув на карту. – В степи-то удобней. Зачем столько верст тащиться?

– Вопрос резонный, но я отвечу на него в свое время. И еще у меня просьба к вам, сотник... Казакам пока ничего не говорить, когда наступит нужный момент, я сам скажу.

– Вашу сотню, Дуга, я потому выбрал, что у вас молодых меньше, –

Голутвин аккуратно сложил карту по сгибам и протянул ее ротмистру, – но это совсем не значит, что можно кидаться куда попало, очертя голову. Вернуться обратно должны все, до единого. Общее командование возложено на ротмистра Остальцова, – Голутвин достал большой клетчатый платок, вытер пот со лба, и закончил: – Ну что, с Богом. Коня вам, ротмистр, подготовили.

Уже выходя из палатки, Николай догадался, по какой причине полковник находился в крайнем раздражении: берут лучшую сотню полка и отдают под начало неизвестному жандармскому офицеру. А как он ее поведет и что он за человек – неизвестно. «Не извольте беспокоиться, господин полковник, – молча заверил Николай своего командира, – мы тоже не лыком шитые. У нас тоже голова имеется...»

В наползающих сумерках сотня покинула лагерь и пошла легкой рысью на юг. С левой стороны горел огромный закат, и яркие полосы, пересекая редкие облака, вытягивались на половину неба.

Николай покачивался в седле, зорко осматривался и радовался безмерно предстоящему горячему делу, надеялся, что оно поможет ему справиться с душевной сумятицей.

А в памяти звучал, не утихая, голос Арины Бурановой, будто она находилась где-то совсем рядом, и пела, не умолкая...

Ласточка причитала и охала, будто на похоронах. Рассказывала, как ругался Черногорин и как он грозился собственными руками задушить свою несравненную певицу.

– Да не убивайся ты так! – отмахнулась Арина. – Лучше помоги мне платье снять, и воды приготовь, я умоюсь. А задушить наш Яков Сергеевич никого не задушит, потому как ручки у него слабенькие и растут не из того места. Он ими только размахивать может...

Она быстро умылась, вышла из ванной комнаты, встряхивая влажные волосы, еще раз отмахнулась от Ласточки, которая предлагала принести завтрак, сладко зевнула и ящеркой скользнула под легкое одеяло, сунув под голову сложенные ладони. Ласточка замолчала, подошла, осторожно переставляя тяжелые ноги, к постели, чтобы поправить одеяло, и замерла – Арина уже спала, чуть слышно посапывая. «Вот как накатались – досыта, – удивлялась Ласточка, – голову до подушки донести не успела, а уже спит. Ой, беда, явится Яков Сергеевич – пыль до потолка и святых выноси!»

Отошла от постели, опустилась на краешек кресла и больше уже не шевелилась – боялась, что нарушит тишину неловким движением своего большого тела и Арина проснется. Сидела, положив на колени широкие ладони, смотрела в стену круглыми коровьими глазами и тихонько вздыхала, готовясь к шумному скандалу, который обязательно должен случиться – вот лишь явится Яков Сергеевич...

Но Черногорин не появлялся.

Ласточка в долгом ожидании не заметила, как сама уснула, неловко привалившись к спинке кресла, да так крепко, что ей даже сон привиделся. Будто бы она по воде бредет, речку переходит, а мимо, по течению, плывут дамские шляпки – самых разных фасонов и размеров, с лентами, с вуалями. Плывут, покачиваются, и нет им ни конца ни края. Ласточка руку протянула, чтобы ухватить хоть одну из них, а шляпки колыхнулись и утонули все разом, словно снизу им тяжелые грузы подвесили. Исчезли. Одна вода течет по-прежнему и взблескивает солнечными зайчиками. Ласточка понимает, что это ей сон снится, и еще успевает с горечью подумать: «Вот оно, мое счастье, поманит пальчиком и сгинет. Даже во сне не сбывается...»

И проснулась, словно ее в бок толкнули. Вскинула глаза, оглядываясь в тревоге, и увидела, что в другом кресле, закинув ногу на ногу, сидит

Черногорин – как тень прошел! – смотрит, запрокинув голову, в потолок, словно пытается там что-то разглядеть, а носок начищенного блестящего башмака нервно дергается то в одну, то в другую сторону. Ласточка шевельнулась в кресле, оно под ней тихонько охнуло, и Черногорин, медленно опустив голову, приложил палец к губам, предупреждая ее, чтобы она молчала.

Ласточка рта не разомкнула, сидела, больше уже не шевелясь, вся в ожидании – что-о б-у-удет?!

Арина проснулась не скоро; перевернулась набок, потягиваясь, и, выпростав руки из-под одеяла, вольно раскинула их, улыбнулась, еще не открыв глаза, и с легким вздохом выговорила:

– Как пряник съела...

– Сладкий, должно быть, пряничек вам попался, Арина Васильевна! И где вы его покупать изволили? Не поделитесь секретом с нами, недостойными? – Черногорин говорил тихим, ехидным голосом, а носок его башмака дергался из стороны в сторону так резко и быстро, что в глазах мельтешило.

– Поделюсь, Яков Сергеевич, обязательно поделюсь, и от пряничка вам откусить дозволю, – Арина распахнула глаза, приподнялась от подушки, помотала головой, раскидывая волосы. И проделала все это с таким веселым удовольствием, словно проснулась маленькая девочка и радуется безмерно, как радуются только в детстве, всему миру, который ее окружает.

– Может, расскажете мне, Арина Васильевна...

– Во всем признаюсь, Яков Сергеевич, – перебила его Арина, – как батюшке на исповеди, только дозволь мне из постели встать и одеться. А еще лучше, ступай-ка ты в ресторан, Яков Сергеевич, закажи обед хороший, и я туда подойду. На сытый живот и беседа ласковой сложится.

– Хорошо, я вас в ресторане жду, Арина Васильевна, только у меня просьба нижайшая имеется – вы уж больше не исчезайте никуда. Бесследно... – Черногорин поднялся из кресла, постоял, словно о чем-то раздумывая, и тихо вышел из номера.

Прошло полчаса, и Арина впорхнула в ресторан, одетая в голубое платье с широким белым шарфом, перекинутым через плечо, – стремительная, светящаяся. Летела словно невесомая бабочка, пронизанная солнцем. Головы посетителей вскинулись разом и стали медленно поворачиваться, многие ее узнавали, шуршали шепоты: Буранова пожаловала...

Черногорин поднялся ей навстречу, взялся за спинку высокого стула, чуть отодвигая его от стола, и сквозь зубы, себе под нос, едва слышно

выговорил:

– Ведьма...

– И каким же нехорошим словом вы меня обозвали, Яков Сергеевич? – Арина преданно смотрела на него, усаживаясь за стол, и так радостно улыбалась своему антрепренеру, словно встретились они после долгой, многолетней разлуки, которую едва смогли пережить.

– Вполне приличным, – отозвался Черногорин, и резким жестом убрал подскочившего к столу официанта, который хотел налить в бокалы вина, – вполне приличным словом, хотя вы заслуживаете совсем неприличного...

– Да ладно тебе, Яков, давай мириться. Налей мне вина немножко, выпьем, поедим, а после мы с тобой съездим в одно место, нет, в два места, и тогда уж будешь волен делать со мной, что твоей душе угодно. Хорошо? А здесь нам ругаться совсем не пристало, вон какие важные люди кругом сидят.

Черногорин молча разлил вино, выпил, не чокаясь с Ариной, и также молча принялся за еду, словно один сидел за столом и никого перед ним не было.

– Ваше здоровье, Яков Сергеевич, дай вам Бог его на долгие годы! – Арина улыбнулась ему и пригубила вино из бокала.

Черногорин не отозвался, будто не слышал, даже не кивнул.

После обеда, который прошел в полном молчании, они вышли из гостиницы, и Арина попросила, чтобы Черногорин нашел извозчика – Лиходея на его обычном месте, под топодем, не было; видно, еще не отоспался после ночных скачек.

– И куда ты меня везти собралась? – все-таки не выдержал и спросил Черногорин, когда они уселись в коляску.

– Езжай, голубчик, к горе Пушистой, – приказала Арина извозчику, повернулась к Черногорину и добавила: – За город поедем, Яков Сергеевич, это совсем недалеко.

И – поехали.

Ровно, не поспешая. Арина мягко покачивалась на удобном сиденье, вспоминала гибельный бег лиходеевской тройки, и ей казалось, что коляска тащится слишком уж медленно. Но извозчика не торопила, понимала, что каждый ездит по-своему, так, как ему удобней и привычней. Смотрела в сторону, отвернувшись от Черногорина, и чем ближе подвигались к Пушистой, которая все выше вздымалась в небо лохматой зеленой макушкой, тем строже и горестней становилось лицо несравненной – даже следа не осталось от недавней веселости. И глаза потухли, будто затушили два синих костерка, лишь одинокая слеза, медленно катившаяся по щеке,

взблескивала при ярком дневном свете, но Арина ее даже не чувствовала и не вытирала.

Возле старых, замшелых валунов извозчик остановил свою лошадку, обернулся, собираясь спросить – дальше-то куда? – но Арина его опередила:

– Тут подожди.

Черногорин, уже догадавшийся, куда его привезли, но еще не понимавший – для какой цели? – молча вылез из коляски и послушно двинулся следом за Ариной, которая торопливо пробиралась между валунами, словно боялась опоздать к назначенному ей часу.

Не опоздала.

Глаша как раз поднималась из ямы с полными ведрами земли, клонясь вперед от тяжести, по сторонам не смотрела и прибывших гостей не увидела. Высыпала землю, подхватила пустые ведра и снова направилась к яме, глядя себе под ноги, словно боялась запнуться.

– Глаша! – позвала ее Арина и, боясь, что она ее не услышит, повторила громче, почти крикнула: – Глаша!

Откинув со лба седые свалывшиеся космы, она медленно обернулась на голос, постояла в раздумье и выпустила из рук ведра, которые глухо стукнулись о землю. Приставила козырьком ладонь ко лбу и долго вглядывалась в Арину и Черногорина.

– Глаша, ты меня помнишь? Аришу помнишь? Это ведь я, Ариша, неужели не узнаешь?! – Арина стронулась с места, пошла к ней, но Глаша ее остановила злым выкриком:

– Не подходи! Не подходи, лукавая! Не притворяйся! Знаю!

И, наклонившись, схватила за железную дужку одно ведро, вздернула его и угрожающе размахнулась, собираясь бросить. Голова ее дергалась и взметывались грязные, свалывшиеся волосы, глаза безумно сверкали, и весь ее вид был столь страшен, что Арина остановилась и не насмеливалась подойти ближе.

На крик из ямы торопливо выбрался, семеня мелкими шажочками, маленький человечек, а за ним, прихрамывая и взмахивая неперебитым крылом, ковыляла Чернуха, словно и она спешила на выручку.

– Арина, пойдем, тебе здесь нечего делать, пойдем! – Черногорин ухватил ее за руку и потащил за собой, ловко пробираясь между валунами; сердито выговаривал: – Зачем ты приехала, зачем ты ее тревожишь? Оставь, оставь, ей уже нельзя помочь!

– Ну, почему, почему она меня не узнает, почему она меня гонит, уже второй раз! – вскрикивала Арина, оглядывалась и видела, что Глаша стоит

на прежнем месте и машет им вслед крепко сжатым сухим кулаком.

– Почему, почему... – злился Черногорин, подсаживая Арину в коляску. – Потому! Откуда я знаю?! Я не врач в скорбном доме! Братец, вези напрямиком к «Коммерческой» и никуда не сворачивай.

– Нет, Яков, еще не все! Еще в одно место, голубчик, к старым казармам вези. Знаешь, где старые казармы?

– Знаю, – кивнул извозчик, – так куда, уважаемые? К «Коммерческой» или к казармам?

– Ладно, вези к этим... черт подери, к казармам! – махнул рукой Черногорин, понимая, что переспорить Арину ему не удастся.

Две старые казармы, обветшалые, приземистые, с маленькими узкими оконцами, похожими на бойницы, располагалась на тихой, глухой улочке, по-деревенски заросшей молодой и густой травой. По траве бродили куры, деловито выискивая себе корм, а за курами наблюдали две козы, привязанные длинными веревками к одному колу, глубоко вбитому в землю. Казармы давно уже стояли пустыми, заброшенными и сухое, прошлогоднее будылье едва не доставало до провисших крыш.

Арина велела извозчику остановиться. Не выходя из коляски, она долго смотрела на казармы, на деревянную, серую от старости, ограду и что-то шептала неразличимо, едва размыкая губы.

– Что ты шепчешь? – спросил ее Черногорин, не дождавшись ответа, развел перед собой руками: – Слушай, я одного не пойму – мы зачем сюда притащились? И к яме – зачем? Я не понимаю тебя, хоть убей!

– Вот отсюда, Яков, меня увезли и везли по белому свету... Как я не сгнула – один Бог ведает. Господи! Я сегодня все тебе расскажу, Яков, вернемся сейчас в гостиницу и все расскажу...

Посредине широкой поляны, окруженной со всех четырех сторон высокими соснами, лежала длинная, трухлявая валежина, наполовину уже вросшая в землю, а по бокам этой валежины густо стелился сплошным ковром темно-зеленый брусничник, усыпанный крупными, с мужичий ноготь, ягодами – урожай в то лето выпал невиданный. Сквозь верхушки сосен прорывался солнечный свет, падал широкими полосами, брусничник вспыхивал и переливался радужными отблесками, так ярко, что даже в глазах рябило.

Наверное, эти отблески и ослепили Арину, когда она переставила ведро и сделала шаг в сторону от валежины. Шагнула и вздрогнула запоздало, услышав протяжное, злое шипенье – прямо перед ней лежала, свернувшись в клубок и вздернув заостренную головку, матерая гадюка, завораживая вертикальным взглядом неподвижных зрачков. Край ведра придавил ей хвост. Арина дернулась, чтобы схватить ведро и защититься им, но сверкнула перед ней черная блестящая молния и боль ударила в щеку – мгновенная и пугающая до обморока. Тонкий, пронзительный крик прорезал поляну, и гадюка, словно испугавшись его, скользнула бесшумно в брусничник, исчезла бесследно, словно ее здесь никогда и не было. Арина еще раз дернулась, повернулась, чтобы бежать прочь, но запнулась, рухнула плашмя на жесткие кустики, из последних сил, захлебываясь от боли и страха, успела еще выкрикнуть:

– Змея!

И провалилась, будто в глубокую яму.

Не видела она, как стремительно подбежала к ней Наталья, лишь только почувствовала материнские руки, схватившие ее, и это было последнее, что осталось в ускользящем сознании.

Наталья же с ужасом глядела на два маленьких красных пятнышка на щеке дочери и крепче, изо всей силы, прижимала к себе худенькое тельце. Понимала – надо что-то делать, куда-то бежать, но стояла, не двигаясь с места, словно ноги у нее приросли к земле.

С другого края поляны, на ходу сдергивая с себя толстый ватный пиджак, скачками неся Никифоров, и из-под сапог у него вылетали сбитые с веток красные ягоды. Подбежал, бросил пиджак на землю, хрипло приказал:

– Клади! Сюда клади!

А сам, сунув руку в карман брюк, дергал ее и дергал, не в силах вытащить на волю. Вырвал, с треском разрывая старенькую ткань, и в руке у него тускло мигнул костяной ручкой складной нож. Пальцы соскальзывали, и он не мог вытащить лезвие, тогда уцепился в него зубами, отдернул и еще громче, уже на вскрике, еще раз прохрипел:

– Клади!

Упал на колени перед Ариной, щепоткой захватил кожу на щеке, в том месте, где помечена она была двумя пятнышками от укуса гадюки, и резким, точным движением отпластнул ножом кусочек плоти. Отбросил в сторону нож, нагнулся еще ниже и припал ртом к ранке, окрашенной кровью. Всхрапывая носом, всасывал в себя эту кровь, сплевывал ее и снова припадал к щеке Арины, и еще, еще раз – всасывал, сплевывал, а Наталья, словно одереvenев, стояла над ними и только растопыренные пальцы мелко-мелко дрожали.

Опомнилась она и заголосила, запричитала, когда оказались уже на берегу и Никифоров, запихнув ее в лодку, толкнул на сиденье, положил на колени Арину, а сам схватился за весла. И пока он греб, наискосок пересекая Быстругу, Наталья давилась рыданиями и убивалась, будто уже сидела у гроба.

Но, слава богу, обошлось.

В тот же день Арина пришла в себя, жаловалась тоненьким голоском, что у нее в глазах потолок крутится, что ее тошнит, и часто, запаленно дышала, широко разевая ротик.

Из иргитской больнички Никифоров доставил старого фельдшера, от которого сильно пахло табаком и луком, и тот успокоил:

– Благодарю, бабочка, Бога и капитана, что он лихо управился. Ребятишки чаще всего помирают от таких укусов, а эта красавица через пару дней скакать будет.

Так оно и вышло. Выпив микстуру, которую прописал фельдшер, Арина уснула и проснулась лишь на следующий день. Лежала, притихнув под одеялом, пока не услышала неясные голоса. Из любопытства высунулась наружу и увидела в широкую щель между незадернутыми занавесками, что возле порога сидит на табуретке Никифоров, а за столом, подпирая руками голову, сторбилась мать, и длинная прядка волос, выскочившая из-под платка, покачивается, словно дует на нее легкий ветерок. Но, приглядевшись, поняла – не ветерок это. Прядка потому покачивается, что мать плачет, как плакала она в последнее время – без слез, без голоса, лишь вздрагивая всем телом, словно били ее изнутри безжалостные толчки.

– Да не убивайся ты так, Наталья, плачем горю не поможешь, – говорил Никифоров, – да и Бога гневить не надо. С Аришкой-то обошлось. Сама слышала, что фельдшер сказал. Еще денька два-три и здоровенькой будет, ранка заживет, разве, что шрамик маленький останется, да это не беда. А что Василия касаемо, я твоего решенья не одобряю, глупое твое решенье, бабье. Сначала ты про дочь должна думать, а после уж про себя с Василием... Слышишь меня?

– Слышу я, все слышу, не оглохла еще, – отозвалась Наталья, и голос у нее был сухой, рвущийся, словно нутряные толчки не давали ему звучать ровно.

– Вот я и говорю – выкинь из головы дурную затею! Куда ты поедешь, да еще с дитем?! Сгинешь где-нибудь по дороге, и закопать будет некому! Это ж не в соседнюю деревню заехать!

– Спасибо тебе за все, Терентий Афанасьевич, в ноги кланяюсь, что не отвернулся от нас, как другие, что помогал-заботился – спасибо... Да только не отговаривай меня. Как решила, так решила, и переиначивать не буду.

– Ну, смотри, Наталья. Я в твою голову свой ум не вставлю. Смотри...

Никифоров поднялся с табуретки, потоптался еще возле порога, тиская в руках мятый картуз, будто хотел сказать что-то напоследок, но так и не сказал, толкнулся плечом в двери и вышел.

Арина мало, что понимала из этого короткого разговора, но чувствовала, что разговор этот не принесет радости, а только еще сильнее пригнет голову матери и она будет еще безутешней плакать без слез и без голоса.

И так ей стало жалко мать, одиноко и горько поникшую за столом, что Арина мигом скинула одеяло, соскочила со своего топчана и простучала босыми ногами по половикам, будто дробь просыпала, подскочила к столу, обняла мать за шею, крепко смыкая колечко худеньких рук, прижалась изо всех сил, жарко зашептала:

– Ты не плачь, маменька, не плачь! Я скоро большая стану и всякую работу за тебя сделаю! Вот увидишь, ты у меня, как сыр в масле будешь валяться!

– Заступница ты моя, – Наталья подхватила дочь, усадила ее себе на колени и удивилась, словно только сейчас увидела: – Выросла-то как! Скоро и на коленках не уместишь.

Арина прижималась еще крепче и ощущала, что нутряные толчки, которые били и мучили мать, стихают, и вот уже пришло им на смену ровное и спокойное дыхание. Так всегда было в последнее время, когда она

подбегала к матери и прижималась к ней, обещая, что скоро станет большой и все заботы-хлопоты возьмет в свои руки.

А их, забот и хлопот, с того памятного и страшного утра, когда появились в калитке полицейские чины, стало намного больше. Вот уже второй год пошел, как Наталье приходится колотиться одной, чтобы прокормить себя и дочь. Она нанималась стирать белье в людях, убиралась в чужих домах, теребила овечью шерсть для пимокатов – за все хваталась, чтобы заработать копейку, столь необходимую для пропитания. Хорошо еще, что Никифоров, помня старую дружбу с Василием, помогал, чем мог. Вот и за брусникой повез за Быстругу на своей лодке, хотел, как лучше сделать, а получилось... Еще слава богу, что так закончилось.

Наталья поправила повязку, которая закрывала ранку на щеке Арины, шепотом спросила:

– Не болит?

– Не-а, – с готовностью отозвалась дочь, и Наталья, обрадованная, что она и впрямь уже почти выздоровела, окончательно и твердо решила для себя – поеду.

И это решение, выношенное и бесповоротное, успокоило ее душу, которая пребывала в постоянной тревоге и горести с тех пор, когда выбралась она, в полном беспомоществе, из зала суда, где Василию и Филиппу объявили приговор – каторга за убийство и ограбление банковского служащего Астрова. Все, что она услышала на этом суде, временами напоминало ей страшный сон, казалось, что еще немного, вот-вот, чуть-чуть, и она проснется, несказанно обрадуется, оказавшись в привычном течении жизни, которое лишь на короткое время прервано было черным видением. Но нет, все происходило в яви – просто, обыденно и столь пугающе, что холодели руки, будто она без варежек вышла на мороз. Из долгих речей, вопросов, ответов, свидетельских показаний Алпатова и Естифеева, его работников складывалась такая вот картина: по взаимному сговору подсудимые Дыркин и Травкин ограбили, а затем и убили банковского служащего Астрова, при котором находилась крупная сумма денег, переданная под расписку этому Астрову купцом Естифеевым для погашения банковской ссуды.

Все перевернули, поставили с ног на голову, и сколько ни кричали в отчаянии подсудимые, что они невиновны, крики их судейских ушей не достигли, а казенные души не смягчили. И находится теперь Василий Дыркин в исправительном арестантском отделении, которое все называют арестантскими ротами, в далеком и неведомом месте, прозывающемся Усть-Каменогорск. А где Филипп находится, Наталья и теперь не знает.

Долгими, бессонными ночами, мучаясь от тоски и непоправимости случившегося, Наталья вынянчила свое решение – ехать в неведомый Усть-Каменогорск, к Василию, чтобы разделить с ним горькую судьбу. Что она там будет делать, как она там и где будет жить, сможет ли увидеть Василия и показать ему подросткую дочь – ничего этого Наталья даже не представляла. Но твердо верила: надо лишь добраться до Усть-Каменогорска, надо лишь там оказаться, увидеть Василия и тогда все устроится – к лучшему. Напрасно отговаривал ее Никифоров, напрасно называл ее затею глупой и бабьей – Наталья ничего подобного даже слышать не желала. И сейчас, видя, что Арина почти полностью выздоровела, она лишь окончательно укрепилась в своем решении.

Отправиться в неведомый Усть-Каменогорск помог Никифоров. Когда и где он успел свести знакомство с офицером воинской команды, которая следовала по тракту и остановилась в ирбитских казармах на три дня отдыха, про это он не рассказывал. Сказал лишь на прощание:

– А все-таки глупая ты баба, Наталья. Ладно... Аришку береги. Офицер этот, человек хороший, надежный, он не обидит. А там уж – как сложится...

Поклонился и ушел, не оглядываясь.

Офицера звали Шерстобитов, имел он чин капитана и звучное имя-отчество – Серапион Серапионович. В годах уже, помеченный сединой, но еще молодцеватый и бодрый, как крепкий гриб-боровик, он долго разглядывал Наталью и прижавшуюся к ней Арину, три их узла с барахлишком, лежавшие на земле, молчал, хмыкал, о чем-то думал. Затем стащил фуражку, почесал затылок короткими сильными пальцами и вздохнул:

– Как говорится, от сумы и от тюрьмы... Значит так, бабонька, беру я тебя с собой, вместе с девчонкой твоей. Если Бог даст, да войны не случится, доберемся до Усть-Каменогорска. Уговор такой – будешь помогать кашеварить, ну и бельишко состир-нуть, когда возможность такая выпадет. Если орлы мои шашни начнут строить, сразу мне скажи, я охотку быстро отобью. Ну, чего стоишь? Тащи свои пожитки на последнюю подводку, сейчас тронемся.

Двадцать три подводки, на которых следовала воинская команда, неторопливо выползли из Иргита и потянулись по тракту, взбивая летучую пыль. Тоскливо подавали свои голоса колокольцы, весело перекликались между собой солдаты, а крайние городские дома, по мере того, как все дальше отъезжала последняя телега, становились меньше, меньше, и вот уже исчезли бесследно, словно растаяли за синей линией горизонта.

Наталья поднялась в телеге, вытягивая шею, три раза перекрестилась и Арину тоже заставила перекреститься – как же с родным домом не попрощаться!

Ездовым на последней подводе оказался бойкий и разговорчивый солдат Привалихин, который велел называть себя, не чинясь, просто Федей и в шутку пригрозил, что если они песен с ним петь не будут, он их из телеги высадит, и тогда они пойдут пешком.

– Прости уж, Федя, да только мне не до песен, – ответила Наталья, – я, пожалуй, свои песни спела.

Веселый ездовой ответу ее нисколько не огорчился, и скоро запел сам, в одиночку. Голос у него был красивый, душевный, и песен Федя знал великое множество. Заканчивал одну и сразу же, без всякого передыха, заводил другую. Наталья, слушая его, не раз всплакнула, но голоса своего в поддержку так и не подала. Зато Арина уже на второй день сидела рядом с Федей и тонким голоском подтягивала ему, а он лишь присвистывал и дивился – как такая махонькая девчушка верно схватывает напев и запоминает все слова?!

– Потому, что я отцова дочь, а все отцовы дочери – красивые и умные, – растолковывала ему Арина и требовала, чтобы Федя запевал новую песню.

Вот так, с песнями, и ехали.

За всю длинную дорогу, а растянулась она на месяц с лишним, никто не обидел Наталью ни черным словом, ни похотливым намеком. Наоборот, заботились, подкладывая на привалах ей и Арине лучшие куски, подкашивали свежей травы на ночлег, чтобы мягче было спать, и напрочь отстранили от всякой хозяйственной работы – ни кашеварить, ни стиркой заниматься ей не позволяли. Понимали солдатики, что бабенке многое предстоит испытать там, куда она едет, и поэтому жалели – пусть сил набирается.

В Усть-Каменогорске команда сделала короткую остановку и потянулась дальше, а Наталья с Ариной остались возле крепости, положив на пыльную землю свои узлы. И пока последняя подвода, которой молча, без песен, правил Федя Привалихин, не скрылась из глаз, Наталья все кланялась и кланялась в пояс душевным солдатикам и командиру их, Серапиону Серапионовичу Шерстобитову.

Но долгий путь оказался напрасным: уже на следующий день сразило Наталью черное известие и разом вышибло из нее все силы. Сказали ей тюремные чины, что муж ее, Василий Дыркин, две недели назад помер своей смертью и похоронен, согласно заведенному порядку, на крепостном

кладбище. Сжалившись, помогли разыскать безымянный холмик, уже успевший провалиться после дождей, и торопливо, не оглядываясь, ушли, чтобы не слышать безутешного бабьего крика.

– Будь ты проклят! – кричала Наталья, вздымая раскосмаченную голову от влажной земли – Будь ты проклят, Естифеев, гадина ползучая! Чтоб ты в адском огне сгорел! Чтоб ты в слезах моих утонул!

Неистовым, жутким был этот крик, Арина даже уши закрыла ладошками – так он ее напугал. Присела на корточки и боялась смотреть на мать, боялась даже слово сказать или дотронуться до нее – страшно было. А Наталья продолжала кричать и кричала до тех пор, пока не охрипла и не обессилела. Ткнулась ничком на холмик и замерла.

И больше уже не поднялась. Не выдержало надорванное сердце жуткого поворота судьбы.

Арина плохо запомнила те дни. Они смешались и спутались в ее памяти словно распущенная пряжа, скомканная в один комок. Какие-то люди совали ей куски хлеба, куда-то приводили, затем отводили, вели между собой долгие разговоры, а она плакала, ничего не понимая и никого не слыша, и просилась, чтобы ее отпустили к матери. Так продолжалось до тех пор, пока она не проснулась посреди ночи и не увидела над столом в маленькой, почти крохотной избушке шаткое пламя сальной свечи. В круге желтого света от этого пламени разглядела бородатого старика и маленькую, согбенную старушку, говорившую тонким, плачущим голосом:

– Я бы, Платон Прохорыч, приютила сиротку, да только не в силу мне, спину разогнуть не могу, одна нога уж в могиле болтается. Помру, а ей заново прилепиться надо будет. К кому? А тебе, Платон Прохорыч, еще долго сносу не будет, старик ты крепкий, вот и взял бы девчоночку под свою руку. Хоть и житье у тебя без-домовное, зато ремесло кормит, без куска хлеба не останешься, да и девчоночке крошку отломишь – много ли ей надо? Зато со временем помощница тебе будет, обучишь-научишь, вот и подмога. Сотвори доброе дело, Платон Прохорыч...

Долго не отвечал старик. Сопел, тербил бороду, затем прихлопнул ладонями по столу и сказал:

– Ладно, согласный я.

Вот так и свела судьба Арину со старым солдатом Платоном Прохоровичем Огурцовым, который, отслужив верой и правдой долгие двадцать пять лет и не заимев по этой причине ни семьи, ни кола, ни двора, зарабатывал на жизнь веселым ремеслом раешника, развлекая публику или, как он говорил, скоморошествуя, по городам и весям, ярмаркам и торжкам, куда заносила его собственная беспокойная натура. Он и в дальний, на

краю света стоящий Усть-Каменогорск забрел по своей охоте, чтобы поглядеть на невиданные им раньше места. Теперь собирался в обратный путь, в далекую отсюда Россию, да вот сбила его с пути и задержала сердобольная старушка, у которой он снимал угол, и навязала довесок – девочку-сиротинку, оставшуюся без всякого догляда и призрения.

Утром он взял Арину за руку, вывел на низкое, в две ступени, крыльцо и показал корявым указательным пальцем в небо:

– Видишь, внученька, облачка какие по небушку плывут? Беленькие, мягкие, пуховые, как перинка. И на тех облачках маменька твоя сейчас обретается. Хорошо ей там, радостно, да одно тревожит, что ты невеселая. Вот будешь смеяться да улыбаться, и ей радостно станет. Хочешь, чтобы так было?

– Хочу, – кивнула Арина. Подняла глаза к небу, по которому быстро неслись легкие, перистые облака, и несмело улыбнулась.

В тот же день они вышли в дальний путь, каждый при своей поклаже. За плечами Платона Прохоровича громоздился деревянный разрисованный ящик, размером аршин на аршин, в одной руке он нес деревянную треногу, а в другой – котомку с небогатыми вещичками. Да и откуда могут быть богатые вещички у человека, живущего в дороге... Несла за плечами холщовый мешочек и Арина, а лежали в том мешочке полотенце, кусочек мыла и круглая краюха теплого, мягкого еще хлеба – все, чем одарила ее на прощание сердобольная старушка.

И началась бродячая жизнь, крепко-накрепко подружившая старого солдата и маленькую девчушку, которая оказалась на редкость смышленной и хлеб свой даром не ела, помогая Платону Прохоровичу в веселом его ремесле всем, чем могла.

А ремесло у раешника известное. Где ярмарка, где гулянье, где народу много собралось, там и он. Раздвинул деревянную треногу, водрузил на нее разрисованный ящик, называемый раек, и давай зазывать публику на представление. Подходи, кто любопытен, кто зазывным словам поверил и кто повеселиться в свое удовольствие всегда рад. Приник глазом к увеличительному стеклу, вделанному в ящик, и зри нарисованные картины, которые одна другой завлекательней. А Платон Прохорович, преобразившись, одетый в серый кафтан, обшитый желтой тесьмой, с пучками цветных тряпок на плечах, сыпет скороговоркой и кажется, что красноречие его никогда не иссякнет:

– Это, извольте смотреть, Москва – золотые маковки, Ивана Великого колокольня, да Сухарева башня, тыща аршин вышины, ежели не верите, то пошлите поверенного – пускай померит...

Меняется картина в ящике и новое пояснение следует:

– А это, извольте глядеть и разглядывать, Царьград. Из Царь-града выезжает сам султан турецкий со своими турками, с мурзами и пашами и собирается в Рассею воевать, и трубку табаку курит, и себе нос коптит, потому что у нас в Рассее, зимой бывают большие холода, а носу от того большая вреда, а копченый нос никогда не портится и на морозе не лопаётся...

Повернул ручку, на которую бумажная лента намотана, и другая картина в ящике явилась, и на нее, как и на всякую другую, есть у Платона Прохоровича иные слова:

А вот город Париж,
Как туда приедешь —
Тотчас угоришь!
Наша именитая знать
Ездит туда денежки мотать:
Туда-то едет с полным золота мешком,
А оттуда возвращается без сапог пешком...

И хохочет народ, и лезет едва ли в драку к райку, чтобы глянуть через увеличительное стекло на чудные картины неведомой жизни.

Месяца не прошло, и ахнул старый солдат от удивления: все его присказки к картинам Арина наизусть выучила и так их тараторила – от зубов отскакивало. А тут еще выяснилось, что песни она знает и поет, как птичка на зорьке – звонко и чисто. Стали они вдвоем давать представления, и публике это очень глянулось – в восторге была публика.

Арина быстро привыкла к новой жизни, никогда не жаловалась, не хныкала, и Платон Прохорович, изредка позволяя себе выпить винца, рассуждал:

– Старуха-то какая умная оказалась, не иначе ее Бог надоумил про тебя рассказать и посоветовать. Мне с тобой, внученька, веселее стало, не один, как перст, болтаюсь, а к живой душе прилепился. Будет, кому мою старость непутевую согреть. Вот добредем с тобой до Новых Посошков и осядем там. Станешь ты первой красавицей в деревне, и выдам я тебя замуж за самого красивого парня. Замуж-то пойдешь?

– Нет, не пойду, – отвечала Арина, – я еще маленькая, а маленьких замуж не берут. А Новые Посошки это далеко? Это город такой или ярмарка?

Глаза Платона Прохоровича затуманивались слезой, потому что Новые Посошки были далеко-далеко, как по расстоянию, так и по времени. Взяли его оттуда в солдаты еще молодым парнем, и никогда с тех пор в родной деревне он не бывал, и не знал даже – осталась ли там в живых хоть одна родная душа. Но теперь, когда свела его судьба с Ариной, к которой прикипел он всем сердцем, не отпускала его одна-единственная думка: добраться до деревни, разжиться какой-никакой избенкой и растить внучку.

Добирались они до Тульской губернии, где эти самые Новые Посошки находились, больше года. Долгим был тот путь, с зигзагами, потому как на ярмарки да на торжки заходили, и всякую копейку, какую удавалось выручить, Платон Прохорович бережно складывал в кожаный мешочек, который носил на груди на толстом ремешке. Пригодилась копейка в Новых Посошках, как раз хватило ее, чтобы купить старенькую избенку на выселках, которая смотрела на восток, на восход солнца, одним-единственным оконцем.

Никого в живых из своей родни Платон Прохорович не застал – все они давно уже перебрались на кладбище. Да и самого Платона Прохоровича узнали и вспомнили только древние старушки, потому что за годы его отсутствия народились новые люди.

По старой памяти время от времени Платон Прохорович ходил на ярмарку в уездный городишко, но публика к тому времени стала к райкам равнодушной и особой прибыли не случилось. А внученьку-то поить-кормить надо, а еще учить в церковноприходской школе, куда он определил ее, как только обосновались в Новых Посошках. И придумал тогда старый солдат себе новое Дело – стал из лозы стулья и качалки плести. Да такие они красивые и ловкие получались, что даже отдавать в чужие руки жалко было. А разбирали их охотно, даже из уезда господа приезжать стали и заказывать, а по прошествии времени появился в избенке посыльный от помещицы Паршуковой, чья усадьба в двенадцати верстах от деревни находилась, и строго наказал: явиться со всем своим товаром в означенный день, потому как госпожа помещица осмотреть его желает.

Товар показывать, взяв у соседа лошадь с телегой, поехали вместе с Ариной.

Приехали.

Остановились возле большого каменного дома с высокими белыми колоннами. Лето стояло жаркое, высокие окна в доме настежь были раскрытыми, и доносилась из тех окон чудная музыка, услышав которую, Арина замерла и стояла, не шелохнувшись, пока музыка не закончилась.

И будто ранили ее в тот день под самое сердце. Не могла она забыть

услышанной музыки, и поэтому совсем не слышала Платона Прохоровича, который радостно рассказывал ей, когда возвращались они в Новые Посошки, что помещице Паршуковой все его изделия очень понравились и купила она их все, какие привезли, одним разом, и что заказала она еще для себя особое кресло и даже показала картинку в книжке, где было такое кресло нарисовано...

Ничего не слышала Арина. Слышала только музыку, льющуюся из высоких окон помещичьего дома. И ей хотелось эту музыку спеть во весь голос, который так и рвался из груди.

Когда кресло было готово и когда повезли его Паршуковой, Арина набралась смелости и вошла вместе с Платоном Прохоровичем в помещичий дом и там, робея еще сильнее, попросила разрешения послушать музыку, которая и на этот раз звучала из высоких окон. Паршукова посмотрела на нее внимательным взглядом, усмехнулась и провела в комнату, где за пианино сидела молоденькая девушка, как оказалось, племянница хозяйки, и быстро, ловко перебирала клавиши.

И еще больше смелости проявилось у Арины. Попросила она разрешения бывать в помещичьем доме, когда возможно, и слушать музыку. Паршукова посмотрела еще внимательней и снова усмехнулась. Но разрешение такое – бывать по пятницам, после обеда, выдала.

У племянницы помещицы Паршуковой получила Арина первые уроки музыки, приводя всех в восхищение своим абсолютным слухом. От нее же, от племянницы, услышала она про театры, про оперетку и рассказы эти нарушили прежнюю жизнь, ничего теперь Арина не желала так страстно, кроме одного – оказаться в том мире, который казался сказочным, где звучит музыка и где красивые люди поют красивые песни.

Такой страстной была эта мечта, что уже ни о чем ином Арина думать не могла.

Но судьба, словно проверяя юную девушку на терпение, исполнить эту мечту не торопилась и снова оставила ее одну, как когда-то в далеком Усть-Каменогорске. Тихо, не потревожив своей любимой внучки даже стоном, умер Платон Прохорович. Лег с вечера спать старый солдат и не проснулся. Долго Арина не могла отойти от горя, а когда отошла, круто, одним разом, все поменяла. Избенку оставила, потому что покупать ее никто не желал, собрала в узелок вещички и явилась в помещичий дом с просьбой – довезти ее до города Москвы и показать то заветное место, где люди поют песни.

Паршукова и эту просьбу выполнила. На этот раз уже без усмешки, потому что полюбила слушать, как поет Арина. Даже записочку написала

знакомому человеку, который и отвел ее в оперетку господина Майского, где дозволили ей на первых порах выходить в костюме пастушки на сцену и петь в хоре. Денег Майский почти не платил, но содержал на всем готовом. Впрочем, о деньгах Арина тогда и не думала, потому что была счастлива. Позднее, оглядевшись, увидела она изнанку праздничной жизни, порою совсем неприглядную, но и это обстоятельство не нарушило ее страстного желания петь.

Но господин Майский разорился. Наделал долгов и сбежал из первопрестольной неизвестно куда, бросив свою оперетку на произвол судьбы; и разбрелись певцы и певицы, каждый сам по себе, устраивая свою дальнейшую судьбу. Арина, помыкавшись, смогла в конце концов устроиться в кафешантан, который содержал бывший официант господин Зеленин. Здесь она впервые и вышла на сцену, уже не в хоре, изумив подгулявшую публику своим голосом. Через месяц ее выступлений Зеленин повысил своей певице жалованье, а еще через месяц случился скандал, и Арина оказалась в цепком капкане хватких и загребущих рук бывшего официанта. Все дело в том, что кафешантан – место веселое, разгульное, предназначенное не только для слушания задушевных песен. Имелись в нем еще отдельные номера, и если располагал посетитель достаточным количеством ассигнаций, мог он пригласить в такой кабинет и девушек из кордебалета, и певицу, чтобы показали они ему свои таланты в отдельности.

Вот и пригласил Арину в такой кабинет один старый, сивый уже купец. Она еще и порог не перешагнула, а он налетел на нее и давай рвать платье, хватаясь за грудь длинными, сморщенными пальцами. Арина отбивалась, как могла, и надо же было так случиться, что под руку ей попала бутылка с шампанским, которая стояла на столике. Полная была бутылка, не раскупоренная и потому тяжелая. Купец только крикнул и рухнул на пол, пятная ковер дурной кровью.

Арина стремглав выскочила из кабинета.

Дальше началось такое, что и врагу не пожелаешь. Полиция нагрянула, купца, перевязав ему голову полотенцем, в больничку отправили, но тут появился запыхавшийся Зеленин и быстренько все уладил. Полиция, получив подношение, уехала, купец, протрезвевший в больничке, тоже получил отступного и пообещал говорить, что упал нечаянно. Сколько кому давал денег Зеленин – неизвестно, но сумма, которую он потребовал за свои траты с Арины, оказалась такой большущей, что у нее потемнело в глазах. При том жалованье, которое получала она в кафешантане, ей года полтора надо было петь, чтобы вернуть деньги Зеленину. Попыталась было

отказаться, но бывший официант строго предупредил, что делу можно быстренько дать обратный ход. И Арина согласилась, потому что другого выхода у нее не было.

– А ровно через месяц после этого скандала пришел в наш кафешантан господин Черногорин. Не пил, не ел, а все сидел и меня слушал. Еще через три дня заплатил все мои неустойки и увез из кафешантана с одним баульчиком и с двумя коробками – в них шляпки лежали. По дороге, пока на извозчике до гостиницы ехали, он мне лишь одно твердил: я из тебя такую певицу сделаю, услышат – ахнут, а Зеленин у тебя в ногах будет валяться и просить, чтобы вернулась... Золотые горы господин Черногорин обещал, пока ехали.

– Золотые горы, Арина Васильевна, выражение образное, так сказать, символическое. А что касается господина Зеленина... В ногах он, правда, не валялся, но кланялся весьма низко и даже униженно, когда просил вернуться – своими глазами видел. Но получил отказ! И какой отказ! В виде горстки медажков, которые в утешение выданы были ему на чай, как бывшему официанту!

Вот так они заговорили, по привычке, слегка ерничая, после длинного и тяжелого рассказа Арины, но говорили вздрагивающими голосами и отвернувшись друг от друга, потому что не хотели показывать своих слез. Так уж повелось у них, издавна, прятаться за оболочку легких слов, шумных скандалов – они словно боялись, что искренние чувства, которые они испытывали друг к другу, смогут поблекнуть, если о них сказать вслух. Правда, в этот раз Черногорин все-таки спросил, уже серьезно:

– Почему ты до сих пор скрывала? Я ведь всегда считал, что ты родилась в деревне и приехала оттуда. Как ее? Новые Посошки?

– Они самые – Посошки, да еще Новые. А почему молчала? Да случая не было, Яков Сергеевич. А теперь такой случай подоспел, вот и поведала. Для того поведала, чтобы ты понял, какая тоска-кручина меня съедает. Понял и помог. Мне твоя помощь нужна, Яков!

– Догадываюсь, Арина Васильевна, какой вы помощи от меня ждете, да только вы еще не знаете, что помощь вам иная понадобится. Имел я намерение душевную беседу с уважаемыми членами Ярмарочного комитета, в который, как я уже говорил, господин Естифеев входит. Изложили они мне интересную просьбу, которая больше походит на ультиматум. Передаю подробно...

Каково же было удивление Черногорина, когда Арина, услышав подробности о беседе в Ярмарочном комитете, пришла в полный восторг и

даже обняла его, поцеловав в щеку. А затем отскочила, крутнулась и плюхнулась на кресло, болтая босыми ногами, совсем, как маленькая и взбалмошная девочка, услышавшая радостное известие, которого она давно ожидала. Черногорин же, узнав причину ее веселья и услышав о вчерашней поездке в Круглое, о встрече с инженерами Свидерским и Багаевым, окончательно затосковал. Он прекрасно понимал, что такие серьезные игры весьма чреватые непредсказуемым результатом, можно и шею свернуть. Об этом и попытался сказать, но Арина лишь отмахнулась от него и потребовала, чтобы он сегодня же дал Гужееву согласие. Но и это требование тут же переиначила:

– Нет, нет, Яков, надо все по-другому сделать! Сейчас мы вместе пойдем в этот Ярмарочный комитет, прямо к господину Гужееву. И сыграем там такую репризу! Я придумала!

Черногорин обреченно, как висельник, всходящий на эшафот, поднял вверх голову и страдальчески уставился в потолок, словно увидел там, как медленно раскачивается толстая веревочная петля. Оставалось только, не подумав, сунуть в нее глупую голову.

Но устоять перед напором Арины не смог.

В скором времени они уже входили в приемную Гужеева. Навстречу им из-за стола выскочил расторопный секретарь, выслушал, скользнул беззвучно в кабинет своего начальника, быстро и также беззвучно из него выскользнул и широко распахнул дверь:

– Проходите.

Навстречу им, широко и радушно раскинув руки, спешил Гужеев. Его круглое, мясистое лицо с отвисшим двойным подбородком излучало абсолютную любезность. И голос звучал так сладко, будто городской голова только сейчас вкусно отобедал и бесконечно радуется всему, что его окружает, а особенно своим неожиданным посетителям:

– Арина Васильевна, я бесконечно польщен вашим визитом в наши казенные стены. Прошу вас усаживаться, где вам удобней, сейчас подадут чай, и я готов буду исполнить любое ваше желание.

– Да не беспокойтесь вы, ради бога, мы всего лишь на минутку заглянули, извините, что без приглашения, – Арина протянула руку для поцелуя и сверху, глядя в лысоватый затылок склонившегося перед ней Гужеева, ворковала нежным голосом, мило улыбаясь, – я все не могу забыть нашу чудную прогулку на «Кормильце», я вам за нее так признательна, и уже говорила Якову Сергеевичу, что мы обязательно должны вас поблагодарить публично и выразить наши самые нежные чувства...

– Не стоит благодарностей, Арина Васильевна, для нас оказать любую услугу вам – это своего рода удовольствие и праздник, – отвечал Гужеев, осторожно усаживая Арину за стол, на котором секретарь, как заправский официант, бесшумно расставлял чайные приборы.

За чаем Арина продолжала ворковать, восторгаясь ярмаркой, Иргитом, парходом «Кормилец» и вообще всем на свете. Черногорин снисходительно улыбался и помалкивал. Гужеев кивал лысоватой головой, изредка вклинивался в длинную речь Арины, заверял, что он сделает все возможное, чтобы известной певице было здесь уютно и радостно.

– Да, я чуть не забыла! – всплеснула ручками Арина и шлепнула в ладошки. – Мне Яков Сергеевич сказал, что нужно в узком кругу выступить. Я согласна! С удовольствием! Только у меня одна просьба имеется... Мы на прогулке с Яковом Сергеевичем были, возле горы... Как она называется? Пушистая! Там такое прелестное место есть! И, знаете, я подумала, даже представила себе – маленькая эстрада, костры, ночь... Это же так романтично будет! И ваш узкий круг. Как вы на это посмотрите?

– Положительно, Арина Васильевна, – заулыбался Гужеев, – до чего у вас голова светлая! Это надо же такое придумать!

– Вот и прекрасно! Будем считать, что мы обо всем договорились! Спасибо за угощение, за прием, простите, что так много времени у вас отняли. Яков Сергеевич, пойдём?

Поднялись из-за стола, вышли в приемную, где и попрощались. Но Черногорин, уже на выходе, неожиданно что-то вспомнил и вернулся. Взял за локоть Гужеева, завел его в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Протянул городскому голове маленький листок бумаги, перегнутой посередине, и коротко сказал:

– Сумма.

И сразу вышел, оставив Гужеева в глубоком раздумье, потому что, развернув листок и увидев сумму, написанную прописью, городской голова только присвистнул. И лишь после этого коротко выкрикнул, будто сплюнул:

– Мазурик!

А Черногорин, обозванный нехорошим словом, степенно вышагивал рядом с Ариной и выговаривал ей недовольным, скрипучим голосом:

– Когда-нибудь я пропаду с тобой, несравненная, обязательно пропаду. Гора, костры... Как бы нам на этих кострах крылышки не обжечь!

– Да не бойся ты, Яков, – беззаботно отмахивалась Арина, – не пропадем! И крылышки целыми останутся. Выпадет праздник на нашей улочке! Вот увидишь!

– Будем поглядеть, – Черногорин кривил губы и разводил перед собой руками, словно расчищал дорогу себе и Арине.

Глава третья

Место в торговом ряду, где стояла лавка Арсения Кондратьевича Алпатова, было веселым, бойким и – очень громким. А все потому, что напротив, под простым дощатым навесом, обосновались два разбитных парня в одинаковых алых рубахах и в одинаковых же маленьких зеленых шляпах, которые чудом держались на затылках, а из-под шляп буйно лезли на волю огненно-рыжие густые кудри. Похоже, что парни были братьями, у них даже голоса звучали одинаково, а глотки они имели не иначе, как луженые. Торговали парни игрушками, которые лежали навалом на прилавке, сколоченном из трех неструганых досок. Подходи, выбирай любую и покупай, если понравилась. А уж выбор до того богатый и диковинный, что и не знаешь, в какой край прилавка руку протянуть. Вот, к примеру, обезьянка из проволоки сплетенная и наряженная, будто ребяенок. К шее бечевка привязана, дергай за эту бечевку и любуйся, как обезьянка во все стороны руками-ногами дергает и будто пляшет. Со смеху помрешь! А парни кричат, голосят, наперебой:

Американская обезьянка Фока!
Танцует без отдыха и срока!
Пьяной не напивается,
С мужем не ругается!

А вот игрушечная пушка, которая стреляет пробкой, а вот бубны-побрякушки-хлопушки, а вот мячик резиновый, а вот куклы всяческие, раскрашенные и ряженые, а вот мышка, которая сама бегаёт, а вот лягушка, которая сама прыгает, а вот еще соловей с медведем... И для каждой игрушки у парней своя прибаутка имеется – если покупать не будешь, зато наслушаешься вволю. А если уж решил купить – божатся-клянутся парни, что игрушке век сносу не будет, что она внукам-правнукам еще пригодится, и заверяют:

Чтоб мне куском подавиться,
С колокольни убиться,
Удавиться, застрелиться,
На безносой бабе жениться!

– Тот и купец, который врать молодец. А, Поликарп Андреевич? Может, и нам с тобой поголосить, чтобы народ веселее в лавку валил? – предложил Алпатов, прищурив хитрые глаза.

Но Поликарп Андреевич отшутился:

– Спьяну, может, и поголосил бы. Тогда как деньги считать, если шары залиты? Просчитаешься...

Они посмеялись негромко и вернулись в лавку, каждый за свой прилавок. Здесь густой толчеи, как возле парней, не было, но и на торговлю грех жаловаться, особенно Поликарпу Андреевичу. Понемногу, не торопясь, но тянулись покупатели – не зеваки, а люди обстоятельные и хозяйственные, им не до забавных игрушек, они о будущей зиме думают, когда примется мороз уши откусывать. И уходили шапки, рукавицы и полушубки, пусть и не нарасхват, но к вечеру узлы пустели.

Поликарп Андреевич, чтобы удачу не спугнуть, тихонько, про себя, радовался.

День уже на вторую половину, вместе с солнцем, скатился. Скоро Марья Ивановна со старшими дочками подойдет, чтобы в лавке убраться и полы вымыть. Такой уговор имелся с Алпатовым – чтобы Гуляевы лавку в чистоте содержали. Только Поликарп Андреевич об этом подумал, а вот и его благоверная, легка на помине, на пороге нарисовалась. Встала разлюбезная, и принялась цепким глазом лавку обшаривать – все ли здесь ладно, нет ли урона, ненужной траты? Как в своей избе – хозяйкой поглядывает. Поликарп Андреевич нахмурился: не любил он, когда Марья Ивановна норов свой при чужих людях показывала. Сразу и пригнул ее, спросил сурово:

– Остальные-то где потерялись? Чего одна пришла?

– Да все мы тут, Поликарп Андреевич, за дверью девки стоят, краснобаев слушают. Пошуметь на них? – голос у Марьи Ивановны негромкий, почтительный, сразу видно, что со строгим мужем разговаривает.

Поликарп Андреевич подобрел:

– Пушай послушают... Мы с Арсением Кондратьичем тоже выходили, посмеялись...

– Пойду я воды наберу, а уж полы мыть – как вы скажете, – Марья Ивановна прилавок обогнула и толкнула низенькую дверь, которая вела в небольшой закуток, где хранился товар и разная хозяйственная мелочь. Загремела там железными ведрами, слышно стало, как из кадлушки воду

наливает.

А в лавку тем временем, придерживая островерхую войлочную шапку, чтобы не зацепиться ее макушкой за притолоку, входил Телебей Окумбаев и улыбался застенчиво, отчего на безбородом его лице с широким носом совсем терялись узкие глаза.

Вот так гость!

Поликарп Андреевич обе руки через прилавок протянул, чтобы поздороваться. Обрадовался, потому что тревожиться уже стал – приедет ли Телебей нынче на ярмарку, привезет ли овчину? Приехал, держит слово, степной житель. Такому гостю не грех и Уважение оказать. Помнил Поликарп Андреевич: три года назад не задалась у него торговля на зимней ярмарке, остался без всякого оборотного капитала, даже овчину, которую привез ему Телебей, купить не на что. Стал отказываться от товара. А Телебей лишь головой покачал и сказал:

– Плоха, Поликарпа, плоха думал. Шей больше, продашь больше, деньга отдашь. Бери!

Свалил кожи в ограде Алпатова и уехал, даже честного слова не потребовал. Конечно, Поликарп Андреевич деньги вернул, благодарил, кланяясь, говорил, что добра не забудет, а Телебей слушал его, улыбался, да изредка повторял любимое свое слово на русском:

– Хорош, хорош...

Он и теперь, как всегда, улыбался, радуясь встрече, и приговаривал:

– Хорош, Поликарпа, хорош...

Гостя провели в закуток, усадили на сундук, на самое удобное место, стали угощать пряниками, знали, что любит Телебей пряники фигурные, да чтобы они еще глазурью политы были. Возьмет такой пряник, положит его на ладонь и любитесь словно на золотую бляху, а затем по крошке отламывает и в рот кладет. При этом совсем узкие глаза еще и прижмуривает от удовольствия. Но больше одного пряника он никогда не съедал, сколько ни упрашивай, и с собой брал ровно по счету – двенадцать, на всю семью, в которой имелось кроме хозяина двенадцать душ.

Овчины в этот раз Телебей привез на ярмарку много и просил, чтобы Поликарп Андреевич с Алпатовым помогли ее продать. Может, знают они таких людей, которым овчина потребуется, пусть бы им подсказали. А он, Телебей, в долгу не останется. Поликарп Андреевич переглянулись с Алпатовым и дружно кивнули – поможем.

– Я и сам нынче больше куплю, – говорил Поликарп Андреевич, – собираюсь на зиму ученика себе взять, есть толковый паренек на примете, вдвоем мы пошире развернемся.

Ударили по рукам и решили, чтобы дело в долгий ящик не откладывать, прямо сейчас же ехать на конский базар, куда Телебей доставил кожи на трех верблюдах и где разбил свою юрту.

Вышли на улицу, стали усаживаться в передок длинной телеги, на которой приехал гость. Телегу, как сказал Телебей, он на время попросил у доброго человека, чтобы после удобней было овчину везти. И только уселись, как подскочили гуляевские девки, Елена с Клавдией, и наперебой стали упрашивать, чтобы тятя их взял с собой – любопытно же прокатиться и поглазеть по сторонам. Да и подружкам в Колыбельке будет что рассказать: и как на концерт ходили, певицу слушали, и как игрушками два рыжих парня торговали, и как к киргизам на конский базар ездили...

Поначалу Поликарп Андреевич головой сердито мотнул, мол, нечего вам делать на этом базаре, но дочери так просили, что он обмяк сердцем и недовольно буркнул:

– Полежайте. Ты, Марья, нас здесь не жди, сразу к Алпатовым с овчиной поедем.

Тронулись. Выбрались из ярмарочного многолюдья и суеты, телега запылила по улице, которая выводила на южную окраину Иргита, как раз к конскому базару. Там торговля была еще в полном разгаре. Шумел многоязыкий говор, властвовал крутой запах кож, бараньего сала, и над всем этим взлетало конское ржанье – звонкое, прерывистое. Волновались кони, когда придирчивые покупатели заглядывали им в зубы, щупали ноги, совали пальцы в ноздри, тыкали кулаками в селезенку. Одни лишь верблюды стояли или лежали неподвижно, и вид у них, как всегда, был презрительным ко всему окружающему.

Юрту свою Телебей разбил на бугорке, где росла веселенькая березка, только-только опушившаяся ярким, резным листом. Возле юрты лежали тюки с уложенными и увязанными овечьими шкурами. К этому бугорку и подъехали. Елена с Клавдией соскочили с телеги, защебетали, оглядываясь вокруг, – никогда такого зрелища видеть не доводилось. Телебей распахнул полог юрты, приглашая Поликарпа Андреевича войти внутрь, приговаривал:

– Харош, харош...

Наклонившись, Поликарп Андреевич вошел в прохладное нутро юрты, увидел посредине большой закопченный котел с остывшей под ним золой, округлые бока кибитки, обтянутые по теплоте времени не кошмой, а камышовыми щитами, сделал еще один шаг – и свет в глазах у него померк от сильного удара в затылок. Вонючий, тряпичный кляп влетел в рот, ловким тычком под колени вышибли у него из-под ног землю, уронили на

жесткую кошму и мгновенно закатали в нее, будто бревно. Успел он еще услышать короткий вскрик Телебея, различил, как визгнули в страхе Елена и Клавдия, и больше уже ни один звук не долетел до него, потому что Поликарп Андреевич провалился в беспмятство.

И не видел он, как молодые, проворные киргизы, числом пятеро, также быстро и сноровисто закатали в куски кошмы его дочерей и Телебея, уложили их на телегу, и спокойно, не торопясь, выехали на дорогу, покидая конский базар. И так они скоро и ловко все проделали, что никто не услышал в базарном шуме ни короткого вскрика, ни взвизгов.

Один из киргизов сидел в передке телеги, крепко и уверенно держал в руках вожжи, заседланный конь его, привязанный, шел рядом; остальные четверо, верхами, ехали следом, и лица их, продубленные стенными ветрами, были бесстрастны, как каменные изваяния.

Степь...

Степь необъятная – от восхода солнца и до ухода его за край земли.

Лежит она, еще не опаленная летней жарой словно юная девушка после сна. Вся – нежная, чистая, и грудь ее нетронута и непорочна, прикрытая, как легкой тканью, зеленеющими молодыми травами, чей одинаковый цвет нарушают лишь алые маки, развернувшие свои лепестки навстречу солнцу.

Но век цветущий недолог, как девичья красота. Поблекнут краски, испепеленные зноем, сделаются травы серыми и сухими, и взгляд будет скользить по бесконечной плоской равнине и не за что ему зацепиться.

Один лишь простор – прежний. Вечный простор. Он не зависит от времени года, от засухи или иной непогоды, он существует, как небо, как воздух, и нет для него никаких пределов.

Больше всего на свете любил Байсары бездонный простор. Но было это давно, в другой жизни, когда скакал он по степи без оглядки и без опаски, и конь под ним раскалывал первозданную тишину копытами, будто молодой ледок, – со звоном. И рассыпался тот звон во все стороны, улетаая в недостижимое глазу пространство.

Никогда уже больше не скакать Байсары так безоглядно, отпуская легкое сердце, как поводья коня, в ликующий восторг.

Нет нынче в душе восторга. Одна настороженность безраздельно владеет теперь Байсары, и пути его извилисты и хитры, как у одинокого степного волка, который шкурой ощущает постоянно идущую за ним погоню.

Вот и теперь вскинулся с мягкой подушки, распахнул халат, освобождая пояс, на котором висели у него всегда, даже когда он спал, кожаные ножны, а в них покоился острый нож на ловкой костяной ручке. Вскинулся и замер, чутко прислушиваясь – с внешней стороны юрты слышались шаги. Ближе, ближе, полог откинулся, и в юрту втолкнули человека со связанными руками и с тряпичным кляпом, торчащим во рту. Втолкнули так резко и сильно, что он не удержался ла ногах и, запнувшись, упал. Подтянул ноги, утвердился на коленях, хотел выпрямиться, чтобы встать в полный рост, но ему не позволили – подошва кожаного сапога опустилась на спину и пригнула.

Телебей вздергивал голову, словно занузванный конь, и ноздри у него

широко раздувались. Байсары шагнул к нему, выдернул тряпичный кляп, мокрый от слюны, и брезгливо откинул в сторону. Дал знак, и Телебея рывком подняли. Стояли они теперь, друг против друга, одного роста, широко расставив кривоватые ноги степняков. Смотрели в глаза друг другу, и светилось в их карих, схожих глазах лишь одно чувство – ненависть.

Давно она вспыхнула – десять весен минуло с того времени, когда большой род Телебея покинул после долгой зимы свои глиняные землянки и отправился, как только стаял снег, в свое ежегодное кочевье – вместе с детьми и женами, со скарбом, сложенным на верблюдов, с овечьими отарами и конскими табунами. Пути своего они в степи не искали, потому что путь был один, известный и ясный – еще прадеды по нему ходили, еще они вырыли колодцы на всем этом пути и заповедали своим наследникам: это ваш путь, и никому, кроме вас, он принадлежать не может.

Таков был степной закон.

Но отец Байсары этот закон нарушил. Загнал в засушливое лето свои овечьи отары на путь рода Телебея. И выбили голодные овцы траву до голой земли, а колодцы оказались вычерпанными и пустыми. В несколько недель род Телебея стал нищим и над дохлыми овцами, которые усеяли степь темными бугорками, роями кружились большие зеленые мухи.

Баранта – вот самый справедливый ответ тому, кто нарушил степной закон.

И по первому снегу налетел Телебей, тогда еще молодой и отчаянный, вместе со своими родичами на становище отца Байсары. Стычка вспыхнула безжалостная и страшная – никто никого не жалел. Железо ножей и свинец пуль досыта накупались в теплой крови степных жителей.

Байсары, а с ним еще с десятков родичей, уцелели и ушли в далекие китайские земли. Как они там жили, каким промыслом занимались – никто не знает. Одно лишь известно: вернулся Байсары два года назад в родную степь, и нет в сегодняшней день для него ни запретов, ни законов. Словно взбесившийся волк, он рвет и режет всех подряд, не было еще случая, чтобы кого-нибудь пощадил.

Телебей и не рассчитывал на пощаду.

Он хорошо понимал, что аркан на его шее захлестнулся намертво, и обреченно осознавал, что придется ему сейчас расстаться с жизнью, но даже мысли не допускал, чтобы последние, отпущенные ему мгновения, потратить на бесполезные просьбы о милости. Смотрел прямо, дерзко и взглядом своим, одним только взглядом, приводил Байсары в бешенство. Тот отшагнул назад и понял, что враг его по собственному желанию на колени не упадет, не закричит истошным воем, прося о пощаде.

Значит, слова не нужны. Бесполезны слова, когда и без них все ясно видно, как в солнечный день, когда солнце стоит в зените, и нет вокруг ничего, что могло бы спрятаться и затаиться.

Взмахнул рукой Байсары, словно воздух ножом рассек, и двое молодых парней с бесстрастными лицами, маячившие за спиной Телебея, как тени, исполнили безмолвный приказ – молча и быстро. Скоро Телебей стоял возле юрты, держал перед собой на весу руки, крепко связанные толстой веревкой, а другой конец этой веревки тянулся по земле, поднимался над ней и замыкался хитрым узлом на седле, под которым гарцевал в нетерпении сильный, красивый конь.

Одним махом, раскидывая полы халата, будто крылья, взлетел Байсары в седло и слегка натянул повод, сдерживая коня, который желал пуститься вскачь. Тихим, неторопливым шагом тронулись вперед. Телебей успевал за ходом коня, бежал, вытянув перед собой руки, и сапоги его приминали молодую траву, которая сразу же и выпрямлялась, даже следа на ней не оставалось ни от конских копыт, ни от человеческих ног. Но Байсары отпускал понемногу повод, конь переходил на рысь, а Телебей за этой рысью уже не мог угнаться. Бежал, задыхаясь, не успевая переставлять ноги, и вот запнулся, упал, попытался вскочить, но конь, почуяв волю от повода, перекинулся в безудержный галоп, и веревка натянулась, будто сухая жила на камусе – только и разницы, что не зазвенела. Но песню успела спеть – недолгую и страшную. Тело Телебея тащилось по жесткой и твердой земле, сшибая бугры, переворачивалось и крутилось, вырывая траву, и скоро уже не было Телебея и не было его тела – болтался, привязанный к веревке, кровоточащий кусок человеческого мяса, смешанный с рваными лоскутами одежды.

Байсары остановил коня, разгоряченного скачкой, разомкнул хитрый узел веревки, привязанной к седлу, бросил ее на землю и ускакал, даже не оглянувшись.

Все те же два молчаливых парня дожидались его возле юрты, и когда он бесшумно соскочил с седла на землю, один из них спросил:

– Что с русскими делать будем?

– С какими еще русскими? – не понял Байсары.

И тогда ему рассказали, что из города Телебей вернулся не один и первым в свою юрту пропустил русского мужика, как гостя, а возле юрты оставались еще две девки, и времени разбираться и узнавать, кто они такие и откуда взялись, не имелось ни капли. Вот и закатали в кошму всех – очень уж боялись, что увидит кто-нибудь и поднимет шум.

Молча выслушал Байсары эту новость, которая несколько его не

взволновала. Он даже поглядеть на русских не пожелал. Сказал лишь, чтобы мужика забили в колодки, а девок посадили в мазанку. Завтра, когда наступит новый день, он решит, как с ними поступить. А сегодня... Сегодня его глаза не хотят никого видеть, потому что того человека, которого он так желал увидеть перед собой, уже нет на этой весенней, теплой земле.

Он вошел в юрту, опустил за собой полог и плотно закрепил его, словно отгораживаясь от всего остального мира. Скинул халат, прилег на подушку, и когда закрыл глаза, краешки его губ чуть шевельнулись под редкими темными усами, изображая подобие улыбки. Да, он улыбался, потому что видел перед собой, как наяву, именно то, что ему хотелось видеть – большой кусок кровоточащего мяса. Вот и все, что осталось от ненавистного Телебея и все, что останется в скором времени от мужчин их рода, которые тоже превратятся в куски мяса.

Такую месть придумал Байсары.

У него было много времени, чтобы ее вскормить и вынянчить, как женщины вскармливают и вынянчивают своих детей. Он думал о ней, когда метался по степи вместе с уцелевшими родичами, которым, как и ему, чудом удалось выскочить из полыхающего становища, он вынашивал ее под сердцем, когда уходил в чужие земли, где родичи его не смогли выжить, а сам он скитался не один год, нанимаясь от безысходности на самые грязные работы; он представлял, как осуществит задуманное, когда встретились ему на пути такие же неприкаянные, и он подчинил их себе и вернулся с ними в родную степь, чтобы вершить суд – свой, собственный.

Ничего этого не знал и даже представить себе не мог Поликарп Андреевич, который перемогал тяжелую боль в ушибленной голове и пытался понять – в какую передрыгу угораздило его вляпаться? Тоскливо оглядывался, сидя на земле со связанными руками, и видел: большая низина, окруженная четырьмя невысокими холмами, на этой низине несколько юрт, в отдалении – глиняная сарайка, а все остальное пространство поделено ровно наполовину, и каждая из этих половин огорожена забором из длинных жердей. В одной половине содержались лошади, в другой – овцы. Забор, как сразу определил наметанным глазом Поликарп Андреевич, поставили недавно – затеей на жердях были совсем свежими, и на них под жарким солнцем плавилась смола. Густая трава под копытами коней и овец была еще не выбита, и вся животина, похоже, находилась на подножном корму. Большие деревянные колоды, расставленные вдоль забора, были полны воды, которую доставали из двух колодцев, вырытых на краю низины.

Со всем этим обширным хозяйством управлялись киргизы – все как на подбор еще молодые, жилистые и проворные. На поясах у них болтались сабли, у иных за спинами торчали винтовки или ружья. А на холмах, окружавших низину, маячили неотлучно вооруженные всадники. Большого ума не требовалось, чтобы догадаться: всадники охраняют низину от чужих глаз и от непрошенных гостей.

И зачем его сюда притащили, вместе с дочерями? И где Телебей? И самое главное – что дальше-то будет?

Поликарп Андреевич тяжело вздохнул, пошевелил головой, и она отозвалась тупой и тягучей болью – крепко, от души приложились к его затылку. Он даже глаза закрыл, надеясь, что боль утихомирится. А когда их снова открыл, откинулся, забыв про боль, – стояли перед ним два киргиза и держали в руках толстые доски. Поликарп Андреевич и глазом моргнуть не успел, как ноги его оказались в колодках. К одной толстой доске с вырезом посередине приложили другую доску с таким же вырезом, туго сбили две половинки и перевязали их сыромятными ремнями, так хитро упрятав узлы под досками, что дотянуться до них, а тем более развязать не было никакой возможности.

«Неужели Елену с Клавдией вот также закуют?!»

И сжалось тоскливо сердце, словно его стиснули в кулаке.

В этот вечер Арина пела в ресторане пассажа, где не было ни одного свободного столика.

Лился ослепительный электрический свет из всех ламп и люстр, сверкали серебряные ножи и вилки, фарфоровые тарелки и соусницы, подносы, бокалы, тонконогие фужеры; переливались всеми цветами радуги дамские украшения, искрилось и пузырилось щедро разливаемое шампанское. И весь этот общий, безудержно полыхающий свет отражался в высоких зеркалах, вспыхивал ответным блеском и слепил глаза.

Официанты, поблескивая набриолиненными волосами, скользили между столиками, легкие и быстрые, словно были невесомыми, старались изо всех сил не замешкаться, везде успеть вовремя и услужить каждому. Знали они, опытные, что в такие вечера люди с тощими кошельками сюда не заходят, и поэтому с полной уверенностью надеялись на хорошие чаевые, угадывая любое желание.

Легкий шум, сотканный из стеклянного звона, стука ножей и вилок, приглушенного говора и смеха, плыл в ресторанном зале, как невидимый дым.

Арина медленно, величаво выходила навстречу этому шуму, совсем не так, как в театре, где она возникала на сцене стремительно, словно летела. Арина точно угадывала особым чувством, которому всегда доверяла, что на ресторанных подмостках следует появляться по-царски, никак не меньше. Слишком много власти, денежной и человеческой, извели в своей жизни люди, сидящие сейчас за столиками, слишком они привыкли повелевать другими, слишком многие склонялись перед ними, выпрашивая милости, поэтому не удивишь их, если торопливо и услужливо появишься здесь, как еще одно развлечение в виде добавки к дорогому вину или изысканному блюду. Нет, надо появиться, как чуду, для них недостижимому, как затаенной мечте, которая никогда для них не осуществится.

Знала Арина, как надо обращаться с этой публикой. И каждый свой жест, каждый свой шаг наполняла такой величавостью, что казалось – не на подмостках она возвышается перед залом, а на высокой башне, и нужно поднять вверх голову, чтобы разглядеть эту женщину, явившуюся, будто из иного мира, куда простым смертным, даже сказочно богатым, входа никогда не будет.

Благинин и Сухов притулились в самом дальнем уголке, словно

спрятались, хорошо понимая, что должны находиться в тени, что здесь они со своими гитарами люди второстепенные и оказались лишь потому, что их позвала несравненная, удостоив чести ей служить. Они даже голов не поднимали, глядели вниз, на свои проворные пальцы, перебиравшие струны.

Вот уже и мелодия возникла, поплыла в зал, наполненный неясным шумом, а Арина продолжала безмолвно стоять, скрестив на груди руки, и взгляд ее был устремлен не в зал, где сидели и смотрели на нее люди, а выше и дальше, проникая, как сквозь стекло, через толстые стены пассажа, и уходя в бесконечную заснеженную даль, где звенит ямщицкий колокольчик и рассказывает такую простую историю любви и судьбы, что, казалось бы, недостойна она даже простого внимания... Но почему же тогда чаще и печальней стучит сердце, почему всколыхнулась память и властно вернула давно ушедшие дни, пусть и недолгие, но зато до краев налитые счастьем?

Кто знает? Кто даст верный ответ?

Да никто не знает! И никто не даст ответа!

Тайна сия великая есть... И заключалась она в волшебном голосе, который брал в плен всех, кто его слышал, завораживал, очаровывал и становился таким родным, словно сопровождал тебя всю жизнь – такую нескладную и так быстро пролетающую...

– Как она ловко, Семен Лександрыч! Слышь меня? Как она ловко берет, будто узду накидывает, прямо шелковым становлюсь, – вздыхал шепотом старинный компаньон Естифеева, матерый купчина Чуркин, всем хорошо известный не только своими огромными капиталами, но и пьяным буйством, которое начиналось по первости вполне невинно: он откусывал кусок фужера либо бокала и долго, в задумчивости, дробил на крепких широких зубах стеклянное крошево. Затем бил зеркала, посуду, подвернувшихся официантов, прибежавших на шум городских – всех подряд, кто имел несчастье оказаться в пределах досягаемости его тяжелых и больших кулаков. Наутро, протрезвевший и тихий, ругая себя последними словами, он, кряхтя, доставал большущий кожаный кошель, размером с хорошую лопату, обходил всех, кого накануне обидел, и покаянно, с поклоном, отдаривался деньгами, приговаривая всегда одно и то же: прости, братец, змей зеленый меня поборол намедни...

И вот сидел сейчас Чуркин, ни к винам, ни к водке не прикасаясь, тербил густую рыжую бороду, уже тронутую сединой, и глаза его, от неожиданно нахлынувших чувств, были трезвы, печальны и темны, как вода в глубоком омуте.

Семен Александрович изредка поглядывал на него, необычно притихшего, но нисколько не удивлялся. Он и сам чувствовал себя во власти завораживающего голоса певицы, который проникал в душу и будил давнее, казалось бы, уже напрочь забытое, умершее и зарытое накрепко, как тяжелой землей, прошедшим временем... Нет, не умерло – живо. Даже тяжесть исшорканного ремня почувствовал на своей шее, словно привычно вскинул лоток, на котором разложены были бусы и платки, цветные пуговицы и костяные гребенки, мотки с нитками и иголки для шитья – небогатый и мелкий товар предлагал молодой торговец, но иного у него не имелось.

Зато в избытке имелось желания разбогатеть. Даже во сне виделась ему иногда большая каменная лавка с широкими прилавками, а на прилавках – всякого товара с избытком. И вот она появилась – в яви. Правда, не такая большая, какой виделась во сне, но – каменная и с товаром. На этой лавке и женился Семен Естифеев, прихватив, как досадный довесок к ценному обретению, сухопарую девицу, которая была намного его старше летами, отличалась сонным нравом, на ходу дремала, а еще, видимо для полного набора, у нее были волосатые ноги – молодому Семену всегда казалось, что в постель он ложится с плохо ощипанной курицей.

А ведь радовала до этого первая, сладкая любовь – бойкая хохотунья, ладная телом и ненасытная в утехах. Но не имела она никакого приданого, кроме сарафанов да самой себя, и оставил ее Семен безутешно рыдать под старой ветлой, где они встречались, ушел, не оглядываясь, – если уж надумал, рви разом. Многое еще в своей жизни он рвал разом, когда дело касалось прибыли и богатства. Даже тайный грех душегубства на нем висел. А уж судьбы людям ломал, которые некстати подворачивались и путались под ногами, как хворост – только хруст стоял.

Разворошила певица своим голосом давно остывший пепел прошлого, и оказалось, что там, под серым слоем, еще угольки теплятся, мигают, вспыхивают и выхватывают, как из темноты, старую ветлу, девичье лицо с блестящими глазами, распущенную косу...

– В гробу, Семен Лександрыч, карманов нету. Слышь меня? – Чуркин повертел в руках серебряную вилку и осторожно, неслышно положил ее на крахмальную скатерть.

– Ты к чему это говоришь? – спросил Естифеев.

– К тому и говорю – нет карманов в домовине, – Чуркин вздохнул и замолчал, будто на ключ закрылся. Естифеев с расспросами вязаться к нему не стал, и просидели они, больше не сказав ни слова, до самого конца, до

тех пор, когда Арину, уже за полночь, наконец-то, едва-едва, отпустили с подмостков.

Все вскочили из-за столиков, хлопали, кричали, провожая ее, а она шла от подмостков к выходу, также степенно и величаво, медленно поворачивала голову направо и налево, и на ее бледном лице, бледном даже сквозь румяна, теплилась снисходительная, усталая улыбка.

«Как царица ходит, – подумал Естифеев, и неосознанная тревога ворохнулась, уколола, будто шилом: – норов-то так и прет, как бы нам не просчитаться с этой певуньей...»

Подумал, и все чувства, которые владели им, пока он слушал Арину, улетели бесследно, словно их выдуло внезапным порывом ветра. Одолели привычные думы, и одна из них, главная, о том, как спроворить дело с высоким железнодорожным чином, прибывающим из столицы. Как бы не промахнуться, как бы не оплошать, а так слепить, чтобы игрушка получилась – любо-дорого.

На этот раз они с Чуркиным в ресторане не задержались, попрощались торопливо и разъехались по домам, даже водочки, как раньше, не выпили. И всю дорогу, а затем и дома, пока не уснул, не покидало Естифеева чувство тревоги, возникшее у него, когда он увидел, совсем рядом, проходящую мимо Арину Буранову. «Чует мое сердце – бабенка с перцем, надо ухо остро держать».

С этой мыслью он и уснул.

Сама же Арина Буранова, о которой думал, засыпая, Естифеев, от души веселилась и целовала в носы, поочередно, то Сухова, то Благинина, выражая таким образом благодарность за их замечательный аккомпанемент. Ласточка суетилась возле стола, ахала и охала, не зная, куда и каким образом расставить кушанья. Их подали из ресторана прямо в номер в таком количестве, что хватило бы не только на труппу, а на целую роту голодных солдат.

– И, заметьте, Арина Васильевна, за сие иргитское изобилие с нас не взяли ни единой копейки. Все исключительно за счет заведения, так сказать, от щедрот благодарных слушателей, – Черногорин стоял у стола, на котором палец некуда было поставить, и ерничал по своему обыкновению, потому что пребывал в самом прекрасном расположении духа, – теперь я абсолютно спокоен за наше будущее и уверен, что на кусок хлеба мы всегда заработаем.

Арина в ответ смеялась и говорила, что Яков Сергеевич, дорогой ее антрепренер, от простого кусочка хлеба давно отвык и сухая корка ему в рот не ползет.

– Совершенно верно, Арина Васильевна! – Черногорин ловко ухватил за горлышко длинную бутылку с вином и вытащил пробку. – Как гласит народная мудрость, сухая крошка – или ложка? – впрочем, неважно, рот дерет. Поэтому предлагаю выпить за наше дальнейшее процветание и благополучие!

Дружно звякнули фужеры, все принялись закусывать, и вскоре за столом царило настоящее, неподдельное веселье, когда души всех были открыты настежь, как окна в номере.

– И вот представьте себе, дорогие мои и уважаемые, – отвалившись на спинку стула и закуривая папироску, начал свою очередную бухтину Благинин, прищуривая глаза от удовольствия и предвкушая, чем он сейчас порадует слушателей, – представьте себе – сидят два старовера, Иванов и Сидоров. Мужики крупные, серьезные, бороды до пупа – лишнего слова не промолвят. А сидят они после бани. Напарились, намылись, души благостны и тихи. Опрокинули по рюмочке, помолчали с полчаса, и Иванов говорит: хорошо! Капусткой похрустели, огурчика откусили, полотенчиками пот с лобиков вытерли и еще по одной ахнули. Снова закусили, помолчали с полчаса, и Сидоров вдруг заявляет: да не совсем хорошо... Снова выпили, капусткой-огурчиком похрустели, помолчали, Иванов интересуется: а чего нехорошо-то, брат Сидоров? Еще раз выпили, похрустели-помолчали, и Сидоров отвечает: да то нехорошо, что ты с моей бабой спишь. Плеснули еще из четверти по стаканам, выпили, капусткой-огурчиками зажевали, и Иванов жалуется: вам, Сидоровы, никогда не угодишь, ей – хорошо, тебе – плохо...

– И все-то у тебя, Благинин, одна похабень на языке, – сердито выговорила Ласточка, убирая от него пустую тарелку и заменяя ее новой – полной по самые края, – взял бы хоть один раз и рассказал бы что-нибудь душевное, для сердца приятное!

Благинин откинулся на спинку стула и, продолжая попыхивать папироской, подмигнул блестящим, хитрым глазом:

– Непременно расскажу, Ласточка, непременно, но в следующий раз, когда охватит меня сентиментальное настроение, а сегодня хочу поведать иную историю, весьма забавную, случившуюся только что. Вышел я из гостиницы перед выступлением, чтобы покурить на свежем воздухе, фланирую туда-сюда, и вдруг является передо мной странное видение: совсем маленький, крохотный человечек, вот такого роста, никак не больше, а на плече у него сидит ворона. Не чучело, а – живая, самая настоящая. И начинает этот человечек рассказывать мне, как его обокрали и украли эту самую ворону и оракул Мартына Задеки, по которому он гадал.

Долго повествовал, с подробностями, я их опускаю, а затем подает мне бумажный кулечек с орехами и просит, чтобы я передал его белой голубке, которая поет ангельским голосом. Я так понял, что гостинчик этот предназначен нашей многоуважаемой Арине Васильевне – такого презента и такого почитателя еще не встречал... И вот думаю...

– Где? – Арина вскочила со стула и нечаянно опрокинула, задев рукой, тарелку, которая с грохотом упала на пол и раскололась.

– Что – где? – не понял Благинин.

– Где этот кулечек? Почему молчал? Почему не сказал? – Арина почти кричала, и Благинин, растерявшийся от ее напора, тоже вскочил со стула, смущенно забормотал:

– Да я... Ну, чужак орешки принес... Я без внимания... А кулечек в номере у меня, сейчас доставлю... Я их даже не щелкал, у меня зубы плохие...

– Неси! Сюда неси! – Арина даже ногой топнула от нетерпения.

Благинин выметнулся за двери. Скоро вернулся, запыхавшись, и протянул Арине маленький кулечек, склеенный из зеленой бумаги, в который насыпаны были кедровые орешки. Арина нетерпеливо стала разворачивать его, дернула неосторожно, надорвала тонкую бумагу – орешки весело рассыпались по ковру. Она смотрела на них, даже не пытаясь собрать, и шептала, едва различимо, вздрагивающим голосом:

– Это же от Глаши гостинец... Яков, ты понимаешь – от Глаши... Значит, она помнит! Помнит! Почему же она не хочет меня признать? Почему?!

Черногорин перешагнул через ковер, чтобы не наступить на рассыпанные орешки, молча обнял Арину за плечи, и она уткнулась ему в грудь лицом, как маленькая девочка, которую очень сильно обидели, и она хочет, чтобы ее утешили и пожалели.

Всю ночь провела без сна Марья Ивановна, металась, не зная, что ей делать, порывалась куда-то бежать, но опять же не знала – куда? Голова шла кругом. Выскакивала из флигелька за ограду, всматривалась в темную и пустую улицу, ожидала, что вот появится сейчас Поликарп Андреевич с дочками, она их отругает, как следует, от всего сердитого сердца, все им, бестолковым, выскажет, а после успокоится и узнает – по какой причине и где они так долго ездили. И наладится жизнь, войдет в свою обычную колею, останется лишь в памяти досадное недоразумение, о котором можно будет после вспоминать с легким смешком.

Да только не получалось вот так, с благополучным исходом... Восток уже синел, занималось утро, по-летнему раннее, по улице поползли подводы, заспешили люди, направляясь к Ярмарочной площади, но сколько ни всматривалась Марья Ивановна целым своим глазом – напрасно. Нигде не замаячили Поликарп Иванович с Еленой и Клавдией. Чужие люди проходили мимо, и даже внимания не обращали на бабу, одиноко стоящую у тесовых ворот.

Откуда им было знать, какая причина вытолкнула ее в ранний час на улицу...

Марья Ивановна вернулась во флигелек, глянула на беззаботно разметавшуюся во сне младшенькую Дарью и едва сдержала себя, чтобы не завывать в полный голос. Сердцем почуяла она после бессонной ночи, что случилась беда – настоящая беда, без всякого подмеса. И еще поняла, что надеяться на благополучный исход и ждать его, сложив руки, совсем не следует.

Вышла из флигелька и напрямиком – к алпатовскому дому. Поднялась на высокое крыльцо и решительно постучала в двери. Ночью будить хозяев она не насмелилась, а сейчас, отчаявшись, готова была стучаться в любые двери.

На стук долго не отзывались. Наконец брякнул засов и вышагнул на крыльцо сам Алпатов, одетый в серую тройку, на голове красовался картуз, в руке держал маленький чемоданчик с блестящими застежками – не иначе, как собрался отправиться в дальнюю поездку. Увидев перед собой Марью Ивановну, нахмурился, спросил недовольным голосом:

– Чего в такую рань, петухи еще не пели?

Марья Ивановна, не сдвинувшись с места и не давая ходу Алпатову,

выложила свою беду и стала просить о помощи.

– Да чем же я тебе помогу, голубушка? – Алпатов переложил чемоданчик из одной руки в другую и поморщился, видно было, что не желает он слушать причитания и жалобы Марьи Ивановны, совсем не ко времени оказалась растрепанная и заплаканная бабенка у него на дороге. – Ступай в полицию, пусть они ищут.

– Да где ж та полиция! Я и знать не знаю!

– Спросишь у людей – подскажут. А мне – некогда, по делам тороплюсь.

– Арсений Кондратьич, какая муха тебя укусила? Будто чужой! – Марья Ивановна всплеснула руками и от удивления даже отступила чуть в сторону.

– Не помню я, чтоб мы роднились! Сказал – некогда! – Алпатов бочком проскользнул мимо, дробно состучал каблуками, спускаясь с крыльца, и нырнул в калитку, за которой, как успела увидеть Марья Ивановна, его уже дожидалась легкая коляска. Ездовой, сидевший на облучке, негромко свистнул, хлопнул вожжами, и коляска укатила неслышно, даже пыль за собой не подняла – будто ветром сдуло.

Марья Ивановна бессильно опустила на верхнюю ступеньку крыльца и завывала – в голос.

Откуда ей было знать, совсем потерявшей голову от горя, что Алпатов, от которого добивалась она помощи, сам не ведал, куда ему деваться. Если бы не жена, не дом и лавка, и какой-никакой, а крепкий достаток, плюнул бы он сейчас, выругался позаковыристей и уехал бы, хоть к черту на кулички – только бы избавиться от липкого страха, который мучил его с той самой минуты, как увидел Филиппа Травкина, словно явившегося из давней и, казалось бы, напрочь забытой жизни. Сколько лет прошло!

Не думал и не вспоминал Алпатов о давнем случае, когда пришлось ему выполнить приказ Естифеева и лжесвидетельствовать, что видел своими глазами, как Филипп Травкин и Василий Дыркин вместе выходили из ограды в ту ночь, когда зарезали банковского служащего Астрова. Соврав один раз, Алпатов и сам поверил, что именно так все и было, как он говорит. И на суде твердил, ни разу не сбившись, те же самые слова, какие сказал в памятное утро полицейским. Ему поверили.

А попробовал бы он иные слова сказать! Себе дороже. Был в то время мелкий лавочник Алпатов перед Естифеевым в долгах как в шелках. Поэтому и подчинялся без долгих разговоров и без лишних вопросов. Да и не потерпел бы Естифеев ни разговоров, ни вопросов, выложил бы долговые векселя разом и ступай, миленький, с холщовой сумкой через

плечо на Ярмарочную площадь – лазаря душевно петь и милостыню просить Христа ради.

Все исполнил Алпатов, что ему было приказано. А затем – позабыл.

Но прошлое явилось нежданно-негаданно и властно ухватило за глотку – душист.

Вчера вечером, когда возвращался Алпатов домой, встал у него на пути, словно из-под земли вылупился, Филипп Травкин, так неожиданно, что отшатнулся Арсений Кондратьевич и руками взмахнул, будто перед ним леший объявился. А Филипп с улыбочкой – где он только научился, сволочь этакая, улыбаться по-волчьему?! – говорит ему, что через два дня он поздно вечером ночевать придет и чтобы дверь ему открывали сразу же, не любит он долго ждать. Сообщив эту новость, Филипп продолжал стоять, заступив дорогу, и долго разглядывал Алпатова. Постоял, поразглядывал и вдруг ошарашил, словно тупой палкой под самый дых сунул: подъедет, сказал, завтра утром раненько коляска, садись в нее и езжай, куда тебя возница повезет, да не вздумай сбежать или не поехать – худо будет. Пригрозил пальцем, улыбнулся волчьей улыбкой и – был таков.

Алпатов побоялся послушаться. Положил в дорожный свой чемоданчик кое-какую еду, сунул на всякий случай бутылку водки и ехал теперь в коляске, глядя в широкую спину молчаливого возницы, пытаюсь понять – куда же его везут?

Коляска между тем миновала Сенную улицу, выскочила за город, и бойко покатила по дороге, направляясь вверх по Быструге, которая поблескивала с правой стороны, словно длинная голубая заплатка на яркой зелени. Возница время от времени подбадривал каурого жеребчика бичом, и нетрудно было догадаться, что он торопится, боясь опоздать. Зачем торопится, к кому? И на эти вопросы ответов даже не маячило. Алпатов сник духом, заерзал подошвами сапог по днищу коляски и даже подумал с отчаянностью – может, выпрыгнуть? И сам же себя остановил: выпрыгнуть можно, да только убежать не удастся, в один мах возница догонит и заломает, без всякого труда, вон у него какие ручищи – весла лопашные! Он перестал ерзать ногами, уселся удобней и обреченно вздохнул – будь, что будет, теперь не переиначить.

Дорога вильнула, скатилась к самому берегу Быструги, и лицо обдало свежим дыханием речной прохлады. Алпатов, словно умывшись, взбодрился, и мысли к нему стали приходиться совсем иные: а чего он, спрашивается, раньше смерти помирать собрался? Ведь еще ничего не известно, может быть, все и устроится... Но тут дорога резко поднялась на горку, открылся широкий вид поймы Быструги, и сердце Алпатова екнуло

от щемящего предчувствия. Он, кажется, начинал понимать, куда его везут.
И предчувствие не обмануло.

В пойме Быструги, там, где река делала крутой загиб по своему руслу, устроена была запань из толстых бревен, приколоченных Друг к другу железными скобами. Бревна тянулись едва ли не до середины реки, образуя рукав, в который загоняли плоты, сплавляемые с верховий. Запань здесь устроили, когда началось строительство станции Круглой, напрямую от берега до нее самый короткий путь. Плоты, заведенные в запань, разбирали, бревна вытаскивали из воды на берег, давали им время обсохнуть, а затем уже доставляли на строительство.

Вот сюда и подогнал коляску молчаливый возница, не сказавший за всю дорогу ни одного слова. Осадил жеребчика перед невысоким рубленым домиком, где была маленькая конторка, и жили сторожа, спрыгнул на землю, разминая ноги, и лишь после этого неторопливо обернулся в Алпатову:

– Слезай, приехали.

Алпатов, не шелохнувшись, продолжал сидеть в коляске, сжимая ручку чемоданчика с такой силой, что побелели пальцы. Теперь никаких сомнений быть не могло, разом появились ответы, и вопросы, которые мучили Алпатова всю дорогу, отвалились сами собой.

Из сторожки, весело переговариваясь, вышли два инженера в форменных кителях, в фуражках с кокардами и направились напрямик к коляске. «Вот уж точно – по мою душу! Господи, сохрани и оборони!» – Алпатов хотел даже перекреститься, но в последний момент придержал руку, потому что инженеры подошли совсем близко и громко поздоровались, в один голос:

– Добрый день, Арсений Кондратьевич!

У Алпатова горло пересохло, и он лишь молча кивнул, испуганно разглядывая стоявших перед ним инженеров. Молодые еще, на обличье разные: один – красавец, хоть на стенку прибивай вместо картины, другой – неказистый, рыжеватый, худенький, в очечках. Но было у них и общее – веселая, даже насмешливая уверенность, которая сквозила и в лицах, и в глазах.

– Давайте знакомиться, Арсений Кондратьевич! Разрешите представиться – инженер Свидерский, Леонид Максимович, – красавец по-военному щелкнул каблуками, пальцем показал на своего товарища и добавил: – А это инженер Багаев Леонтий Иванович. Будем у вас лес

принимать, плоты уже подходят, с минуты на минуту здесь будут. А мы пока бумаги посмотрим. Прошу.

И радушно, широким жестом показал на низкую дверь рубленого домика, словно приглашал войти в роскошные хоромы. Алпатов, медленно переставляя негнувшиеся ноги, пошел.

В маленькой, тесной комнатушке, где приходилось нагибать голову, чтобы не стукнуться о низкий дощатый потолок, стояли два грубо сколоченных стола, на которых лежали счета, толстые амбарные книги и стояли стаканы с в железных подстаканниках с недопитым чаем. В углу, на табуретке, по-царски красовался большущий медный самовар с медалями, давно не чищенный и темный. В небольшое оконце ломилось солнце, но стекла тоже давно не видели воды и тряпки, поэтому в комнатушке, особенно по углам, висел полумрак.

Вся эта неказистая обстановка Алпатову была знакома. Бывал, бывал он здесь, и не один раз. Лучше бы не бывать...

– Присаживайтесь, Арсений Кондратьевич, – Свидерский подвинул к столу свободную табуретку, сам уселся напротив, на длинную скамейку. Багаев остался стоять возле двери, прислонившись тощим плечом к косяку.

Алпатов прокашлялся, прочищая горло, сипло сказал:

– А бумаги у меня дома остались, я же не знал, я...

– Не беспокойтесь, – перебил его Багаев и сложил на груди тоненькие ручки, словно приготовился к долгому и тяготящему разговору, – бумаги у нас есть. Покажи, Леонид Максимович...

Свидерский с готовностью раскрыл одну из амбарных книг, вытащил бумаги и стал их медленно перелистывать, читая по слогам словно нерадивый ученик младших классов:

– Договор подряда по доставке леса строевого... Я, нижеподписавшийся, Алпатов Арсений Кондратьевич обязуюсь... В случае неисполнения...

– Как?! Как?! Как вам мои бумаги попали?! – Алпатов вскочил с табуретки, потянулся через стол рукой, но Свидерский ловко захлопнул амбарную книгу и закрыл бумаги.

– Да вы не удивляйтесь, Арсений Кондратьевич, нам их зайчик принес, – подал насмешливый голос от двери Багаев.

– Какой зайчик?! – не в силах уже больше сдерживаться, Алпатов закричал, брызжа слюной.

– Хороший зайчик, пушистый такой, серенький, – по-прежнему насмешливо продолжил Багаев, – а вот орать здесь совсем не нужно. Мы с вами вполне уважительно разговариваем. И рассчитываем на взаимную

вежливость.

– Да пошел ты к черту со своей вежливостью! – Алпатов схватил стакан с недопитым чаем, жадно выхлебал и со стуком поставил на стол. «Вот сволочь каторжная! – думал он в отчаянии, прекрасно понимая, что угодил в хитрый капкан, вырваться из которого почти невозможно, – и когда он только успел разнюхать, когда нашел?!»

В том, что бумаги у него своровал Филипп Травкин, он даже не сомневался. Как не сомневался и в том, что из-за своей пугливости, согласившись неизвестно куда ехать, и вот, приехавший, угодил в самую что ни на есть поганую историю.

Началась она позапрошлой весной, когда вызвал его к себе Естифеев и, долго не разговаривая, приказал: подавай заявку на торги на поставку леса для строительства на станции Круглой. Алпатов поначалу попытался отнекаться, я, мол, ни в каких торгах ничего не смыслю, я, мол, человек маленький, и дальше своей лавчонки не заглядываю... Но Естифеев и слушать его не стал, вытащил алпатовские долговые векселя, помахал ими перед носом и обратно убрал, в железный ящик, и на ключ тот ящик закрыл. Куда деваться?! Пришлось Алпатову на попятную двигаться.

Дело прокатилось как по маслу. Алпатов только в бумагах расписывался, которые за него другие, умные, люди сочиняли. Торги выиграл. Деньги получил. Правда, от денег тех лишь толика осталась, остальные Естифееву пришлось отдать. А дальше происходило все в следующем порядке: поехал он в верховья Быструги, закупил там лес, нанял артель плотогонов, и они сплавили вот до этого самого места на реке пять большущих плотов. В запань же загнали только один. Четыре оставшихся дальше поплыли, в Иргит, где и были по хорошей цене проданы, прямо на воде. Нужные бумаги, в которых прописано было, что все пять плотов переданы-получены и никакого неудовольствия у заказчика не имеется, быстро и без разговоров подмахнул распорядитель работ на станции Круглой, внушительный и важный господин по фамилии Гришунин.

На следующее лето повторилась та же самая история.

А вот нынче... Плотогоны согласно договоренности заранее присылали весточку с конным нарочным, извещая, в какой день они прибудут к запани. В этот раз весточки не подали. Значит, плоты еще не скоро подойдут? И где господин Гришунин? Почему вместо него объявились два этих инженера, у которых оказались на руках алпатовские бумаги, а они, бумаги, страшнее каталажки? Все в тех бумагах значит, а главное – что один и тот же лес два раза продан был. Знающему человеку

достаточно лишь одним глазом глянуть, чтобы это понять.

Алпатов вытер пот со лба, снова схватился за стакан, но стакан был пустой.

– Может, самоварчик наладить, Арсений Кондратьевич? – широко улыбаясь, предложил Свидерский.

– Обойдемся, – буркнул Алпатов.

– Тогда приступим к делу. Не возражаете? – Свидерский открыл амбарную книгу, отодвинулся подальше, на край стола, и весело объявил: – Итак, лист первый...

Добрых два часа продержали они Алпатова в домике и выжали его, как мокрую тряпку, – досуха. А под конец, угрожая, что доставят сейчас полицейского чина, если он будет упрямиться, заставили его на отдельном листе бумаге написать чистосердечное признание – что, когда и каким образом с плотами и с лесом происходило. И расписаться заставили, с одной и с другой стороны листа. Правда, твердо пообещали: если он будет их слушаться, бумагам этим обличительным ходу они не дадут. Но стоит ли такому обещанию верить? Прокукарекали, а там хоть не рассветай...

Вышел Алпатов из домика, словно из тюрьмы в тюрьму перешагнув, глянул вокруг – и яркий солнечный день не обрадовал его, показался мутным и серым.

Быструга в разливе текла широко и величаво. На ровной глади ее, не тронутой ветерком, было пустынно, даже заваливающей лодчонки не маячило.

– Плоты-то когда придут? – спросил Алпатов.

– Я так думаю, что еще не скоро, – ответил ему Багаев и деловито подоткнул пальцами очки на переносице, – но мы вас обязательно известим, когда они придут, и коляску вышлем, чтобы вы на дорогу не тратились.

– Говорили же – вот-вот подойдут! Обманули! Сволочи! Я до вас тоже доберусь, я вам руки поотшибаю! – Алпатов кричал и даже ногами топал, понимая, что его ловко провели, облапошили, как дурачка деревенского.

Но инженеры слушать его не стали. Кивнули разом на прощание, чуть приподняв за козырьки форменные фуражки, и ушли в домик.

– Хватит орать-то, глотка заболит. Поехали, – возница крепко ухватил его за локоть и довел до коляски.

Всю дорогу, до самого Иргита, сидел Алпатов словно пришибленный; забившись в угол коляски, прихлебывал прямо из горлышка теплую, противную водку и едва сдерживался, чтобы не заплакать – очень уж жалко ему было самого себя.

Конский табун и овечью отару уводили умело: там, где имелась возможность, гнали по бездорожью, чтобы оставалось меньше следов. Сбивая с толку, иногда поворачивали назад, бросались то в одну, то в другую сторону, словно заячьи петли накидывали.

А трава шла в буйный рост и в некоторых местах густой зеленый ковер успевал затягивать выбоины от конских и овечьих копыт.

– Как черт их водит! – ругался Николай Дуга, соскакивая то и дело с седла на землю, чтобы лучше разглядеть следы и не обмануться.

– Нечистая сила здесь абсолютно не присутствует, сотник, – серьезно, даже не улыбнувшись, возразил ему ротмистр Остальцов, – просто у Байсары в его шайке имеются отличные табунщики, настоящие степняки.

– А чего он так взъелся-то на своих же? – удивлялся Николай. – Режет, как баранов, без всякой жалости. Там, у колодцев, сами видели...

Картина, которая предстала возле колодцев, где киргизы, выбравшись из степи, всегда останавливались на отдых, чтобы после, уже напрямую, следовать до Иргита, была жуткой: глиняные сарайки до основания развалены, деревянные срубы колодцев разобраны, сами колодцы забиты всяческим мусором, какой подвернулся под руки, а главное – валялись неприбранные трупы убитых, над которыми гудели мухи. Все убитые были порублены, и страшные кровавые разрезы ссыхались под солнцем корявыми коростами, источая приторный, сладковатый запах мертвечины.

Николай даже плечами передернул, вспомнив эту картину. И снова спросил:

– По какой причине он так обозлился?

– Мечь – вот главная причина. Пока Байсары всем своим обидчикам не отомстит, он не успокоится. Если его сейчас не остановить, он еще много кровищи пустит. Я думаю, что...

Но тут ротмистр Остальцов замолчал и не договорил, что он думает – навстречу им, выскочив из-за невысокого холма, неслись на своих конях, в полный галоп, трое казаков, посланных недавно в дозор. Николай постоянно высылал такие дозоры, чтобы убедиться – путь впереди свободен. Казаки подскакали и доложили: похоже, что верст за пять-шесть отсюда у шайки становище.

На буграх – конные часовые. Ближе казаки приблизиться побоялись, чтобы себя не обнаружить.

– Вот, господин ротмистр, мы и доехали. Давайте вашу карту, подумать надо, – Николай остановил Соколка и спешился. Кивнул казакам, и те тоже оставили седла.

Склонились над картой, которую ротмистр Остальцов расстелил прямо на траве.

Становище Байсары, как нетрудно было догадаться, располагалось в небольшой низине, окруженной холмами, с которых хорошо просматривалась прилегающая местность.

– Перед буграми – поле голое, – докладывали казаки, – тишком подобраться никак не получится, конные с бугра сразу увидят.

Николай морщил лоб, глядя на карту, уточнял у казаков, где лесок, где болотце, и, наконец, выпрямился, стащил с головы фуражку и почесал затылок растопыренной пятерней, словно желал выковырнуть из густых черных волос верное решение.

– Предлагаю лихой атакой, сотник, со всех сторон сразу, только учтите – Байсары мне живым нужен, – ротмистр Остальцов, продолжая сидеть на корточках и придерживать рукой карту, чтобы ее не загибало ветерком, снизу вверх смотрел на Николая и во взгляде его, остром и жестком, ясно читался приказ, который обсуждению не подлежит.

«Вон как – лихой атакой! А что там за буграми – никто не видел. Полководец нашелся. Нет уж, хрен уж, господин ротмистр, я ребят наобум, дуриком, посылать не буду, и Голутвина не подведу, все должны целыми вернуться», – думал Николай быстро, четко и не допускал никаких сомнений. А вслух сказал, снова присев на корточки перед Остальцовым, совсем иное:

– Можно и лихой атакой, только я сначала сам должен глянуть, на месте.

И, не дожидаясь ответа от Остальцова, выпрямился стремительно, взлетел в седло, кивнул казакам и пустил Соколка рысью.

Скоро они были перед становищем. Спешили в густом ветельнике, по-пластунски выбрались на край поля, и Николай приник острыми глазами к окулярам бинокля. Казаки доложили точно, ни в чем не ошиблись. Вокруг становища, как чирьи, торчали бугры, на буграх маячили конные часовые, а поле перед буграми лежало ровное и голое, будто яичко.

Попробуй подступись.

Николай опустил бинокль, но тут же его снова вскинул, заметив на бугре непонятное шевеленье. Пригляделся и увидел: кто-то карабкается по склону, странно карабкается, словно нараскоряку. Всмотрелся еще внимательней и понял: человек был в деревянных колодах, набитых на обе

ноги. Судя по одежде и по лицу – русский. Вот он доковылял до часового, подал ему кожаный тузлук, и пока тот пил воду, человек повернулся и посмотрел в сторону ветельника, будто увидел прячущихся там казаков. Бинобль в руках Николая дрогнул – что за притча?! Ошибиться не мог, глаз у него острый и, значит, не обманался: смотрел в его сторону Поликарп Андреевич Гуляев, сосед по улице в Колыбельке. Как он здесь оказался? Ведь Клавдию с Еленой и матушку их он видел на ярмарке всего несколько дней назад?! Неужели и гуляевские девки здесь?!

Вот тебе и лихая атака...

Напившись, часовой бросил тузлук Поликарпу Андреевичу, тот поймать не успел, и долго мучился, пока не поднял его с земли. Поднял и заковылял обратно – в становище.

Николай дал знак казакам, и они бесшумно отползли в глубь ветельника, к своим коням. Молча, без лишнего звука вскочили в седла, разобрали поводья, отъехали еще дальше от становища, и Николай повернулся к ним:

– Что скажете, братцы?

Двое из них действительно были братьями – близнецы Морозовы, Иван и Корней. Отчаянные ухари, балагуры и первые в полку наездники – все призы на скачках забирали. Рыжеволосые, конопатые, невысокие, но крепкие, как комлевые чурочки, они преданно смотрели на своего сотника, однако сказать ничего не могли – не будешь же по второму разу одно и то же талдычить. Третий казак, Афанасьев, худой и жилистый, как туго сплетенная веревка, теребил в руках плетку, смотрел под ноги и неторопливо, будто сам с собой разговаривал, ронял скупые слова:

– Надо бы проползти туда... как смеркнется... а часового этого... того... да вот как только?., заметит, пока добираешься... они глазастые...

– Если бы да кабы, да во рту росли грибы, – передразнил его Николай, – говори сразу, если что придумал, не тяни кота за причинное место!

– Надо, чтобы часовой сам спустился к ветельнику!

– Подожди, подожди, – обрадовался Николай, – выманить его надо с бугра, выманить и скрутить, из вас кто-то на бугор поднялся вместо него и стоит. А двое – в становище. Как выманить? Постой-постой... Кони! Путы надеть и на краешек ельника выпустить. Неужели не захочет полюбопытствовать? Захочет! Быстрее, братцы! Времени у нас – в обрез!

Вернувшись к сотне, Николай сразу же отправил разъезды по три человека с таким расчетом, чтобы они кругом обложили становище, сотню подвинул вплотную ближе к ветельнику – если задуманный план сорвется, тогда и впрямь придется лихой атакой брать шайку. Ротмистр Остальцов

хотел что-то возразить, но Николай так быстро отдавал команды и отправлял казаков, что он не успел даже вставить слово. А когда все команды были исполнены, переиначивать их не имело смысла – солнце уже уходило за горизонт. Ротмистр лишь сухо напомнил, что общее командование возложено на него. Николай легко согласился:

– А как же, господин ротмистр, я помню. По вашему сигналу и начнем.

Через недолгое время, глянув на часы, обернулся и спросил:

– Разрешите начинать, господин ротмистр?

Что оставалось делать Остальцову? Он подтянул поводья своего коня и кивнул:

– Начинайте.

И – началось.

Два коня, передние ноги у которых были перехвачены путами, одолели неуклюжими скачками мелкий ветельник и оказались на краю поля. Остановились там и принялись щипать в свое удовольствие сочную молодую траву. Часовой на бугре сразу же их заметил, встревожился, оглядываясь, но кони паслись спокойно, люди не появлялись, и часовой, взяв на изготовку ружье, медленно стал спускаться с бугра. Подъехал к коням вплотную, еще раз настороженно огляделся – никого. Часовой закинул ружье за спину, легко соскочил с седла, шагнул и – в тот же миг веревочная петля захлестнула ему горло, земля выскочила из-под ног, а сам он, пробороздив на спине небольшое расстояние, оказался в ветельнике, где ему ослабили удавку на шее, но рот плотно запечатали тряпкой.

– Вот какой молодец, – приговаривал Афанасьев, стаскивая с киргиза халат и поднимая с земли его островерхую шапку, – не трепыхнулся. Полежи, родимый, отдохни от службы...

Он натянул на себя халат, нахлобучил островерхую шапку и, выйдя из ветельника, вскочил на коня часового. Скоро уже маячил на бугре, зорко поглядывая на становище. Вот он поднял руку, опустил ее, давая знак, что проход свободен, и братья Морозовы, торопливо перекрестившись, натянули на себя куски рядна, выкрашенного зеленой краской, приникли к земле и стали почти неразличимы на траве. Рядом пройдешь и не заметишь. Когда они проползали мимо Афанасьева, тот успел им негромко сказать:

– Там в яме, как только спуститесь, русский мужик сидит, только что запихали.

...Поликарп Андреевич целый день, с раннего утра, таскал из колодца воду, поил коней и овец, а под вечер еще и часовых на буграх. Кусок лепешки, который ему выдали в обед, пришлось отрабатывать сполна.

Измаялся – в край, думал, что уже и не доберется до своей ямы, в которой предстояло провести третью ночь. Но добрался, а спуститься помогли два крепких киргиза, которые его туда спихнули, будто мешок с тряпьем. Ладно, что руки-ноги целы, и шею не свернул. Поликарп Андреевич ничком прилег на голой земле, удобней устроил ноги в колодках и, полежав, понял, что уснуть ему, несмотря на усталость, в эту ночь вряд ли доведется. Кожа на ногах была содрана грубыми колодками, и острая боль, не давая покоя, рвала тело, пронизывая, казалось, до самых костей.

«Вот как она, судьбина, змея подколодная, кусаться умеет, – тянул невеселые думки Поликарп Андреевич, – не гадал, не чаял, ни о чем таком помыслить не мог, и – на тебе! Девчонок жалко, ох, как жалко кровинушек. И чего они, нехристи, с нами дальше делать станут?»

Больше всего мучила Поликарпа Андреевича неизвестность. Ныла она под сердцем сильнее, чем ноги, покалеченные деревянными колодками. В первую очередь он переживал за дочерей и был готов на все, даже на свою смерть, самую страшную, только бы их выручить. Но киргизы ни о чем не спрашивали, ничем не угрожали, только показывали знаками, что ему следует делать, и молчали при этом как каменные. Всего один раз удалось ему увидеть дочек, когда заводили их в глиняную сарайку – мелькнули два платка, и дверь захлопнулась... А еще одолевала Поликарпа Андреевича жалость к несчастному Телебею – своими глазами видел, как побежал тот за конем со связанными руками.

«Эх, Телебей, сердешный, за что они на тебя окрысились? Мужик ты тихий был, мухи не обидишь... А какую они беду моим дочкам придумают?» Поликарп Андреевич пошевелился, и боль в ногах полохнула с такой силой, что он сжался и замер, даже дыхание затаил. И услышал в этот момент шепот сверху:

– Эй, дядя, ты живой тут? Только не ори, тихо отвечай.

– Живой... – прошептал Поликарп Андреевич.

– Тогда поберегись, я спрыгну.

Зашуршала, осыпаясь, земля и в яму кто-то легко, упруго спрыгнул, проворно ощупал руками Поликарпа Андреевича и быстро спросил:

– В колодки забили?

В ответ Поликарп Андреевич лишь приглушенно простонал.

– погоди, дядя, не помирай, сейчас раскую, – голос был молодой, торопливый и деловитый, будто неизвестный человек делал привычную работу.

Скрипнул чуть слышно нож по кожаным лентам, перерезая хитрые узлы, колодки ослабли и развалились на четыре половины. Поликарп

Андреевич пошевелил освобожденными ногами, и ему показалось, что он стал невесомым – такая легкость образовалась в теле, хоть лети. Даже рвущая боль притихла.

– Ты кто? – спросил он, пытаясь разглядеть в темноте, которая сгустилась в яме, лицо неизвестного человека.

– Казаки мы, дядя. Шайке этой решку наводить будем. Ты как сюда попал?

– Казаки?! А я из Колыбельки! Там тоже казаки стоят! Миленький! Ты меня брось! Брось! У меня дочки здесь! Их выручай! Вот, наискосок, сарайка глиняная – они там! Выручай – все отдам! Кони у меня есть, изба – забирай, только выручи!

– А замуж дочек отдашь? Я здесь не один.

– Отдам! Вот те крест, отдам! Только пособи!

– А я, дядя, корявый, оспой в детстве хворал.

– Да хоть три раза корявый! За милу душу отдам! Помогите!

Сам себя не помнил Поликарп Андреевич, не слышал, что говорил и не понимал слов, которые говорит, одна-единственная мысль билась – девчонок спасти. И ради этого готов был обещать что угодно и клясться всем, что имел и чего в помине у него не было... Но жесткая ладонь на ощупь нашла его рот, крепко зажала, и властный шепот остановил:

– Не голоси, дядя, не на свадьбе еще. Тихонько говори – где эта сарайка?

Поликарп Андреевич, словно опамятававшись, оперся спиной в земляную стену и толково, четко ответил. А дальше рассказал, что насчитал он в шайке не меньше сорока или полсотни человек, что ночью все они, за исключением часовых, спят в юртах, а в белой юрте, которая стоит в середине, похоже, пребывает самый главный.

– Молодец, дядя, цены тебе нету. А про свадьбу не забудь, запомни – братья Морозовы мы. Морозовы! Я – Корней. Теперь сиди тут тихо и не высывайся. В первую голову дочек твоих попробуем вытащить. Иван, подай веревку.

Невидная в темноте опустилась веревка, снова чуть слышно прошуршала земля, и все стихло, словно в яму никто не спускался. Поликарп Андреевич даже руками пошарил в темноте вокруг себя – никого. Не приснилось ли? Да нет, ноги свободны, половинки колодок на дне ямы лежат.

– Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, сжался над Клавдией и Еленой, со мной, грешником, ладно, пускай пропаду, только бы они живые остались, – шептал Поликарп Андреевич свою самодельную

молитву, крестился истово, и все прислушивался – не донесется ли какого звука сверху? Но там, наверху, было тихо, и только комары, неизвестно когда успевшие набиться в яму, тонко звенели в самые уши.

В этой тишине, не нарушив ее даже громким дыханием, братья Морозовы бесшумно открыли запор, который был на дверях сарайки, вывели Клавдию с Еленой и, накрыв их своими кусками рядна, едва ли не волоком вытащили к бугру, где нес свою караульную службу Афанасьев. Проползли мимо него, добрались до ветельника, и только здесь выпрямились в полный рост. Сестры тряслись, как в лихорадке, даже зубы у них постукивали и, похоже, не понимали, куда их притащили на этот раз. Но, услышав голос Николая и признав его, заплакали, давая волю слезам, кинулись обнимать, бормотали наперебой, что тятя еще там остался, пытались что-то рассказать... Николай строго прищипнул на них, чтобы замолчали, приказал одному из казаков отвести их к повозкам, и, когда они ушли, потребовал доклада от братьев Морозовых. Выслушал и обрадовался. Теперь по крайней мере картина была ясной.

Короткая ночь истаивала. Восток начинал синеть, в редяющих сумерках четче проступали бугры, деревья, кони. Медлить было нельзя. Николай рассредоточил сотню таким образом, чтобы закрыть шайке все пути отхода, назначил время атаки и снова спросил разрешения у ротмистра Остальцова. Тот лишь усмехнулся, разгадав уловку сотника, и насмешливо сказал:

– Вы еще благословения у меня испросите. Командуйте.

Через бугор, на котором стоял Афанасьев, большая часть сотни ворвалась в лагерь, сразу же подрубили и обрушили юрты, а затем, распарывая шашками кошму, вытаскивали степных разбойников, вязали их здесь же, не давая опомниться. Но, как оказалось, не все были застигнуты врасплох. Непостижимым образом часть шайки сбилась на конях в тесную кучу, закрутила лихой хоровод и вдруг рванулась с диким криком и свистом прямо на жерди загона, где уже волновался конский табун. Жеребцы там вскидывали головы, тревожно ржали – вот-вот еще немного и сорвется с места неудержимая в своем порыве конская лава и все сметет на своем пути.

– Перехватывай! – заорал Николай, срывая голос, и пустил своего Соколка наперерез. Назад не оглядывался, только слышал за спиной слитный, тугой стук копыт.

Успели. Перехватили уже у самых жердей загона. Сшиблись. И здесь уже никакая команда не помогла бы, хоть закричись до посинения, здесь уже каждый действовал сам по себе, сам себе командир и начальник. Все

смешалось. Выстрелы, лязг, крики, ржанье. Степные разбойники не выдержали казачьего напора, кинулись в рассыпную. Но бежать им было некуда – везде натыкались на казаков, падали с седел, срезанные пулями, либо останавливали своих коней, бросали оружие на землю и медленно, понуро, подолгу вынимая ноги из стремян, слезали на землю. Их сгоняли на середину становища, заставляли присесть на корточки и никому не позволяли подняться.

Братья Морозовы, оба в крови, как недорезанные бараны, приволокли связанного Байсары. Он тоже был весь в крови, и лишь белки глаз бешено посверкивали на смуглом лице, перекошенном от боли и ненависти.

– Ну вот, теперь и моя служба начинается, – ротмистр Остальцов присел перед лежащим на земле Байсары и быстро, отрывисто заговорил на его родном языке.

Николай, когда услышал это, несказанно удивился.

Но еще больше удивиться ему предстояло в самое ближайшее время.

Когда вошло солнце, оно увидело в становище безрадостную картину, какая бывает на том месте, над которым пронеслась летучая и всегда неожиданная смерть.

На сваленной юрте рядом лежали убитые степные разбойники – семь человек. Оставшиеся в живых сидели на корточках в середине становища, и на их бесстрастных лицах не отражалось никаких чувств, кроме полной отрешенности от всего, что происходило вокруг, будто они отстранились от окружающего мира, и нет им никакого дела ни до своих судеб, ни до казаков, которые теперь здесь хозяйничали.

Раненный в плечо Афанасьев остался, в довесок, и без передних зубов, которые ему выхлестнули в горячке боя прикладом ружья; кровь густо стекала на подбородок, он вытирал ее вздрагивающей рукой, но она снова текла и окрашивала бороду темно-красными разводами. Афанасьев, шепелявя, матерился и вздергивал ногу, будто хотел до кого-то дотянуться и пнуть. В другой повозке лежали еще пятеро раненых казаков, но этих зацепило полегче, и они, перемотав сабельные порезы, поглядывали весело, даже радостно – как же, живые, а мясо нарастет.

Поликарп Андреевич, увидев своих дочерей в целости и сохранности, прослезился; прижимал их к себе, целовал, чего никогда не делал в обыденной жизни, и твердил, всхлипывая, лишь одно:

– Слава Богу! Слава Богу!

Едва-едва успокоился. Затем отыскал в одной из повозок лопату с коротким черенком и ушел в степь, по-стариковски шаркая по траве ногами – разом оставили его силы, и брел он, перемогая себя, будто спал на ходу. Изувеченное тело Телебея отыскал не сразу. Хитрый узел, намертво затянувшийся на руках, развязать не смог, и веревку пришлось перерубить лопатой. С долгими передышками Поликарп Андреевич выкопал яму, уложил в нее Телебея, головой на восток, и засыпал его черной степной землей. Нарезал травяного дерна, обложил им невысокий маленький холмик. Посидел возле этого холмика, давая отдых покалеченным ногам, и вернулся в становище, где снова обнял дочерей и уже не отходил от них ни на один шаг. Клавдия и Елена наперебой рассказывали ему, что казаками командует их сосед Николай Григорьевич, что они его уже видели, и он сказал, что скоро все отправятся в Иргит, но Поликарп Андреевич, различая голоса и слыша слова, смысла их не понимал, и даже не старался понять,

счастливым лишь одним – дочери живые, рядом стоят и разговаривают. Большого в эти минуты он и желать не хотел.

Сам Николай Дуга, о котором говорили отцу гуляевские девушки, быстро бегал по становищу, отдавая приказания: одна полусотня оставалась здесь, для охраны коней и овец, другая, вместе с ранеными и пленными, должна была выступить к Иргиту еще до обеда, с таким расчетом, чтобы за два дневных перехода добраться до города. Скоро, разделив свою сотню, он уже готов был скомандовать, чтобы трогались, но медлил из-за ротмистра Остальцова – тот все еще допрашивал Байсары. Николай подошел к ним, прислушался к незнакомой речи и едва удержался, чтобы не ахнуть от удивления, когда услышал, разборчиво и отчетливо, а самое главное – понятно, одно лишь слово, произнесенное Байсары, – Естифеев.

А этот-то здесь при каких делах?

Дождался, когда Остальцов закончил допрос, а Байсары отнесли на телегу, потому что, потеряв много крови, тот идти не мог, и лишь после этого спросил ротмистра:

– Естифеев-то каким боком замешан?

– Долго рассказывать, сотник. Именитый иргитский купец и здесь поспел. А вы, собственно, почему спрашиваете?

– Да так, интересуюсь. Моего сослуживца хотят на его падчерице обженить.

– На падчерице или на ее приданом? – усмехнулся ротмистр.

– Не знаю, – Николай пожал плечами.

– При случае передайте своему сослуживцу, чтобы он со свадьбой не торопился. Его будущему тестю скоро не до свадьбы будет.

– А какие между ними дела-то имелись? – Николай все-таки хотел до конца выяснить – почему при допросе прозвучала фамилия Естифеева.

Остальцов внимательно посмотрел на него и снова усмехнулся:

– Уж не тебя ли, сотник, обженить собираются на этой падчерице?

Умный все-таки был жандармский ротмистр, умный и проницательный. Николай смутился:

– Да нет, сослуживца моего, я же говорил...

– Ладно, ладно. Вижу, что врать еще не научились. История простая. Байсары, нападая на своих недругов, всегда отбирал у них живность, будь то кони, овцы, верблюды или все вместе. Но не будешь же со стадами по степи бегать. Куда их девать? Вот и нашли покупателя, господина Естифеева. Продавали ему за полцены – лишь бы с рук долой. Приказчики Естифеева придут сюда, деньги отдадут и дальше уже стадо гонят, как

свое. И продают где-нибудь, сразу оптом, живым весом, но уже по хорошей цене. Только и хлопот, что стадо с одного места на другое перегнать.

– Его что – в тюрьму теперь?

– Не знаю, это уже не мое дело. В тюрьму или на каторгу, или выкрутится – это я не решаю. Я свое дело сделаю, а там... там уже другие головы думают. Впрочем, заговорились мы с вами, сотник. На какую вашу команду я разрешение должен дать?

– Трогаться пора.

– Ну и трогайтесь, – легко согласился Остальцов.

Полусотня окружила повозки с ранеными, пленных и медленно выбралась из становища.

Поликарп Андреевич, измученный переживаниями и бессонной ночью, пристроился в передке телеги, свесил ноги и даже не заметил, как мгновенно уснул, будто его пластом земли придавило. Спал, слышал во сне, как смеются его дочери, и на душе было легко и сладко. Откуда он мог знать, крепко спящий, что дочери его смеются наяву, потому что по обеим сторонам телеги, не отставая, будто хищные коршуны, выглядывающие добычу, кружат братья Морозовы и ртов не закрывают. Балагурят, подмигивают, красуются в седлах, и хотя рожи у них перемотаны тряпками с кровяными разводами, глаза так и светятся удальством и ухарством. Дай им сейчас волю, мигом бы вынули гуляевских девушек из телеги, посадили бы их на своих коней и помчались бы куда глаза глядят. А Елена с Клавдией, похоже, и не сильно бы сопротивлялись. Ну разве что так, для порядка, чтобы братчики оцарапанные носы сильно не задирали...

Рядом с телегой, в которой лежал Байсары, ехал ротмистр Остальцов, и все поглядывал на степняка внимательными, умными глазами, словно хотел что-то еще от него услышать, словно забыл что-то спросить при допросе. Байсары взгляда не отводил, но русского офицера перед собой не видел; где-то там, вдали, перед его взором выстилалась бескрайняя степь, по которой ему, пожалуй, уже никогда не скакать, выпустив на полную волю повод своего коня. Не почувствовать вольного ветра, туго бьющего в лицо, не услышать, как гулко отдается стук конских копыт, достигая до неба. Жизнь треснула и разломилась словно первый ледок – на мелкие осколки, не собрать теперь и не сложить. И по сравнению с этой невозможностью скакать по степи и жить в степи уже не такой важной казалась месть, которая недавно еще сжигала его, и уж тем более неважными казались вопросы, которые задавал ему русский офицер и на которые он отвечал совершенно честно, ничего не утаивая – все меркло от одного осознания, что степь он больше не увидит своими тоскующими

глазами.

Степь...

Вольная, родная до последнего кустика горькой полыни, и отныне –
недосягаемая, как небо, до которого никогда не допрыгнуть.

Прощай, степь!

Байсары закрыл глаза, и одинокая слезинка весело скатилась по
смуглой щеке.

Ехал на ярмарку ухарь-купец...

– А если про купчиху спеть – как получится? Ехала на ярмарку ухарь-купчиха? Нет, несладко получается. Ласточка, подскажи, чтобы складно.

Ласточка не отозвалась, потому что была она сердита на Арину Васильевну, которая поднялась сегодня ни свет ни заря, не дав вволю выпасться, затеяла долгое переодевание, и вот теперь идут они через Ярмарочную площадь к торговым рядам, а зачем, спрашивается, идут – ума не приложишь! Если обновку или безделушку пожелали купить – прямой путь в пассаж, где от лавок и товаров в глазах рябит. Нет, в торговые ряды наладились. Вот радость будет: на жаре, в людской толчее ноги мучить. И по какой такой великой нужде? Непонятно!

Арина, не замечая сердитости Ласточки, весело улыбалась, сияла глазами и чувствовала себя в людском потоке словно рыба в текучей воде. Все ее радовало! И шум, и многоголосье, и шуточки-прибаутки зазывал и торговцев, и даже сам воздух цветастой, бойкой, разгульной ярмарки. В простеньком сарафанчике, в голубеньком платочке, была она похожа на деревенскую девицу, которую строгие родители вывезли на ярмарку, а она уваялась от них тайком и бродит теперь, любуясь на чудеса и радуясь свободе.

А ярмарка разливалась вокруг словно неудержимое половодье. Кроме торговцев осаждали праздную публику и разные мастера: парикмахеры, лудильщики, сапожники, точильщики, часовщики... И каждый кричал-зазывал на свой лад, приманивая к себе людей. Тут уж всего наслушаешься – и сладкого, и соленого. Возле одного веселого сапожника Арина даже задержалась. А тот, почуяв внимание, заливался соловьем, забыв, похоже, что ему об ином следует кричать. Да какие тут сапоги, каблуки и голенища, когда стоит перед тобой деревенская краля! И частил припевками молодой парень без удержу, подмигивая горячим глазом, а еще плечами передергивал словно от мороза:

Ой, страшен бес,
Когда с девушкой пойдешь в лес!
А моя милка спит в амбаре,
Ее блохи в плен забрали!

И много еще чего спел, красуясь перед Ариной. Опомнившись и вспомнив о работе, предложил каблук подбить.

– Да он целый у меня, – смеялась Арина, – а за песенки твои, на, держи!

И щедро отсыпала ему мелочи, удивив парня до полного изумления – за бойкий язык ему никогда еще не платили.

Пошли дальше. Толпа становилась все гуще, и Ласточка, оказавшись впереди, буровила ее своими телесами, будто воду деревянной кормой широкого карбаса. Арина, пристроившись за ее широкой спиной, шла, как по пустому проспекту, и не покидало ее ощущение небывалой свободы и легкости, словно душа, покинув тесную клетку, парила теперь сама по себе – вольно, без оглядки. Таким редким минутам Арина отдавалась полностью, без остатка, потому что хорошо знала: долгими они не будут и закончатся очень скоро. А вот пока не закончились – живи и радуйся!

Попалась в бесконечном торговом ряду лавка, а на ней – забавная вывеска: гусь в дамском платье. И надпись – «Всех нарядим!»

Как не зайти?!

Хозяин лавки, старенький уже, но бойкий и говорливый мужичок, встретил покупательниц еще у порога и расшаркался, как галантный кавалер, даже ручку попытался у Ласточки облобызать, но та шарахнулась в сторону и едва не снесла прилавок крутым бедром. Арина захохотала, а мужичок, нисколько не смутившись, уважительно оглядел Ласточку и заверил:

– И вас, красавица, нарядим! Найдем по размерчику!

– Уговорил, дядя, – решила Арина, – показывай нам пальто хорошее, нет, самое лучшее, какое есть, показывай! Наряжай мою подругу!

– Сей момент, – мужичок заскочил за прилавок и начал выкладывать пальто, одно за другим, приговаривая: – Вот что я, мадам, скажу. Торгаш, прежде всего, должен быть честен. Я вот двадцать лет торгую, а никто еще мне в глаза не плюнул, и всегда называют Гаврила Иванович. И вы, мадам, раз у меня купите, а во второй раз сами прибежите, да за товар мой не один раз спасибо скажете...

И, рассыпая свою скороговорку, мужичок успевал поглядывать на Ласточку, и еще, и еще одно пальто выкладывал на прилавок.

Ласточка растерялась:

– Да чего смеяться-то, Арина Васильевна! Не налезет на меня!

– Дозвольте мне сказать, милая мадам, я лучше знаю, я двадцать лет торгую. Нет такой особы на всей ярмарке, которую бы я нарядить не смог. Будьте любезны, приоденьте, – мужичок выскочил из-за прилавка и помог

Ласточке надеть пальто.

От удивления Арина даже смеяться перестала. Ласточка в новом пальто, которое сидело на ней, как влитое, разительно переменялась: стала еще величественней и... очень красивой. Глаз невозможно отвести. Вот какой мастер, старый лавочник Гаврила Иванович, на глазок прикинул, и получилось – тютельница в тютельница.

– Смотрите, что даем! Это пальто из всей ярмарки! Сшито, что слито! Ни боринки, ни морщинки! Строчка, так уж строчка! Материя, так уж материя! Будете носить, да нас благодарить, да поминать дядю Гаврилу, что дал пальто на диво! – И, выговаривая все эти слова быстрой скороговоркой, лавочник даже ногами перебирал от собственного удовольствия – очень уж нравилось ему пальто, в которое он нарядил дородную покупательницу. А упаковал его в хрустящую бумагу так ловко и бережно, как не всякая мамка своего ребенка пеленает.

Арина даже торговаться не стала, выложила деньги, еще и сверху к озвученной цене добавила. Они вышли с Ласточкой из лавки, а в спины им, из открытой двери, все говорил и говорил Гаврила Иванович:

– Наш товар не стыдно показать, не стыдно в ручки взять! Не стыдно в него нарядиться, не стыдно в нем по улице прокатиться...

– Господи, – недоуменно вздыхала Ласточка, – как ему не надоест по целым дням языком молотить! А за пальто спасибо, Арина Васильевна, оно и впрямь на мне так ловко сидит...

– Носи на здоровье, завлекай кавалеров, – смеялась Арина, снова пристраиваясь за широкую спину Ласточки.

– Ну, уж нет, хватит, все они кобели, и плевать я на них хотела! – сказала, как отрезала, и так зацепила могучим плечом зазевавшегося встречного господина, что тот отлетел в сторону и едва-едва удержался на ногах.

Пора было и в гостиницу возвращаться, но Арина об этом даже слышать не желала. Не хотелось ей уходить с ярмарки, которая звучала для нее, как одна песня, сотканная из многих-многих голосов и подголосков. Чудо! Прелесть! И летит-парит душа, как в детстве, когда можно остановиться в беге и попрыгать на одной ножке от переполняющего тебя восторга.

В конце концов они заблудились посреди бесконечных торговых рядов, едва выбрались из людского водоворота и прислонились к стене какой-то лавчонки, чтобы перевести дух. Ласточка прижимала к необъятной груди замотанное в бумагу пальто, вытирала широкой ладонью пот со лба и удивлялась:

– Ты глянь на их, идут и идут, идут и идут, а куда идут – сами не знают! Мы-то хоть пальто купили, а они – идут и идут!

И тут Арина услышала, что у другой стены лавчонки, где был вход, загудели тревожные голоса. Выглянула, увидела столпившихся людей и, конечно, не удержалась, подошла, привстала на цыпочки и увидела, что на маленьком порожке навзничь лежит женщина. Платок с головы у нее свалился, волосы с густой проседью раскосматились, а лицо покрывала такая бледность, будто его присыпали известкой. Ее тормозили за плечо, что-то спрашивали, но женщина не отвечала, только все дальше отводила запрокинутую голову и царапала растопыренными пальцами сухую землю.

– Да вы что, олухи! – Арина растолкала любопытных зевак, ухватила женщину, приподняла ее и усадила на порожек, прислонив спиной к двери лавки, на которой красовался большой замок. – Разойдись! Воздуху ей надо! Воды принесите! Сами догадаться не можете – рты раззявили!

И так она сердитые слова громко и уверенно выпалила, что ей невольно подчинились: от порожка лавки отошли подальше, перестали галдеть, а кто-то принес в деревянном ковшике холодной воды. Арина брызнула на лицо женщине, она вздрогнула, словно вырываясь из сна, разомкнула глаза, один из которых был покрыт бельмом, и тихо попросила:

– Глоточек дай, хлебнуть...

Арина напоила ее прямо из ковшика, и женщина пошевелилась, удобней усаживаясь на порожке, повела вокруг целым глазом:

– Никак на меня глядеть сбежались. Эка невидаль – баба с горя на землю пала... Ты мне, девонька, дай еще попить, я и встану...

Марья Ивановна, а это была именно она, уже третий день ходила в полицию, разузнав до нее дорогу, но там от нее отмахивались, говорили: тетка, не до тебя, тут ярмарка, такие дела творятся, а мужик твой загулял, не иначе, проспится и явится, а дочки твои с кавалерами умыкнулись... Вот и сегодня, получив от ворот поворот, шла она к лавке Алпатова, надеясь еще раз поговорить с Арсением Кондратьевичем и попросить помощи. Но лавка оказалась закрытой, и Марья Ивановна, обессилев от жары и от слез, свалилась на землю, будто ее внезапно палкой сшибли.

Теперь, придя в себя, попыталась подняться, но почувствовала, что ноги ее не держат – дрожат в коленях и подсекаются. Тогда крепче уперлась ладонями в порожек и попросила:

– Ты уж, девонька, сжался, до Сенной улицы меня доставь, я там расплачусь с тобой... Уж не бросай меня тут, на пороге, да на улице.

– Подожди, милая, подожди. Ласточка, давай поможем...

Ласточка в ответ только безропотно вздохнула, передала пальто Арине,

подхватила Марью Ивановну на руки и легко словно была она тряпичная понесла, выбираясь из торговых рядов.

Выбрались.

Сразу же нашли извозчика и скоро уже были на Сенной улице, возле дома Алпатова, где возле ворот, стояла, как столбик, зареванная до красных глаз, младшая из гуляевских дочек Дарья. Увидев мачеху, бросилась к коляске, закричала, но Марья Ивановна, понемногу приходя в себя, цыкнула на нее:

– Не базлай, я помирать не собираюсь. Помоги спуститься.

Спустилась на землю, придерживаясь одной рукой за коляску, а другой – за плечо Дарьи, попыталась поклониться:

– Спаси вас Христос, девоньки. А тебя, красавица, я только теперь признала. Ходили мы с дочками, песни твои слушали. Я прямо уревелась, всю мою жизнь спела – выпадало сладкое, да мало, а горького, хоть из чашки хлебай. Побудьте здесь, дочка сейчас деньги вынесет.

Дарья, тоже узнав, кто перед ней в коляске сидит, смотрела, не отрываясь, и даже рот чуть открыла – никак ей не верилось, что знаменитую певицу перед собой видит.

– Не надо денег, я не обеднею, – заторопилась Арина, – ты лучше скажи мне, милая, кто теперь в этом доме живет?

– Алпатов живет, Арсений Кондратьич, лавочник. А мы на постое у него, во флигельке, на ярмарку приехали. Да не в добрый час, видно, пожаловали, одна беда за другой. Пошли, Дарья, пошли, деньги надо отдать людям, чтобы не ждали. Дай вам Бог здоровья!

Арина смотрела на дом, на высокие тесовые ворота и видела, будто наяву, как стояли они с матерью перед этими воротами, но они так перед ними и не открылись. И еще вспомнила, что шел проливной дождь с ветром, и они так вымокли и замерзли, что она слышала, как у матери стучали зубы. Едва-едва сдержала себя Арина, чтобы не прыгнуть с коляски и не сделать того, что ей так сильно хотелось сделать: войти в этот дом и взглянуть в глаза хозяевам, может, и спросить, как им по ночам спится... Но вместо этого, пересилив себя, сделала совсем иное – толкнула в плечо извозчика и приказала, чтобы тот трогался.

– А деньги-то! – крикнула вслед Марья Ивановна, но Арина даже не обернулась. Смотрела перед собой сухими глазами, видела косой дождь и вздрагивала, как от озноба.

В гостиницу они вернулись только после полудня, не чуя, как сказала Ласточка, ни рук ни ног. Умылись и сели пить чай. Но тут появился Черногорин и все им нарушил. Вошел в номер и хмуρο объявил:

– Ставлю в известность, Арина Васильевна. В славный город Иргит завтра прибывает собственной персоной высокий железнодорожный чин. И желает он слышать вас завтрашним вечером на природе, при свете костров, о чем известил меня сам городской голова Гужеев.

Арина отодвинула чашку с недопитым чаем, быстро взглянула на него – что-то необычное было в поведении Черногорина. Но понять не могла – что? Черногорин на ее немой вопрос сам ответил: запнулся за ковер блестящим своим башмаком и плашмя завалился в кресло. Долго ерзал, пытаясь перевернуться и сесть, но осуществить это желание смог только с помощью Ласточки. И лишь, когда она привалила его на спинку кресла, стало ясно, что Яков Сергеевич сегодня пьян до полного изумления, хотя сам он придерживался совершенно иного мнения:

– Не подумай, несравненная, что я без меры нахлебался, – поднял руку, оттопырил длинный указательный палец, ткнул им, показывая куда-то в окно, и продолжил: – Я совершенно ясно и четко мыслю. И главная моя мысль следующая – я глупый и безвольный человек, который пошел на поводу у вздорной и еще более глупой, чем я, особы. Слышишь меня?

– Слышит она, слышит, Яков Сергеевич, – бормотала Ласточка, перетаскивая Черногорина с кресла на диван и снимая с него башмаки, – и где вас угораздило, первый раз таким вижу! Спи, Яков Сергеевич, спи, родненький, завтра все доскажешь.

Но Черногорин, перед тем, как заснуть, успел еще раз повторить:

– Глупый и безвольный...

Вот денек выдался. До вечера еще долго-долго, а столько уже событий случилось – хоть в кошелку их складывай. Арина смотрела на спящего Черногорина, и никак не могла понять – какая муха его укусила?

Укусила Якова Сергеевича не муха, укусил его Семен Александрович Естифеев – зло укусил, внезапно словно змея подколотная. И яд успел выпустить, от которого, похоже, антрепренер Черногорин впал в настоящую душевную сумятицу, каковую и попытался вылечить старым, как подлунный мир, способом.

А началось все рано утром, когда от Гужеева прибыл посыльный и сообщил, что господина Черногорина просят пожаловать в Ярмарочный комитет по срочному делу и желательно в самое ближайшее время, до полудня. Ну что же, если так уважительно просят, нет причины отказываться, а дорога от «Коммерческой» до пассажа не очень длинная. Но паузу надо было выдержать – для собственного уважения. Поэтому в приемной Гужеева появился Яков Сергеевич ровно через три часа после того, как в номер к нему постучался посыльный.

Секретарь, увидев в приемной званого посетителя, сразу же вскочил и, не говоря ни слова, распахнул дверь в кабинет начальника. Нетрудно было догадаться, что Черногорина очень ждали. Он вошел в кабинет, а навстречу ему уже поспешал Гужеев, широко и радушно раскинув руки, словно собирался заключить в объятия. Приговаривал:

– Замечательно, Яков Сергеевич, замечательно! Чрезвычайно благодарен, что вы поторопились. Дело наше промедления не терпит. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь... Сейчас чай подадут. И сразу, чтобы не томить, сообщаю новость: наш высокий гость прибыл на станцию Круглая, я с ним вчера уже встречался и сообщил, что уважаемая певица Арина Буранова завтрашним вечером будет петь на природе для очень узкого круга лиц, в первую очередь, конечно, для нашего дорогого гостя. Вот по этому поводу я вас, простите великодушно, и призвал в срочном порядке. Вы угощайтесь, угощайтесь...

Черногорин прихлебывал чай, закусывал свежими, еще теплыми, булочками, слушал Гужеева, согласно кивал головой, а сам ждал: когда городской голова приступит к расчету и каким образом? Всю названную сумму отдаст или только задаток вручит? Хотя, нет, слишком опытен, а, значит, и осторожен. Скорее всего, будет настаивать, что деньги выплатит только после концерта или начнет торговаться, чтобы уменьшить сумму. Но Черногорин твердо решил: если уж рисковать, так рисковать, и на уступки идти никак нельзя, нужно стоять на своем – деньги на руки, сразу и

полностью.

Гужеев, однако, не торопился заводить речь о деньгах, а пространно и многословно рассказывал, что уже сегодня отправлены плотники к горе Пушистой, чтобы сделать там подмости, а также столы и навесы на тот случай, если погода вдруг испортится и пойдет дождь. Заверял, что плотники – самые лучшие в Иргите, что плата им обещана хорошая, и что сделают они все в наилучшем виде, и что Арина Васильевна будет очень довольна...

И замолчал внезапно, прервав свое многословие, когда в кабинет вошел по-хозяйски Семен Александрович Естифеев. Сурово глянул острыми глазками и, не поздоровавшись, даже головой не кивнув, заговорил, как всегда, коротко и резко, словно дрова колот: с одного замаха и чурка – напополам!

– Ты, любезный балаганщик, никак с глузду съехал – такую цену заломил? Задница от сладкого не слипнется? Сбрасывай половину! Мы деньгами сорить не приучены.

«Вот вы как, любезные! – воскликнул про себя Черногорин, – и рыбку желательно скушать и косточкой не подавиться! Ну, уж нет, не на того напоролись!» А вслух, с милой улыбкой, удивленно произнес:

– Я, конечно, извиняюсь, господа, да только в прошлый раз сказано мне было, что хватит нам на хлеб с маслом... Вы, что, имели в виду булку хлеба и пол фунта масла?! Тогда ставлю в известность, что такое количество ценных продуктов я вам сам куплю и с мальчишкой пришлю. Куда прислать?

Черногорин одним глотком допил чай, аккуратно и бережно поставил чашку на блюдечко, поднялся из-за стола.

– Ну, погодите, погодите, Яков Сергеевич, – заторопился Гужеев, – что уж вы так, с места в карьер. Мы, по нашему купеческому обычаю, поторговаться сначала должны – один уступит, другой уступит, глядишь, и договорились полюбовно...

– А вот если не договорились... – Естифеев шагнул ближе, уперся сжатыми кулаками в столешницу, – у нас народишко на ярмарке всякий обретается, пестрый... Иной за копейку отца родного зарежет, а уж чужого... И спрячется ведь, убивец, в таком-то муравейнике, никакая полиция его разыскать не может...

Это была уже угроза – явная и неприкрытая. Исходи она от другого человека, не Естифеева, можно было бы в ней и усомниться, но в данном случае сомневаться не следовало. Черногорин сразу это почувствовал и испугался. В первую очередь, за Арину. При ее-то взбалмошном характере

и детском, до глупости, отсутствии чувства опасности... Да, крепко увязли, по самые уши!

Но вида он не показывал и продолжал мило улыбаться:

– Что я вам могу на это ответить, уважаемый Семен Александрович? Как говорится, в цене не сошлись, взяли, да и разошлись. А что касается уголовного элемента, о котором вы упомянуть изволили, так это очень верно заметили. Пожалуй, я прямо отсюда в полицию наведаюсь, да попрошу, чтобы известной певице охрану выделили. А вообще, господа, должен вам сказать следующее: провинция, она и есть провинция, никакого блеска не наблюдается. Вот послушайте, как благородные люди в подобных случаях выражаться изволят...

Не торопясь, нарочито замедленными движениями, он распахнул сюртук, из внутреннего кармана достал узкий, яркий конверт, вытащил из него хрустящий лист бумаги и прочитал, придав своему голосу необыкновенную почтительность:

– Многоуважаемая Арина Васильевна! Имею честь пригласить Вас на званый ужин, который состоится в моем доме 15 апреля сего года. Все расходы я беру на себя и буду счастлив, как всегда, видеть и слышать Вас. Преданный и давний поклонник Вашего таланта генерал-майор, граф Желехов.

Черногорин многозначительно вздохнул и прежними замедленными движениями сложил лист по сгибам, затем вложил его в конверт, а конверт опустил в карман и запахнул полу сюртука. Проделав все это, он поклонился и вышел из гужеевского кабинета, не оглядываясь.

Письмо, собираясь в Ярмарочный кабинет, он захватил с собой специально, на всякий случай, и вот – пригодилось. Будто жирная точка в разговоре поставлена. Пусть теперь Гужеев с Естифеевым между собой дебатируют...

Расчет Черногорина оказался верным. Едва он дошел до гостиницы, как следом за ним пожаловал посыльный от Гужеева и доставил деньги – всю сумму. Вежливо, но настойчиво попросил написать расписку и, забрав ее, удалился из номера почему-то на цыпочках, словно боялся кого-то разбудить. Черногорин закрыл за ним дверь, подошел к столу, на котором лежали деньги, и вот тут ему стало не по себе, а если сказать совсем честно – стало страшно. Расписка отдана, деньги получены, и теперь предстоит их отрабатывать. А если этот чин и впрямь потащит Арину в постель?! И вся ее затея с какими-то бумагами и неизвестными инженерами – псу под хвост?! А он, Черногорин, будет лишь беспомощно хлопать глазами и чувствовать себя последним подлецом. Впрочем, таковым он себя

чувствовал уже сейчас, глядя на деньги, лежавшие на столе. Ругался последними словами, вспоминал угрозу Естифеева, понимал, что она вполне реальна, и снова ругался – теперь уже на Арину, которая втянула его в кислую историю...

Завершились терзания Черногорина большим количеством вина, которое он осилил за один присест, а когда проснулся, то обнаружил с раскаянием, что стало еще хуже: тревога никуда не ушла, сидела прочно, но к ней еще добавилась невыносимая головная боль. Ласточка сердобольно хлопотала возле него, уговаривая попить то бульона, то чая, но он лишь отмахивался от нее, как от назойливой мухи, и мычал, перемогая раскалывающую боль.

К жизни его вернул Благинин. Притащил мерзавчик водки, заставил выпить рюмку, посидел и приложил ладонь ко лбу Черногорина, спросил:

– Тут болит?

Черногорин прислушался – нет, не болит. Благинин налил еще одну рюмку – боль прошла и в затылке. Дальше в дело пошли бульон, чай и к вечеру Черногорин выглядел уже вполне сносно, если не считать теней под глазами.

– Вино, Яков Сергеевич, – учил Благинин, – для русского желудка – сплошное расстройство, а вот водочка – в самый раз, и по климату нашему, и по характеру.

– Да ты хоть знаешь, Благинин, что у меня ни капли русской крови нет? Во мне столько кровей понамешано, и все – не русские!

– А запиваете, Яков Сергеевич, чисто по-русски, – сделал философский вывод Благинин и добавил: – В этом деле у вас иностранного ничего не имеется.

Черногорин не стал спорить, потянулся было еще раз к мерзавчику, но Благинин ловким и почти неуловимым жестом снял посудину со стола, словно пушинку сдул. И погрозил пальцем:

– Иначе на другую сторону перевалитесь.

Все это время, пока Черногорина возвращали к жизни, Арина тихо сидела в уголке большого номера, на кресле, и молча наблюдала за своим антрепренером, терпеливо дожидаясь, когда он достигнет такого состояния, что с ним можно будет внятно и толково разговаривать.

Вот, кажется, дождалась.

– Яков Сергеевич, объясни мне, по какому поводу у тебя такое огорчение произошло?

– По какому поводу, по какому поводу... Вы еще спрашиваете, Арина Васильевна?! Хорошо, отвечу. Благинин и ты, Ласточка, идите погуляйте,

мы здесь посекретничаем маленько с нашей несравненной.

Постоял, подождал, когда закроются двери, и заговорил, разводя перед собой руками, вкрадчивым шепотом:

– Ты хоть понимаешь, Арина, свет, Васильевна, куда мы с тобой вляпались?!

– Нет, не понимаю, – честно ответила Арина, с улыбкой глядя на Черногорина.

– Хорошо, возьму на себя сей тяжкий труд и еще раз тебе, неразумной, объясню...

Дальше он в подробностях рассказал о своем сегодняшнем визите к Гужееву, об угрозе Естифеева и о том, что чувствует себя подлецом по отношению к Арине, о которой, несмотря на ее несносный характер, он заботится и беспокоится, чтобы с ней ничего плохого не произошло. Арина слушала его, не перебивая, и продолжала мило улыбаться, а Черногорин от ее улыбки приходил в ярость, но говорить продолжал, не давая воли своим чувствам, вкрадчивым шепотом.

Однако длинная его речь была напрасной. Арина несколько не испугалась, она, похоже, от услышанного даже не встревожилась. Спорхнула с кресла, пробежала невесомо по полу и прижалась к Черногорину, обнимая его за плечи:

– Яков, ты даже представить себе не можешь, как я благодарна, что ты за меня беспокоишься. Нет у меня роднее человека, чем ты, как брат... А что касается опасений твоих – не бойся! Вот увидишь, все наилучшим образом выйдет, я сердцем чувствую! Оно меня никогда не обманывает! Поверь!

Никаких слов, чтобы возражать ей и что-то доказывать, у Черногорина больше в запасе не имелось, кроме одного горячего желания – матерно выругаться и вернуть ушедшего Благинина, который унес с собой недопитый мерзавчик.

Но он мужественно пересилил это желание и молча принялся дохлебывать остывший бульон.

Широкая, ровная поляна, вольно раскинувшаяся возле подошвы горы Пушистой, за очень короткий срок разительно изменилась. Теперь стоял на ней невысокий помост, закрытый легкой дощатой крышей, перед помостом расположили несколько скамеек с удобными спинками, и скамейки эти тоже были накрыты навесом, а сбоку, чуть в отдалении, тянулись узкие, длинные столы, уже застеленные белыми скатертями. Плотники спешно завершали свою работу, вкапывая последний столб, на макушку которого была прибита большая железная чаша, в которой лежали кирпичи, вымоченные в керосине – поднеси огонь, и они вспыхнут, а гореть будут долго и ровно.

Гужеев все придиричиво осмотрел, даже посидел на скамейке, вытянув ноги и сложив на груди руки, словно полководец, осматривающий поле будущего боя. Осмотром остался доволен, и в самом прекрасном расположении духа направился к своей коляске, которая дожидалась его на исходе почти незаметной пешеходной тропинки, обозначавшейся лишь примятой травой. Кучер, завидев его, торопливо разобрал вожжи, готовый доставить начальство, куда оно прикажет, но в этот самый момент перед Гужеевым, выйдя из-за высокого каменного валуна, а показалось, что, выскочив прямо из-под земли, возник странный маленький человечек с черной вороной на плече, уже знакомый по прошлому визиту в Ярмарочный комитет. Он заступил дорогу и, вздернув головку, вежливо известил:

– А меня Глаша еще раз послала. И спросить велела: помнит ли большой начальник слова, которые она со мной в прошлый раз передавала? Если не помните, я должен их еще раз сказать...

– Помню, помню, – перебил его Гужеев, – на голову пока не хвораю. А теперь, братец милый, веди меня к этой Глаше, она же где-то недалеко обретается. Хочу сам на нее глянуть и сам буду с ней разговаривать, без посыльных. Веди!

Он цепко ухватил человечка за узкое, почти детское, плечо и в тот же момент отдернул руку – острый вороний клюв гвозданул его точно и больно, словно не костяной был, а железный.

– Чертова птица! – вскричал Гужеев и грозно предупредил: – Еще раз клонет, я ей голову сверну! Сказано тебе – веди!

Человечек, ни капли не испугавшись, поднял ручку и погладил

Чернуху, укладывая на место растопыренные перья, что-то шепнул, и ворона, будто услышав его, успокоилась и притихла. Человечек между тем снова подняв головку и глядя безбоязненно чистыми глазками, ярко светившимися на его старческом, сморщенном личике, сказал ровным голосом:

– Глаша ничего не говорила, чтобы вас привести. Но если такое желание имеется – пойдёмте. Здесь недалеко...

И пошел мелкими, семенящими шажками, быстро перебирая маленькими, но ходкими ножками. Гужеев грузно двинулся следом. Он не забыл слов, которые услышал в своей приемной от странного человечка, не забыл пугающего ощущения от этих слов, когда по спине словно холодная змейка проскользнул страх. Было что-то в этих словах необычное, жутковатое, и он хотел знать – от кого они исходят? В глаза желал поглядеть.

Глаша, вытащив из ямы ведра с землей, сидела на деревянной колоде; сгорбившись, низко опустив голову, смотрела под ноги широко раскрытыми глазами. Зеленела перед ней густая трава, присыпанная влажным суглинком, виднелись следы ее тяжелых шагов, и больше перед ней ничего не было. Но взгляд ее не задерживался ни на траве, ни суглинке, ни на следах, он уходил дальше и глубже, в неведомое и невидимое для других пространство, и там ясно, отчетливо виделось: маленькая девочка, весело подпрыгивая на одной ножке, разжимала сжатый кулачок, дула на узкую ладошку изо всех сил и с ладошки летели в разные стороны лепестки цветущей черемухи. Перестав подпрыгивать, девочка запела чудным и совсем не детским голосом. Глаша напрягалась до дрожи в руках и пыталась вспомнить этот голос, но он ей был неведом. Вот детский, радостный и восторженный, она помнила, именно таким голосом должна была петь девочка, но нет – звучал совсем иной. И слышались в нем беспредельные тоска и горе, такие невыносимые, что обрывалось дыхание. Еще дальше и глубже проникал взгляд, расширялось пространство вокруг девочки, и в этом пространстве проявлялись лица, Глаша их уже не раз видела, узнавала, и знала точно – они несут девочке несчастье. Рядом с этими лицами маячили черные сети с мелкой-мелкой ячейей, и выбраться из этих сетей, если набросят их на девочку, она никогда не сможет.

– Ну что, полоумная, это ты мне приветы передаешь?

Глаша медленно, через силу, подняла голову, отрывая взгляд от видения. Уперлась руками в колоду, выпрямляя спину. Стоял перед ней, широко расставив ноги, Гужеев. В настежь распахнутом летнем сюртуке, в белом картузе, в белой шелковой рубашке, выглядывающей из разъема

жилетки стоячим воротником. Сердито хмурился и еще раз грозно спрашивал:

– Тебя Глашей-копальщицей зовут? Ты этого недоростка ко мне посылала?

Чернуха на плече человечка вздрогнула и каркнула, словно хотела о чем-то предупредить.

Еще крепче уперлась Глаша в деревянную колоду, оттолкнулась и поднялась, колени у нее громко хрустнули, и Чернуха еще раз каркнула. Гужеев оглянулся и приказал человечку:

– Уйди отсюда! Или я вам обоим головенки отверну – и тебе, и вороне!

Человечек замешкался, не зная, что делать, и переступал ножками на одном месте.

– Сту-упай, – нараспев сказала ему Глаша, – в яму сту-упай, там жди.

Человечек неслышно ушел и скрылся в горловине ямы, словно растаял.

Глаша шагнула навстречу Гужееву и встала перед ним – страшная, с седыми космами; на сером, изможденном лице неистово горели лишь одни глаза. И будто неизвестная сила толкнула Гужеева в грудь, он попятился, но переломил себя и остановился. В третий раз спросил:

– Откуда меня знаешь? Чего хочешь?

– Ви-и-жу! Ви-и-жу! – Глаша вздернула руку с оттопыренным указательным пальцем, словно хотела ткнуть им в грудь Гужеева и пронзить насквозь. – Ви-и-жу, змея у тебя по спине ползет. Чуешь?! Хо-о-ло-о-дная! Брось сети черные! Брось! Отступишь! Иначе змея укусит! В сердце укусит!

Многое видел в своей жизни Гужеев, во всякие переделки доводилось попадать, не из пугливых был, но тут испугался, до дрожи, – холодная змея и впрямь ползла по спине, он даже плечами передернул, пытаясь от нее освободиться, но держалась она цепко и продолжала свой медленный ход, от которого брызнули по всему телу гусиные пупырышки.

– Чу-у-ешь?! – еще ближе подступалась к нему Глаша и руку с оттопыренным указательным пальцем не опускала. – Чу-у-ешь?! Коли жить хочешь – брось сети! Больше ничего не скажу! Уходи!

Она резко развернулась, так, что крутнулся длинный подол черной юбки, измазанной в земле, и вернулась на старое свое место – к деревянной колоде. Села и снова сторбилась, уставив взгляд в землю. Гужеев постоял словно в раздумье и тоже развернулся, пошел к коляске, беспрестанно передергивая плечами. На ходу торопливо думал: «Какие к черту сети?! Против кого?! Против певички?!» И даже шаг замедлил от пронзившей его

догадки: больше ведь никаких черных умыслов у него не имелось! Только история с Ариной Бурановой, которая сегодняшним вечером и должна была завершиться.

В коляске, на быстром ходу по тряской дороге, Гужеев пришел в себя, будто наваждение стряхнул, и решил: «Днями же эту бабу в скорбный дом отправлю! Днями же!»

Приняв это решение, он окончательно успокоился и стал торопить кучера, потому что требовалось еще заехать домой, чтобы переодеться и к вечеру явиться в Ярмарочный комитет при полном параде. Именно к этому времени, согласно договоренности, туда же должен был прибыть высокий гость из Санкт-Петербурга, на которого возлагалось так много надежд.

Глава четвертая

– Ну что, дружок, давай теперь поцелуемся, да попросим Господа, чтобы не отвернулся нынче вечером от нас, грешных, – Арина крепко обняла и расцеловала молчаливо стоявшего перед ней Филиппа Травкина. Затем проводила его до дверей, и, когда он выходил из номера, она успела его незаметно перекрестить.

Дверь изнутри заперла на ключ, прошла к столу и долго смотрела на круглую картонную коробку, украшенную белыми и розовыми цветочками по синему фону, и перевязанную пышной, алой лентой с кокетливым бантиком. Положила узкую ладонь на этот бантик, хотела раздернуть его, но сдержалась. Зачем? В коробке, знала она, лежат бумаги, собранные инженерами Свицерским и Багаевым, а еще покаянные показания, собственноручно написанные лавочником Алпатовым. Достать, чтобы прочитать их? Но едва ли сможет она понять, что в них грозного содержится для Естифеева. Да и не имелось особого желания вникать в эти бумаги. Иное сейчас больше всего владело Ариной – скорей бы наступил вечер.

Она медленно отошла от стола, замерла. Стояла не шевелясь, смотрела в распахнутое окно, за которым буйствовало в полную силу весеннее солнце.

И вдруг возник сам собою в глубине памяти веселый приплясывающий напев:

Ты взойди, взойди, солнце красное...

И пошла она в легкой, невесомой проходочке, наискосок пересекая просторный номер, пристукивала по ковру босыми ногами, и напевала негромко, чуть слышно, а чувство возникало такое, будто пела в полную силу, будто голос ее вылетал в распахнутое окно и звенел, доставая до самых краин Иргита:

Ты возрадуй меня, молодую девицу...

В это время в дверь постучали, но Арина не отозвалась и не прервала своей веселой проходки, остановилась лишь тогда, когда услышала сиплый

и встревоженный голос Ласточки. Та вломилась в номер словно на поле боя, готовая поразить всех супротивников, но Арина бросилась ей на шею, принялась целовать, и Ласточка успокоилась. Только спросила, оглядываясь:

– Выходит, ошиблась я? Показалось, что разговаривают, а дверь закрытая...

– Ошиблась ты, ошиблась, Ласточка! Ни с кем я не разговариваю, я песни пою! А теперь – одеваться. Когда пойдем, возьмешь с собой вот эту коробку и береги ее, пуще глаза.

– А чего в ней лежит? Шляпка?

– Богатство мое в ней лежит, Ласточка! Большо-о-е богатство!

– Все нам хиханьки да хаханьки, нет, чтобы просто сказать – шляпка новая. Ладно, не помну, – Ласточка желала еще поворчать, но не смогла найти повода и поэтому молча взялась открывать большой и вместительный платяной шкаф, где висели наряды Арины.

Готовился к предстоящему вечеру и Яков Сергеевич Черногорин. Принял от коридорного вычищенный и выглаженный костюм, надраенные до зеркального блеска башмаки, оделся, обулся, брызнул одеколон на зеленый носовой платок, сложенный треугольником, и долго любовался на себя в высокое, в рост, зеркало, встроенное в шкаф. Осмотром остался вполне доволен, и даже не преминул с горделивостью воскликнуть:

– Мда-с! Мир еще не лишился красивых мужчин, так приятно посмотреть на одного их них!

И впрямь красив был антрепренер известной певицы Арины Бурановой – свеженький и хрустящий, как только что народившийся пупырчатый огурчик; никому и в голову не придет, что еще вчера этого красавца вытаскивали за уши из глубокого похмелья.

Он еще раз тщательно причесался, полюбовался на себя в зеркало, быстро прошел в угол номера, где стоял низенький деревянный шкафчик, и открыл верхний ящичек. Там, прикрытый последними номерами «Ярмарочного листка», лежал маленький плоский браунинг. Черногорин взял его, подержал на ладони, словно взвешивал, и положил в задний карман брюк, который прикрывали длинные полы пиджака.

Теперь он полностью был готов к выходу. И к тому, что, если понадобится, защитить свою несравненную.

В назначенный час вся «труппа трупов» собралась в номере у Арины. Вещи и инструменты были уже погружены в коляску, в которой предстояло ехать Ласточке и Благинину с Суховым. Они отправлялись раньше, чтобы уже на месте все приготовить для выступления. Арина и Черногорин

должны были еще появиться в Ярмарочном комитете, где им предстояло знакомство с петербургским чином, и лишь после этого знакомства узкий круг лиц, удостоенных отдельного концерта известной певицы, отъезжал к подножию горы Пушистой.

Настроение у всех было приподнятое, веселое. Благинин рассказывал очередную бухтину, вполне приличную, и Ласточка на него не сердилась.

– История, значит, получилась вот какая, – окал Благинин, прищуривая шельмоватый глаз, – встретились на базаре цыган с евреем. И возжелали они купить одну и ту же лошадь. А денег у того и у другого только половина – по пятьдесят рублей. А хозяин цену назначил сто рублей. Торговались, торговались – как в пень уперлись. Хозяин – ни в какую, рубль уступать не хочет. И решили тогда цыган с евреем лошадь в складчину купить, и каждый думает – вот купим, а там я его обману. Купили. Сели верхом, поехали. Цыган впереди сидит, еврей – сзади. И давай цыган еврея потихоньку с лошади спихивать. Пихает и пихает. Тот уже почти на хвосте ерзает и говорит: цыган, а цыган, лошадь кончилась, давай местами поменяемся. Поменялись. Теперь уже еврей цыгана спихивает, и тот уже говорит: лошадь кончилась, давай опять местами меняться. Ехали они так, ехали, менялись местами, менялись, пока лошадь не встала. Стоит как вкопанная. Ни взад ни вперед. Они ее и палкой, и хворостиной, а она стоит. И вдруг говорит им человеческим голосом: в первый раз за всю свою жизнь лошадиную таких хитрожопых везу, и в первый раз хитрее всех оказалась. Взяла, да и ускакала к старому хозяину. Еврей с цыганом бегом за ней, на ярмарку, да где же там кого найдешь! И остались оба без денег и без лошади.

– Занятная история, – усмехнулся Черногорин, – только развязка у нее не очень выразительная...

– Еще и другая есть, – с готовностью отозвался Благинин.

– А, может, хватит байки рассказывать?! – вмешалась Арина. – Идти уже пора, опаздывать нам никак нельзя.

И первой направилась к двери, выходя из номера. Следом за ней пошли и остальные. Последней, заперев номер, шествовала Ласточка, осторожно прижимая к необъятной груди круглую картонную коробку.

На улице царствовал тихий и теплый вечер. Солнце еще не закатилось, но дневная жара уже спала, и в воздухе ощутимо веяло прохладой, которая наплывала с Быструги. Тишины, обычной для такого вечернего часа, не было, потому что продолжала шуметь и голосить ярмарка, и слитный, неясный и неразборчивый звук доносился до «Коммерческой», возле которой тоже кипела ярмарочная жизнь: подъезжали и отъезжали коляски,

озабоченные люди поднимались на крыльцо или спускались с него, громко кричали извозчики, зазывая седоков и обещая им быструю езду.

Арина и Черногорин, отмахиваясь от извозчиков, направились к пассажиру, в Ярмарочный комитет, и пока шли до него, не перекинулись ни одним словом. Да и о чем было разговаривать, если уже все сказано?

Возле входа в пассаж их встретил секретарь Гужеева и сразу же провел в отдельный зал, предназначенный для приема особо важных гостей. Весь узкий круг был в полном сборе и при полном параде. Гужеев торжественно объявил:

– А вот и наша прекрасная Арина Васильевна! Господа, я имею счастье приветствовать знаменитую певицу, и позвольте представить нашего дорогого гостя...

Кого угодно ожидали увидеть перед собой Арина и Черногорин – ведь высоким чином железнодорожного ведомства мог быть и почтенный старец, и моложавый господин, и еще черт знает кто, любого вида и обличия – но только не этот человек с густой, совершенно седой шевелюрой и голубоглазый, как младенец. А он, словно не видя их замешательства, четко, по-военному шагнул навстречу, склонился, целуя руку Арине, затем выпрямился в полный свой рост и просто сказал:

– Да, это я, Иван Михайлович Петров-Мясоедов. Вижу, удивлены вы до крайности, милейшая Арина Васильевна, но не зря ведь сказано, что пути Господни неисповедимы. Я очень рад вас видеть.

Арина смотрела на него и молчала – она не знала, что ей следует ответить, хотя бы из вежливости...

Два года назад, когда впервые довелось увидеть Петрова-Мясоедова, она была намного разговорчивей и веселее. В то время одна из петербургских газет после первых выступлений Арины в столице писала, что певица Буранова, чья звезда всходит так стремительно, поражает публику не только голосом, но и всем своим обликом – в душе у нее кипит настоящая, искренняя, веселая жизнь, и отражается эта жизнь не только в манере пения, но и в блеске глаз, в походке и в жестах. Газеты тогда, как и теперь, Арина не читала. Ей всегда казалось, что пишут в них о какой-то другой певице, а сама она не имеет к газетной писанине, непонятной и заумной, никакого отношения. Зато Черногорин аккуратно собирал все газеты, где хотя бы упоминалось имя Арины Бурановой, зачитывал ей вслух, и многословно рассуждал о том, что слава – это бремя, к которому следует относиться с уважением, иначе оно может по неосторожности и рассыпаться.

Арина, как всегда, отмахивалась, не слушая рассуждений Черногорина, она ведь тогда просто жила: летела, светилась, и – пела, счастливая от того, что живет и может петь. Выходила на сцену, видела перед собой блеск мундиров, сиянье бриллиантов, изысканные меха, наряды, сшитые по последней моде, но никогда не задерживала на них взгляда, потому что все это внешнее сверканье и великолепие петербургского общества не трогали Арину. Ей важнее было совсем иное – спеть так, как желает спеть ее собственная душа. А кому петь – добродушным и щедрым москвичам в «Яре», холодноватым и немного надменным петербуржцам, самой пестрой публике на ярмарках, Нижегородской или Иргит-ской, в дворянских собраниях тихих провинциальных городов – это не имело значения. Ко всем, кто слушал ее, она относилась, как к родным, не делая никаких различий. И всем, без исключения, была благодарна, что они слушают ее песни.

Выступления в Петербурге были рассчитаны на семь дней – согласно контракту. Черногорин довольно разводил перед собой руками, улыбался, находясь в самом прекрасном расположении духа, и витиевато разглагольствовал:

– Фортуна, моя несравненная, развернулась к нам всем своим прекрасным личиком. Мои ожидания, а были они не совсем радужны, даже чуточку тревожны, исполнились в высшей степени. Успех – это успех. А

хорошие сборы – это хорошие сборы. Теперь мы для тебя в Москве снимем роскошную квартиру, хватит в номерах проживать...

– Вот ты всегда такой, Яков! – смеялась Арина. – Начинаешь говорить о высоком, а заканчиваешь деньгами!

– Грешен, матушка, грешен, имею некоторое влечение к презренному металлу и бумажным ассигнациям. К слову сказать, совсем забыл... Сегодня, как тебе известно, последний концерт в благословенной российской столице. Но возникли обстоятельства... Явился ко мне вчера очень милый человек из железнодорожного министерства и коленопреклоненно просил, чтобы ты украсила вечер, который они дают в честь своего старейшего коллеги барона фон Транберга. Тот занимал в министерстве большой пост, а теперь по причине древних лет ушел в отставку. Таким образом, несравненная, в первопрестольную мы отбудем только через три дня, билеты я уже заказал.

– Спасибо, милейший, – поклонилась Арина, – спасибо, что предупредил, а не накануне сообщил о вечере. Когда ты, Яков, от этой дурацкой привычке избавишься – все в последнюю минуту!

– Не сердись, он вчера поздно пожаловал, а я тебя тревожить не стал.

– Хоть бы глаза отвел для приличия, когда врешь! Мы с тобой в гостиницу вчера за полночь приехали! Это вы с ним во время моего концерта договаривались!

– Ладно, ладно, сдаюсь на милость, – Черногорин покаянно склонил голову, – обязуюсь впредь не врать, говорить лишь истинную правду и глаз не отводить уже с чистой совестью.

Вот так, слегка побранившись, они затем сразу же помирились, а на следующий день отправились на званный вечер.

Роскошный дом барона фон Транберга был ярко, по-праздничному освещен, возле дверей стояли два швейцара в ливреях, к парадному подкатывали коляски и экипажи, из которых выходила богатая, нарядная публика.

К Арине и Черногорину, едва они начали подниматься по ступеням, сразу же устремился высокий человек с густой и седой шевелюрой. Поздоровался с Черногориним и тот сразу же церемонно заговорил:

– Позвольте вам представить, Арина Васильевна, нашего милого друга – господин Петров-Мясоедов, простите, Иван Михайлович, не ведаю, как звучит ваша должность...

– А я нынче без должности и без портфеля, – Петров-Мясоедов развел руками, – я только недавно отозван был из Сибири, теперь вот жду назначения. Надеюсь, Арина Васильевна, что отсутствие должности не

лишит меня вашего расположения.

– Да что вы, Иван Михайлович! – воскликнула Арина. – Я эти должности и запомнить-то никогда не могу, они все так мудрено и длинно называются!

К этому седому великану с детскими голубыми глазами Арина сразу прониклась доверием. Душевное тепло, искреннее участие и радость исходили от него. Она доверчиво взяла его под руку, и Иван Михайлович повел знакомить известную певицу с хозяином дома. Барон фон Транберг оказался бодреньким еще старичком в отличие от своей супруги, которая уже не могла ходить и пребывала в коляске. На сморщенной шее у нее висели огромные бусы из крупных бриллиантов, которыми она безуспешно пыталась прикрыть отвислый зоб. Старушка очень плохо говорила по-русски, картавила, а в маленьких припухлых глазках, когда она смотрела на Арину, светилась неприкрытая зависть, не старческое умиление, когда смотрят на молодых и здоровых, а именно зависть. Впрочем, после двух-трех фраз старушка милостиво покачала головой, отчего шевельнулись седые букольки, и сделала слабый жест рукой, показывая, чтобы Иван Михайлович вел певицу дальше, знакомить с гостями.

Но Иван Михайлович явно пренебрегал своими обязанностями и старался целиком завладеть вниманием певицы, даже досадовал, когда к ним подходили другие гости. Арина сразу заметила это и поймала себя на мысли, что внимание великана ей приятно, возникало такое ощущение, словно окатывала ее сильная, но очень бережная волна. А после, когда начала петь, она первым делом отыскала взглядом в блестящей и сверкающей толпе седовласую и высокую фигуру. И хотя электрический свет слепил, не давал возможности четко разглядеть лицо, она почему-то пребывала в полной уверенности, что великан смотрит на нее с восхищением.

Ей благосклонно аплодировали. Она кланялась в ответ на аплодисменты, улыбалась, но не покидало чувство, будто не допела и не досказала чего-то самого главного этим людям. И лишь через несколько дней догадается: для многих, кто слушал ее в роскошном доме фон Транберга, песни и сама певица были чужими и непонятными. Поэтому и случился скандал – внезапный и неприглядный. Кто-то отозвал Ивана Михайловича, он, извинившись, отошел всего лишь на несколько минут, и в этот короткий промежуток подплыли к Арине две дамы, похожие на хорошо откормленных к осени гусынь. Уставили на нее лорнетки и стали расспрашивать, коверкая русские слова:

– Что есть лучина? Где есть-обитается подколодная змея? Арина, мило

улыбаясь, объясняла им, но дамы снова и снова задавали глупые вопросы и продолжали бесцеремонно разглядывать ее с ног до головы в свои лорнетки, словно стояла перед ними странная вещь, непонятно для чего предназначенная. Улыбка быстро слетела с лица Арины. Глаза потемнели. Но она пока сдерживала себя и продолжала отвечать. Дамы между тем успевали еще переговариваться между собой по-немецки, и толстые их губы морщились в недоуменных усмешках. Может быть, на этом бы все и закончилось, но подскочил к ним шустрый господин, будто чертик из-под паркета выскочил, и решил оказать услугу:

– Я знаю из газет, госпожа Буранова, что вы не получили достойного образования, поэтому извольте я вам помогу. Ваши милые слушательницы недоумевают: каким образом деревенская девка, от которой пахнет хлебом, оказалась в приличном доме барона фон Транберга. Они обязательно скажут об этом баронессе и пристыдят ее...

Глазенки верткого господина сверкали и крутились, как юла, нетрудно было догадаться, что его распирает от удовольствия, что он даже прискакивает в восторге на тонких ножках, переводя немецкую речь откормленных гусынь.

Арина задыхнулась. На коротком своем веку, в пестрой и тяжелой жизни, немало она испытала унижений, горюшка похлебала полной ложкой, но никогда еще не пригибали ее столь низко, так, как сейчас, равнодушно и брезгливо, будто грязную ветошь рассматривали и принюхивались – они в ней человека не видели!

И несравненная, как ехидничал после Черногорин, мгновенно превратилась в строптивую.

Первым получил верткий господин:

– Брысь от меня, сморчок в манишке!

Господин отскочил, но Арина его остановила:

– Далеко не убегай! Будешь этим кралям растолковывать!

А дальше, уперев руки в бока, она выбила каблучками туфель звонкую дробь на паркете и, приплясывая, двинулась на гусынь, звонко и весело выкрикивала:

– Ах, вы, колбасницы! На русских хлебах телеса наели, а по-русски слова сказать не можете! Я научу вас русский язык понимать! – Тут она увидела замешкавшегося Благинина, собиравшего инструменты, и крикнула по-командному, словно полководец, потребовавший коня: – Гармошку сюда! Гармошку!

Благинин пролетел через зал и рванул меха гармошки в веселой плясовой, он без всяких слов и приказаний догадался, какой аккомпанемент

в эту минуту нужен Арине.

Дамы, убрав лорнетки, колыхая телесами, испуганно пятились и еще больше, до удивления, походили на гусынь, казалось, что они сейчас заполошно начнут гоготать. Арина же, продолжая приплясывать, наступала на них и, будто лоскуты отрывала:

Немец-перец, колбаса,
Толста загогулина.
Обожрался два раза,
Заблевал всю улицу!

Дальше – больше. Частушки посыпались уже совсем перченые.

Боже, что сделалось с изысканным обществом! Одни в испуге замерли, другие смеялись, третьи грустно покачивали головами, а Иван Михайлович, прислонившись плечом к колонне, смотрел, не отрываясь, на разгневанную певицу и широко, по-доброму улыбался, как улыбаются, глядя на шалости милого дитя.

И тут у Арины сломался каблук. Она скинула туфли и, босая, гордо направилась к выходу. Проходя мимо Ивана Михайловича, одарила его таким яростным и ненавидящим взглядом, что от него можно было поджигать бересту. Бежал ей наперерез Черногорин, потешно размахивая руками. Он выходил из зала и теперь, появившись, пытался понять – что случилось? Но Арина даже взглядом не повела в его сторону, как шла, так и шла – к выходу, затем по лестнице, застланной ковром, через вестибюль – в дверь, мимо ошарашенных швейцаров; спустилась с крыльца и, выбравшись, наконец, на улицу, остановила извозчика, запрыгнула в коляску. Черногорин, выбежав за ней следом, увидел лишь неподобранный подол длинного платья, который весело развеялся на ветерке.

Скандал, конечно, получил огласку. Газеты рассказывали о нем захлеб.

Черногорин сначала ругался, но после первого же выступления Арины в Москве, в «Яре», развел перед собой руками и без обычного своего многословия сказал лишь одно:

– Несравненная!

А в «Яре» произошло следующее: едва лишь Арина показалась на эстраде, как московская публика взметнулась в едином порыве и устроила ей овацию. Особо восторженные кричали: «Про немцев спой! Нашенские пой!»

Успех случился небывалый.

После выступления запыхавшаяся Ласточка притащила большущую корзину цветов, отставила ее в сторону от остальных букетов и доложила:

– Никак не могла отказать, Арина Васильевна, очень уж уважительно просил господин, тут и записочка имеется, уж прочитайте, явите милость. Обещалась я ему, что лично в руки передам...

В корзине с цветами лежал запечатанный конверт. В конверте – записка: «Уважаемая Арина Васильевна! Искренне сожалею о случившемся, но, поверьте, у меня не имелось плохого умысла. Я очень хотел бы встретиться с Вами, чтобы объясниться. Иван Михайлович Петров-Мясоедов».

Арина сунула записку в конверт, а на конверте карандашом написала: «Я такого не знаю! И знать не желаю!» Ласточке приказала:

– Отнеси обратно и отдай ему тоже в руки. Отдай и ничего не говори.

Ласточка вышла, долго не возвращалась, а когда вернулась, в руках у нее была все та же корзина.

– Я же русским языком сказала – отдай ему в руки!

– Да не шуми ты, Арина Васильевна, я же не глупая, – обиделась Ласточка, – как велели, так и сделала. А он только записочку взял. А цветы, говорит, ты себе, красавица, забери. Так и сказал – красавица...

И она осторожно потрогала кончиками пальцев нежные лепестки темно-красных роз.

Еще несколько раз Петров-Мясоедов присылал букеты, просил назначить встречу, но резолюция Арины на записках была прежней, а цветы доставались Ласточке.

Теперь Петров-Мясоедов и Арина снова стояли друг против друга, оказавшись волею судьбы в Ярмарочном комитете славного города Иргита, в окружении узкого круга лиц, которые взирали на них с немалым удивлением. Ну, кто бы мог подумать, что певичка знакома с высоким петербургским чином! Весь хитроумный план, сложенный с большими усилиями и стоивший немалых денег, начинал трещать, как плохо сшитый мешок, в который положили слишком много груза.

Но отступить было уже поздно.

Гужеев, по-молодецки приосанившись, пригласил всех к столу и приказал официантам подать шампанское. Лихо поднял тонконогий фужер и, глянув на весело скачущие пузырьки, обратился к присутствующим с короткой речью:

– Уважаемые господа! Сегодня в жизни нашего богоспасаемого Иргита случилось большое событие. Мы встречаем дорогого гостя – Ивана Михайловича Петрова-Мясоедова и искренне надеемся, что пребывание его у нас оставит самые лучшие воспоминания. Также мы рады приветствовать и другую гостью нашего города – несравненную певицу Арину Буранову, которая за короткий срок успела всех нас покорить своим высоким искусством. А сейчас позвольте представить нашим гостям моих соратников по трудам, именитых граждан Иргита Афиногена Ивановича Чистякова, Алексея Петровича Селиванова и Семена Александровича Естифеева. Теперь предлагаю тост – за здоровье дорогих гостей и всех присутствующих!

Арина, пригубив шампанского, поставила фужер на стол и осторожно, чуть повернув голову, взглянула на Естифеева. Старик хмурился, упрятав под лохматыми бровями маленькие глазки, шампанского даже не пробовал, а морщинистая рука, лежавшая на столе, была сжата в крепкий кулак, словно он кому-то грозил. Этот кулак больше всего разозлил Арину, показалось, что именно ей грозит Естифеев. «Ну, уж нет, Семен Александрович, – подумала она с бесшабашной отчаянностью, – не напугаешь! Нынче я смелая, как никогда! Теперь ты меня бойся!» Она подняла фужер и с милой улыбкой обратилась к Гужееву:

– Если мне будет позволено произнести тост...

– Конечно, конечно, Арина Васильевна! Просим! – воскликнул Гужеев, и даже руки радушно вздернул, подтверждая свое разрешение.

– Спасибо, – поблагодарила его Арина легким поклоном, – я очень уважаю и ценю гостеприимство, которое мне было оказано в Иргите, но тост я все-таки хотела бы предложить за прекрасного человека, рядом с которым мы сейчас находимся. Это – Иван Михайлович Петров-Мясоедов. Я имела счастье познакомиться с ним два года назад, и все это время имела возможность восхищаться его благородством и целеустремленностью...

Черногорин выпрямился и насторожился, как цепной пес, почувявший неладное в охраняемой им ограде. Уж он-то прекрасно знал, что вкрадчиво-льстивый сейчас голос Арины и непривычное для нее красноречие могут обернуться в любой момент полной непредсказуемостью – такое колечко выкинет, что все горшки – вдребезги!

Удивлялся, конечно, и Петров-Мясоедов, но вида не подавал, уважительно слушал, чуть склонив седую голову, и лишь глаза весело поблескивали, как бы говоря, что он все понимает, и словам, которые произносит Арина, не верит.

Зато, похоже, верили все члены Ярмарочного комитета, и тост Арины закончился одобрительными возгласами и дружным звоном фужеров.

В это время за плечом Гужеева возник его секретарь, коротко о чем-то шепнул на ухо, и городской голова, как и подобает радушному и хлебосольному хозяину, который радуется, что может принять дорогих гостей на широкую ногу, сообщил:

– Сейчас прошу всех проследовать для дальнейшего продолжения нашего чудесного вечера. Экипажи поданы и стоят возле крыльца.

Через несколько минут кавалькада из восьми колясок, в каждую из которых была запряжена рысистая тройка, откатилась от пассажа, выбралась за город и помчалась в сторону горы Пушистой. Черногорин хотел, чтобы Арина села с ним в одну коляску, но ничего не получилось: даже не слушая своего антрепренера, она подала руку Петрову-Мясоедову. Вдвоем с ним, рядышком, они и отбыли. Черногорину нашлось место в последней коляске, в которой он и поехал в полном одиночестве, если не считать извозчика. Ехал и ругался. Было ему предельно ясно, что Арина, как норовистая лошадь, закусил удила, и теперь можно обреченно готовиться к самой худшей развязке, гораздо худшей, чем в байке, рассказанной недавно Благининым.

Сама же Арина, излучая, казалось бы, неподдельную радость, весело рассказывала Петрову-Мясоедову о том, как она чудесно добралась до Иргита на пароходе «Кормилец», какая на ярмарке милая публика и как ей здесь все безумно нравится...

Петров-Мясоедов терпеливо и молча слушал, согласно кивая седой

головой, и вдруг неожиданно перебил:

– Простите великодушно, Арина Васильевна, может быть, я чего-то не понимаю, но у меня такое ощущение, что оказался на спектакле, в котором играют очень плохие актеры. Будьте так любезны, объясните мне, неразумному, – что это все значит? И ваша якобы благосклонность ко мне, и эта поездка, и ваш тост... Объяснитесь!

Арина сбилась с веселой болтливости, тихо ответила:

– Наберитесь терпения, Иван Михайлович, скоро все станет ясным и понятным.

– Ну что же, – согласился Петров-Мясоедов, – я подожду. Мне, как говорится, спешить некуда. И, если позволите, я хотел бы все-таки оправдаться за тот скандал, который учинили две набитых дуры. Никакого злого умысла у меня не было, я виноват лишь в том, что отошел, будь я рядом, ничего бы не произошло...

– Не надо, Иван Михайлович, – остановила его Арина, – не надо оправдываться. Что было, то было и давно быльем поросло. Давайте лучше помолчим, да на реку полюбуемся. Смотрите – какая красота!

Петров-Мясоедов послушно повернул голову и, прищурясь от закатного солнца, стал смотреть на синюю излучину Быструги, помеченную розовыми полосами.

Больше они не разговаривали и до подножия горы Пушистой доехали молча.

Здесь уже все было готово: из железных чаш на столбах выскакивали языки пламени, отпугивая наползающие сумерки, на столах, застеленных скатертями, теснились тарелки и тарелочки с закусками и кушаньями, стояли, как солдаты на плацу, винные бутылки, поблескивая в неверном свете узкими горлышками и яркими этикетками; возле столов возвышались, неподвижные, как истуканы, официанты, и через левую руку у них были переброшены широкие платяные салфетки. Благинин и Сухов уже сидели на эстраде, настраивая гитары, а Ласточка, привалившись могучим плечом к столбу навеса, не выпускала из рук картонной коробки.

Все это Арина увидела сразу, бросив лишь один быстрый взгляд, и, увидев, почувствовала, как защемило сердце. Стало предельно ясно, что теперь уже невозможно отказаться от задуманного и следует отбросить любые сомнения. Хотя сомнений у нее, пожалуй, и не было, а сердце щемило из-за простой боязни – вдруг что-то случится такое, чего она не смогла предусмотреть. Но тут же себя и пресекла: «Случится, значит, случится. Раньше смерти не помирай!»

И легко словно была невесомой впорхнула на дощатую эстраду, на

которой явственно чувствовался запах сухого, свежеструганого дерева. И этот простой запах, деревенский, домашний, уютный, будто придал ей сил и решимости. Она прошла по эстраде, словно пробуя надежность досок, повернулась к Благинину и Сухову, кивнула им, едва заметно, давая знак, и когда они тронули гитарные струны, запела. Арина специально так сделала, не желая говорить перед своим выступлением, боялась, что раньше времени вырвется затаенное слово, и тогда уже не сможет сдержать себя. А в песне она была спокойнее и уверенней. И пела, на удивление, в полный голос, свободно, будто летела. Сегодня она не смотрела на своих немногочисленных зрителей, казалось, что совершенно забыла про них, а поет лишь для самой себя, как пелось ей в далеком детстве, когда мир возле крыльца родного дома распахивался до бесконечности. Устремив взгляд вверх, туда, где истаивали последние тусклые отблески заката и склон неба наливался фиолетовым отсветом, увидела вдруг ярко вспыхнувшую звездочку, которая сначала лишь мигала, словно разгораясь, а затем окрепла и стала светить ровно, уверенно.

«Свети, родная, свети, – попросила Арина, пережидая после очередной песни хлопки своих зрителей, на которых старалась по-прежнему не смотреть, – помогай, моя хорошая, помогай!»

Перевела дух и заговорила, продолжая смотреть на звездочку:

– А сейчас я спою вам, господа, очень грустную песню, грустную потому, что в ней рассказывается о судьбе моего отца...

Гитары повели мелодию «Когда на Сибири займется заря», и Арина, опустив взгляд, посмотрела на Естифеева. Его лицо и даже седая борода казались в отблеске пламени красными. Старик, видимо, что-то почувствовал, руки, сложенные на груди, опустил на колени, зашевелился на скамейке, словно желал усесться удобней, но усесться никак не мог – ерзал.

– Кандалы грустно стонут в тумане... – последние слова вырвались из нее, как негромкий и безнадежный крик.

Она низко поклонилась, спустилась с эстрады, подошла к столу и весело попросила официанта:

– Вина мне, братец, не поскупись! – Повернулась и еще веселее крикнула: – Антракт, господа!

Господа поднялись со своих мест, тоже прошли к столам, степенно расселись. Теперь уже всем без исключения стало ясно: происходит нечто такое, чего не ожидали. Лишь один Черногорин не удивлялся, и молча, про себя, ругался черными словами, но сделать уже ничего не мог – несравненная, закусив удила, неслась напролом, и остановить ее сейчас

было невозможно.

Арину била мелкая дрожь. Рука, в которой она держала высокий бокал, вздрагивала, и вино расплескивалось. Тогда она отпила из него и простодушно призналась:

– Я очень волнуюсь, вы уж простите меня великодушно... Долго думала – чем же удивить мне такую высокопочтенную публику? И решила я вам рассказать, уважаемые, одну печальную историю, которая связана с последней песней. А начиналась эта история очень просто: жила в городе Иргите маленькая девчушка со своими родителями. Славная была, хорошая девочка, песенки любила петь, на одной ножке прыгать...

Арина взглянула на узкую дорогу, едва различимую в колеблющемся свете, увидела там стоявшие коляски, скучающих извозчиков, собравшихся в кучку, и безмолвно позвала: «Николай Григорьевич, поторопись, миленький, не опоздай!»

И Николай Григорьевич торопился, не жалея ни плетки, ни Соколка, одолевая последнюю версту, которая отделяла от горы Пушистой. Следом за ним неслись братья Морозовы, и тоже не жалели ни своих лошадей, ни плеток – ровный, слитный гул копыт далеко раскатывался по пустынной дороге.

«Мимо бы не проскочить, – встревожился Николай и стал понемногу сдерживать стремительный бег Соколка, – чертов ротмистр, пристал со своими бумагами!»

Хотя, если разобраться, ротмистра Остальцова следовало благодарить и в пояс ему кланяться, а не ругать, но в запале скачки об этом не подумалось, одно лишь желание стучало в грудь – скорее, скорее, не опоздать...

Вот уж выпал денек – не заскучаешь.

А начинался он вполне спокойно. После недолгой ночевки полусотня вместе с обозом и плененными степными разбойниками выбралась на лесную дорогу и пошла на Иргит – оставался до города всего один переход, если идти без задержки, можно успеть еще до сумерек. Но задержка как раз и случилась, как водится, неожиданно.

Едва лишь втянулись в глубину лесной чащи, стукнул одинокий выстрел – негромкий, будто сухую палку переломили. Николай сразу же остановил движение, часть казаков спешил, и они быстро залегли на обочинах дороги, готовясь отразить нападение. Но из-за сосен, уже разомлевших на жару и источающих густой запах смолы, больше не доносилось никаких звуков, кроме птичьих посвистов. Тогда Николай отправил троих казаков, чтобы глянули на то место, откуда прозвучал выстрел. Вернулись они скоро, принесли винтовочную гильзу, еще пахнущую порохом, и сказали, что, судя по следам, стрелок был один. Догонять его без приказа не стали, потому что следы теряются возле ручья, дальше, видно, побрел по воде, однако, если приказ будет...

– Не будет приказа! – ротмистр Остальцов сорвался с места и кинулся к телеге, в которой лежал Байсары. Николай, подбежав следом за ним, сразу все понял: на виске у Байсары кровоточила небольшая ранка, похожая на круглую монетку – меткий был стрелок, рука не дрожала, и несчастный, получив пулю, даже не вскрикнул, отправляясь в небесную степь.

– И тут настигла пуля злая, злодейской пущена рукой – ротмистр

Остальцов вдруг злобно оскалился, словно собирался кого укусить, и шепотом договорил: – Костями лягу, а на чистую воду выведу! Понимаете меня, сотник?

Николай ничего не понимал, но на всякий случай кивнул.

– Это ваш будущий тесть следы замечает. Допрашивать-то теперь некого! Байсары в другом месте уже стада гоняет!

– Если вы про Естифеева, он мне не тесть! – угрюмо насупил Николай, и голос у него отвердел.

– Да ладно, сотник, не обижайтесь, давайте команду – трогаемся. Искать этого стрелка – дело дохлое! Надо быстрее из леса выбираться.

Тронулись. Скоро выбрались из леса на широкую полевую дорогу, и тут снова случилась задержка. Навстречу, поднимая за собой огромный столб пыли, летела тройка. На полном ходу она вдруг свернула в сторону, выгнула по полю огромный круг и, истратив бешеную силу, наконец, остановилась поперек дороги. Николай, держа наперевес винтовку, подскочил к коляске, а из нее уже вылезал Филипп Травкин, очумело встряхивал головой и ворчал:

– Все кишки спутались от такой езды!

– Как велено было, так и доставил – с ветерком, – горделиво отвечал ему Лиходей и ворошил пальцами огромную бороду, из которой столбом летела густая пыль, – а что трясет шибко – терпи. Без терпенья и атаманом не станешь. Верно говорю, казачок? Тебя и не признаешь сразу, в военном-то, вон какой грозный!

– Вы как здесь оказались? Откуда узнали? И зачем здесь? – Николай сдерживал Соколка, а тот, разгоряченный, крутился, и приходилось поворачивать голову то в одну, то в другую сторону.

– Да ты спешивайся, любезный, – посоветовал ему Филипп, – я тебе все и доложу, как есть.

Николай соскочил на землю, повод передал одному из подоспевших казаков, за плечом которого уже стоял ротмистр Остальцов и внимательно разглядывал внезапно появившихся здесь людей. В глазах у него светилось холодное недоверие.

– Нам бы отойти, наедине переговорить, Николай Григорьевич, – попросил Филипп, опасливо глянув на ротмистра, но сотник его сразу пресек:

– Здесь говори! У меня секретов нет.

Филипп вздохнул:

– Коли нет, значит, нет, да и время не терпит. Известная вам Арина Васильевна Буранова просит помощи. Сегодня вечером возле горы

Пушистой она петь будет, а слушать ее станут петербургский чин высокий да господа Естифеев с Гужеевым, а еще Чичтяков с Селивановым, купцы иргитские. Отбывают туда на тройках, а извозчиками на тех тройках будут люди Естифеева. И если Арина Васильевна станет говорить про Естифеева, какой он человек, они могут и в дело вступить...

– А что эта певица может знать про Естифеева? – быстро спросил ротмистр Остальцов.

– Ух, – снова вздохнул Филипп, – она много может рассказать, господин офицер. Грехов у Семена Александровича – на телеге не увезти. Он же ворюга несусветный!

– А доказательства есть? – по-прежнему быстро спросил Остальцов, словно допрос вел.

– Вот такая кипа бумаг! – показал Филипп.

– Каких бумаг? – не унимался ротмистр.

– Ладно, – сдался Филипп, – придется с самого начала, а то получается вроде, как в кошки-мышки играем.

И он стал рассказывать с самого начала.

Едва он закончил свой рассказ, как Николай вскочил в седло, готовый в сию же минуту мчаться к горе Пушистой, но ротмистр Остальцов властным голосом его осадил:

– Отставить, сотник! Наберитесь терпения. Прикажите, чтобы сажи наши.

– Какой еще сажи?! – закричал Николай.

– Обыкновенной. Чернил же нет! И поменяйте ваш тон. Задержаться придется на час, не больше.

За этот час Остальное написал карандашом протокол допроса Байсары, поставил под протоколом свою подпись, затем заставил расписаться Николая и, перевернув лист, дописал, вслух произнося слова:

– Данный протокол мне зачитан, и я, Байсары Жунусов, его подтверждаю, – затем нетерпеливо крикнул: – Сажа где?

Притащили в жестяной плошке сажу, которую нажгли из сухого будыля, и Остальцов, обмакнув в нее большой палец правой руки Байсары, старательно отпечатал его на бумажном листе. Сам же лист, аккуратно перегнув его пополам, осторожно уложил в свою полевую сумку.

– А вот теперь, сотник, берите двух казаков, которые понадежней, и скачите. Только стрелять не вздумайте, надеюсь, что этих извозчиков, если понадобится, вы и плетками разгоните. Желаю удачи! – и ротмистр Остальцов вскинул ладонь к козырьку фуражки, отдавая честь.

Все это время, как только тронулись с места ночевки, Поликарп

Андреевич спал мертвецким сном, будто маковой воды напился. Переживания, выпавшие на его долю в последние дни, обернулись неудержимой сонливостью, и он не чуял толчков телеги на колдобинах, не слышал голосов Елены и Клавдии и многое проспал.

А пробудился лишь потому, что телега остановилась и дальше не трогалась. Вскинул лохматую голову, удивленно повел глазами, пытаясь понять – где это я очутился и что это вокруг происходит? Увидел Клавдию, стоявшую рядом возле телеги, спросил хриплым голосом:

– А чего стоим-то?

– Да не знаю я, тятя, – бойко отозвалась Клавдия, – встали там впереди и стоят. А вот у Корнея сейчас спросим, он скажет, – и она, приподнявшись на цыпочки, ласково позвала: – Корнеюш-ка! Подскочи к нам! Спросить надо!

Поликарпа Андреевича, как в ледяную прорубь с головой макнули – разом слетели остатки сна. Он вскинулся с телеги и сердитой отцовской рукой ухватил дочь за толстую косу:

– Какой Корнеюшка?! Ты кого зазываешь, бесстыжая!

– Ой, отпусти, тятя, больно! – Клавдия дергала головой, пытаясь высвободить косу из цепких отцовских пальцев, и быстрой скороговоркой оправдывалась: – Сами же нас с Еленой просватали, а теперь строжитесь!

– Кого просватал? Кому?

– Нас просватали! За братьев, Морозовы их кличут! Ленушка, да ты скажи тятю. Корнеюшка, подскочи к нам!

Но Корней Морозов, даже не обернулся на ее голос, только рукой взмахнул и помчался вперед, следом за ним пустил вскачь своего коня и брат Иван – не имели они права задерживаться, потому что их срочно призывал к себе сотник Дуга.

От неожиданности Поликарп Андреевич даже пальцы разжал, выпуская на волю толстую косу дочери. Он ведь совершенно искренне забыл и заснул свое обещание, которое давал в земляной яме. Да разве это обещание было?! Мало ли что скажет человек, пребывая в отчаянности?! Мало ли какое слово ненароком сорвется с языка, когда родные души спасти хочешь?! А эти ухари на ус намотали и уже к дочерям подобрались! Корнеюшка! Шиш вам с маком, а не Елену с Клавдией!

Поликарп Андреевич сложил большой грязный кукиш и увесисто выкинул его вслед братьям Морозовым. Но они этого кукиша не увидели, они неслись, сломя головы, за сотником, который с места пустил своего Соколка в галоп – столь стремительно, что даже Лиходей на своей знаменитой тройке отстал. А скоро и совсем остановился – спицы в колесе

не выдержали отчаянной езды. Вылетели с треском и обод, окованный железной пластиной, согнулся, как тряпичный.

– Приехали, слезай... – Лиходей пошарился у себя в ногах, вытащил балалайку и с силой ударил по двум струнам.

Филипп выбрался из коляски, глянул на изуродованное колесо, обреченно махнул рукой и, отойдя от дороги, прилег на траву. А что он еще мог сделать? Хоть закричись посреди пустого поля, толку все равно не будет. Одно оставалось – смириться. И одно утешало: все, что нужно, он исполнил, даже, казалось бы, невозможное, ведь для того, чтобы узнать, где находится Николай Дуга, он разыскал его друга, сотника Игнатова, и тот ему поверил, указал примерное место, где могли находиться казаки.

А теперь... Теперь, как Бог даст...

Филипп перевернулся на спину и стал смотреть в высокое небо, слушая брнчанье двух балалаечных струн, немилосердно терзаемых корявыми пальцами Лиходея.

Арина не могла видеть, что зрачки ее глаз расширились, словно она выводила, стоя на сцене, трудную мелодию. Но зато чувствовала, ощущала всем телом, что поднимается в ней тугая волна, несет на своем гребне, и надо только приложить еще одно усилие, чтобы не соскользнуть и не захлебнуться. И тогда волна, какой бы крутой она ни была, вынесет, бережно и плавно, на твердый берег. Арина сделала над собой такое усилие, и голос ее, дрогнув лишь раз, снова зазвучал в полную силу:

– Понимаю, господа, что отняла у вас много времени. Поэтому заканчиваю, мне осталось сказать немного, лишь самое главное. Конечно, вы желаете узнать имя этого человека, который переломал людские судьбы, в том числе и мою. Что же, я назову это имя. Зовут его Семен Александрович Естифеев, и сидит он сейчас вместе с вами, и вместе с вами задумал проверить еще одно дельце, для чего и привезли сюда уважаемого господина Петрова-Мясоедова, которого я должна всячески ублажать...

– А ты ведь, милочка, винца перепила, – сурово перебил ее спокойным голосом Естифеев, – тебе не иначе, как отдыхать пора. Я сейчас ребят своих кликну, они мигом тебя до постельки доставят.

Он неторопливо начал подниматься из-за стола, оборачиваясь назад, в ту сторону, где кучкой стояли извозчики, и в этот самый момент все услышали стук конских копыт. Мимо извозчиков, мимо колясок на галопе прошли казачьи кони и замерли, не приближаясь к столам, озаренные неверным шатающимся светом, который делал их и всадников большими, почти огромными.

– Я вам очень благодарна, господа, за приятно проведенный вечер, – Арина облегченно вздохнула и низко, в пояс, поклонилась, а затем, выпрямившись, твердо закончила: – Теперь давайте попрощаемся, время уже позднее. Иван Михайлович, вы не смогли бы задержаться на одну минуту, я вас очень прошу...

Петров-Мясоедов, не поднимаясь с лавки, согласно кивнул седой головой, и на лице его отразилось неподдельное, веселое любопытство, казалось, что он сейчас с нетерпением скажет: ну, и чем еще меня удивят?

Первым из-за стола поднялся Гужеев, сердито отшвырнул салфетку и пошел, не оглядываясь, тяжелым шагом, прижимая руку к левой стороне груди. Он снова ощутил ползущую по спине холодную змею, и ему показалось, что она добирается до сердца, которое бухало тяжело и

надсадно. И не было ему уже никакого дела до того, что происходило за его спиной. Да пропади оно все пропадом! И зачем только пошел на поводу у Естифеева...

Сам же Семен Александрович помедлил, не торопясь встать, и даже сказал, оглядев почти нетронутый стол:

– Благодарствуем за развлечение. Угощайтесь, кушайте-пейте, добра здесь на всех хватит. Только не подавитесь!

И лишь после этого встал, выпрямившись в полный рост, двинулся следом за Чистяковым и Селивановым, которые уходили столь поспешно, словно убегали от погони. Вытянувшись цепочкой, члены Ярмарочного комитета миновали казаков, добрались до колясок и там засуетились извозчики, захлопали вожжи, донесся глухой стук колес, и скоро разом все стихло. Ни одного человека, ни одной коляски – как ветром сдуло!

Черногорин вытащил из кармана руку и облегченно вытер о белую, накрахмаленную манишку потные пальцы, которые уже сводило судорогой – вот как крепко сжимал он рукоять браунинга, готовясь к самой плохой развязке, если бы таковая случилась. На манишке остались темные полосы, а Черногорин, вытянув перед собой руку, удивленно ее разглядывал и пытался понять – неужели бы выстрелил?

Трое официантов растерянно переглядывались между собой, не зная, что им делать. Куда податься? Ехать не на чем. Здесь остаться? Приказания не было.

– Да вы не волнуйтесь, ребята, – разрешила их сомнения Арина, – как Семен Александрович сказал? Ешьте, пейте и угощайтесь. Вот и садитесь за стол, сами, наверное, голодные. Николай Григорьевич! Миленький! Прощу к нам! И казачков своих веди! Все за стол! Гулять нынче будем! А мы, Иван Михайлович, давайте пока пройдемся, уж будьте любезны, не откажите в малой просьбе.

– С удовольствием! – Петров-Мясоедов выбрался из-за стола, взял Арину под руку, для чего ему пришлось согнуться, и осторожно повел ее, направляясь к горе Пушистой, которая едва проявлялась из темноты своими грозными очертаниями.

– Иван Михайлович, понимаю, что вы удивлены. Так вот, чтобы не удивлялись, я сразу хочу вам сказать... – Арина замолчала, подыскивая слова.

– Так и говорите – сразу, – подбодрил ее Петров-Мясоедов, – без предисловий.

– Хорошо. Почетный прием вам устроили для того, чтобы вы помогли этим господам добиться решения в вашем ведомстве о строительстве

железной дороги до Иргита. Узнали, что вы являетесь моим поклонником, и поэтому я тоже здесь оказалась, и должна была не только петь, но и... понимаете сами. Я согласилась, потому что у меня к вам имеется личное дело. Там, возле столов, находится коробка с бумагами. Эти бумаги передали мне инженеры со станции Круглой, я ничего в них не понимаю, знаю только одно – воруют на строительных подрядах безмерно. А главный вор – Семен Александрович Естифеев. Возьмите эти бумаги и поговорите с инженерами, их фамилии – Свидерский и Багаев.

– И цель этого предприятия совершенно ясна – вы решили сжить со света Естифеева.

– Как же вы прозорливы, Иван Михайлович!

– В иронии вам не откажешь, Арина Васильевна, но она, пожалуй, неуместна. Прежде чем дать какой-либо ответ, я предпочитаю заранее знать все обстоятельства дела. А еще предпочитаю угадывать, что последует за моим ответом.

– Какой же вы скучный человек! Я ведь ясно все сказала! А вы мне скажите – да или нет! Зачем эти пространные разговоры?!

– А вы не допускаете мысли, что мне приятно с вами разговаривать? И даже приятно видеть, как вы сердитесь.

Арина отскочила, словно ее ужалили, и голос зазвенел:

– Только не надо мне говорить комплиментов! Я их наслышалась – под завязку! Скажите, какие ваши условия? Деньги? Постель?

И тут, как ни была разгневана Арина, она все-таки увидела в тусклом, шатающемся свете, как у Петрова-Мясоедова тяжело сжались огромные кулаки. Он нависал над ней, как гора Пушистая, и шумно сопел. Показалось даже, что он сейчас ударит. Арина невольно закрыла лицо руками. И отняла их лишь тогда, когда услышала после долгой паузы голос Петрова-Мясоедова. Голос звучал, на удивление, совершенно спокойно:

– Вас извиняет лишь одно обстоятельство, Арина Васильевна, а именно то, что вы женщина. Будь на вашем месте мужчина, я бы его даже на дуэль вызывать не стал. Просто взял бы и придушил. Когда я вам дал такой повод, что вы обращаетесь со мной, как с последним мерзавцем? Просите помощи, предлагая за это взятку и... и черт знает что! А я дворянин, будет вам известно, и мне хорошо знакомо такое слово, как честь.

– Иван Михайлович, простите, если я вас обидела, я не хотела...

– Пойдемте, где ваши бумаги?

Они молча вернулись к столам, и Арина, забрав коробку у Ласточки, передала ее Петрову-Мясоедову. Он, не развязывая бант, сдернул ленту,

отбросил ее вместе с крышкой в сторону и прошел к столбу, где было больше света. Арина, не отставая ни на шаг, встала у него за спиной.

– Отойдите и не загораживайте мне свет, – попросил Петров-Мясоедов.

– Я же сзади стою!

– Все равно отойдите! Ступайте за стол и поблагодарите людей, они ведь за вас переживали. Я же видел лицо вашего антрепренера, точнее сказать, лица у него вовсе не было, когда вы речь говорили. Или вы им тоже взятку пообещали? Хотя, впрочем, за взятку так искренне не переживают. Да отойдите же, Арина Васильевна, не люблю я, когда у меня за спиной стоят.

Так и подмывало Арину сказать в ответ какую-нибудь колкость, потому что ровный, спокойный голос Петрова-Мясоедова обезоруживал ее, в нем чувствовалась не показная, а настоящая, крепкая сила, и было этой силы столь много, что она не могла ей сопротивляться, наоборот, хотелось подчиниться и чувствовать себя в полной безопасности. Но Арина даже плечом дернула, сердясь теперь уже на саму себя, круто развернулась и пошла к столам, где ее все терпеливо ждали, не прикасаясь ни к еде, ни к вину.

– А почему народ у нас такой грустный?! Вы что, на поминки собрались?! Я же сказала – гулять будем! – Арина раскинула руки и обняла Черногорина, сидевшего с краю, расцеловала его в обе щеки и двинулась дальше, целуя всех, кто сидел за столом, даже официантов и братьев Морозовых. Не было у нее сейчас людей роднее и ближе. И так хотелось сделать их всех счастливыми! – Благинин, Сухов! Гармошки давайте, я петь желаю!

И пела она так, будто душу свою вынимала и несла на раскрытых ладонях. Видела перед собой грозные и смутные очертания горы Пушистой, темное над ней небо, и еще выше, в беспросветной дали, одинокую, ярко разгоревшуюся звезду, которая так обрадовала ее в начале сегодняшнего вечера. «Спасибо, родная, спасибо, что не погасла».

Николай Дуга пил вино, чокаясь с братьями Морозовыми, и не хмелел – будто колодезную воду хлебал. Глядел во все глаза на Арину, и сердце захлестывало такой тоской, что хотелось заплакать. Он вдруг понял, ясно и четко, что никогда ему не быть рядом с Ариной Бурановой, что лишь на короткое время, случайно, пересеклись их дороги и скоро, не сегодня так завтра, разойдутся они, может быть, навсегда... И так не хотелось расставаться, так хотелось продлить, еще и еще, эту ночь, в которой звучал неповторимый и навсегда теперь родной для него голос.

А ночь истаивала. Редела, будто просеиваясь, темнота, и на востоке, там, где скоро должно было подняться солнце, начала проступать легкая синева. Похолодало. Ласточка накинула Арине на плечи шаль и отошла, скрестив на груди руки. Она же первой и услышала негромкое, протяжное карканье Чернухи. Обернулась в недоумении и увидела, как вышел из темноты маленький человечек, на плечике у которого сидела ворона. От неожиданности Ласточка отшагнула назад и даже испугалась – очень уж крохотным, с высоты ее роста, показался человечек, который держал в руках старую потрепанную книгу в рваном кожаном переплете.

– Господи, ты откуда такой взялся?! – Ласточка даже руками всплеснула, наклоняясь над ним, чтобы лучше разглядеть.

– Видите ли, дело в том, что у меня сегодня очень большая радость, – отвечал человечек, старательно задирая вверх головку, – я уже и думать не смел и надеяться перестал, что моя пропажа найдется, а вот – сбылось, совершенно неожиданно и негаданно...

Все, кто сидел за столом, обернулись на его тонкий голосок, невольно прислушиваясь и пытаясь понять – о чем желает сказать этот странный маленький человечек?

– Гляди, и ворона нашлась, и книжка! А ты горевал! – весело закричал Николай, вспомнив недавнюю встречу в трактире. – Себе-то не мог нагадать, что все благополучно кончится?!

– Не мог, Николай, я себе гадать, – отвечал человечек, – потому как свою судьбу угадать невозможно.

– А чужую можешь угадать? – спросила Арина.

Мелкими шажками человечек прошел к столу, положил на него, сдвинув тарелки в сторону, книгу, сам уселся на скамейку, свесив ножки, которые не доставали до земли, и сообщил:

– Глаша меня и послала сюда, чтобы я тебе судьбу рассказал. Только я сначала Чернуху покормлю и сам поем, ладно?

И человечек, не дожидаясь разрешения, стал отламывать крошки от рыбного пирога и кормить ими ворону. Накормив ее, он поел сам, как поклевал, сунул руку в карман брючек и вытащил чистую тряпицу. Уложил на нее кусок пирога, завязал уголки в узелок и заговорил прежним негромким голоском, будто сшивал слова ровными стежками, протаскивая крепкую, суровую нитку:

– Это я Глаше отнесу, она уработалась сегодня, и сон у нее пропал, сидит теперь и в землю смотрит. Она в земле много чего видит, только не рассказывает. А я знаю – видит...

Арина следила за ним, не отрывая взгляда. Она безотчетно ждала от

него главных слов, потому что была уверена – именно для этого, чтобы сказать их, человечек и появился здесь. А он, продолжая прямо смотреть перед собой, тянул дальше, не прерываясь, длинную нитку своего шитья, не сбиваясь и не путаясь:

– Я и не знаю, кто мне книгу вернул, сегодня утром выходим из ямы с Глашей, а она лежит на траве, целенькая. Я ее потому с собой взял, что Глаша грозилась сжечь ее, нехорошая, говорит, книга, а мне жалко, уже привык к ней, да и как бабам без книги гадать, они без книги не поверят...

– Она зачем тебя послала? – не выдержала Арина. – Что мне сказать велела?

– Велела сказать, что черные сети порвались, и теперь ты будешь жить долго. А еще велела сказать, чтобы ты к ней больше не приходила, она тебя все равно не узнает, ты для нее чужая. Голос твой помнит, а ты – чужая. Не приходи, ругаться будет. Она только тех помнит, кто раньше был, а кто сегодня – не помнит. И тебя, нынешнюю, не помнит. Верно говорю, Чернуха? Ничего не напутал?

Ворона выпрямила крыло, взмахнула им, коротко, отрывисто каркнула и сразу же замолчала, хлопнув с костяным стуком клюв. Человечек слез со скамейки, взял в одну руку книгу, в другую – узелок с куском пирога и пошел, мелко перебирая ножками. Даже не оглянулся, беззвучно растворившись в темноте. Арина, выскочив из-за стола, долго смотрела ему вслед, ожидая, что он вернется и скажет еще какие-то слова, более понятные и разумные, которые она сможет до конца для себя уяснить. Но из темноты, уже далеко, донеслось только глухое карканье Чернухи, словно извещала она, что уходит вместе со своим маленьким хозяином все дальше и возвращаться не собирается.

Все молчали, ошарашенные внезапным появлением и столь же внезапным исчезновением странного человечка, пожалуй, никто, так же, как и Арина, не понял смысла его слов, но все поняли, что никакого веселья после этих слов уже не будет. Стали подниматься из-за стола, выходили на поляну и не знали, куда им двигаться дальше. Поглядывали на Арину, ожидая, что она сейчас скажет. Но Арина молчала, продолжая стоять на прежнем месте, и вдруг сорвалась, побежала, пересекая наискосок узкую дорогу, туда, где смутно проявлялся из темноты густой молодой ельник. Но далеко не убежала, запнулась на краю этого ельника и упала, уткнувшись лицом в сухую прошлогоднюю хвою. Глухо, беззвучно рыдала, а глаза оставались сухими и облегчающие слезы не приходили. Сгребала пальцами, сжимала колючую хвою в кулачки, и не было у нее сил, чтобы подняться. И потому она даже не поняла сначала – чья широкая ладонь

легла ей на голову и чутко, бережно стала приглаживать растрепавшиеся волосы. Кто мог знать, что именно так успокаивала Наталья маленькую дочку, когда клала ей на голову свою ладонь, и тогда все беды и печали скатывались, как вода? Она перестала рыдать и тихо заплакала, доверяясь сильным, крепким рукам, которые подняли ее с земли и понесли на угасающий свет – кирпичи, смоченные в керосине, догорали, а рассвет еще не наступил...

– Ска-а-зал?

– Сказал, Глаша, слово в слово, как велела, и ничего не перепутал. А книгу, чтобы ты не сердилась, не открывал, и никому не гадал по книге. И вот еще – пирога тебе принес, хороший пирог, я пробовал. Теперь ты поешь...

Человечек положил на днище перевернутого деревянного ведра кусок пирога, замотанный в тряпицу, развязал узелок и придвинул ведро ближе к колоде, на которой сидела Глаша, уперев взгляд в землю. У входа в яму горел фонарь и круг желтого, блеклого света доставал до колоды. Глаша сидела как раз на краю этого круга, и казалось, что она разделена надвое, одна ее половина была светлой, а другая уходила в потемки. Человечек поглядел на нее и попросил:

– Ты пересядь вот сюда, Глаша, чтобы на свету. А то боюсь я, как будто тебя разрезали...

– Не бо-о-йся, не разрезали. Сам-то хорошо поел?

– Досыта, Глаша, досыта.

– Тогда и я отку-у-шаю...

Она взяла кусок пирога, разломилась его наполовину и стала медленно жевать, как жуют коровы, глядя в одну точку остановившимися глазами и лишь иногда помаргивая. Человечек примостился рядом, положил на коленочки свою гадательную книгу, на книге устроил локотки и, уложив подбородочек на ладони, стал смотреть перед собой, словно что-то очень хотел разглядеть в редющей темноте. Чернуха прилегла на его плечике, перестав цепляться когтями за пиджачок, и сунула клюв под крыло.

Глаша дожевала кусок пирога, остатки замотала в тряпицу и снова уперла взгляд в землю; сгорбившись, наклонилась так низко, что седые, растрепанные космы доставали до рассыпанного на тропинке суглинка. Вдруг она опустилась на колени, разгребла руками суглинок и прилегла, прислонив ухо к земле. Замерла. Ей явственно слышалось, что снизу, из глубины, доносится детский плач – горький, безутешный. Она напряглась и увидела: дети, сидевшие за столом, накрытым белой скатертью, выбежали на крыльцо и плачут, зовут, протягивая ручонки. Кого зовут? Ее, Глашу, зовут! Нет у них молока на столе, и хлебного каравае нет, потому что муж только что вынул железный лист из печи, а все хлеба на этом листе сгорели – до черноты, одни угли остались. Но ребятишки не желают кушать угли,

вот и выбежали на крыльцо. А она здесь сидит и пирог жует, утроба ненасытная! Глаша стремительно, словно и не болела натруженная спина, вскочила на ноги, подхватила опрокинутое ведро и бегом – в яму. Схватила лопату и с яростью воткнула ее в земляную толщу. Копать, копать, копать! Ведь должна она в конце концов достигнуть домика, стоящего на пригорке, где на крылечке в три ступеньки сидят детки и тянут к ней ручонки.

Быстро наполнялись деревянные ведра.

Скоро, следом за ней, в яму спустился маленький человечек, спросил о чем-то, но Глаша не отозвалась, и даже головы в его сторону не повернула. Человечек не обиделся; на тряпки, которые валялись у земляной стены, осторожно уложил Чернуху, гадательную книгу и сам тихонько прилег рядом, вытянувшись в полный рост тоненьким коротким тельцем. Зевнул и закрыл глаза, а скоро и уснул.

Глаша копала, не оглядываясь.

Вдруг суглинок скрипнул под лопатой, послышался вкрадчивый шорох и неведомая тяжесть с бешеной силой толкнула Глашу в спину. Земля разъялась, и открылся широкий проем, залитый ярким и теплым светом. Проем прямехонько выводил к домику с голубенькими ставнями, и не было больше никакой преграды, не было надоевшей земли, опостылевшей лопаты и тяжелых деревянных ведер – только свет. Глаша с облегчением шагнула в него и легко, невесомо заскользила к домику...

Сильный, глухой хлопок упруго отозвался в утреннем воздухе, когда огромные земляные пласты, отломившись, ухнули вниз, в глубокую яму, и намертво ее запечатали своей сырой тяжестью.

...Арина вздрогнула, услышав этот хлопок, но Петров-Мясоедов, успокаивая, осторожно сжал ее за плечи широкими ладонями и сказал, наклоняясь и заглядывая ей в глаза:

- Успокойтесь, Арина Васильевна, успокойтесь...
- Что это было? Что это ухнуло?
- Не знаю. Может, камень с горы упал...
- Почему мне так холодно сразу стало? Меня знобит.
- Это нервное, Арина Васильевна. Сейчас я отвезу вас в гостиницу, вы уснете, и все пройдет. Вот и коляски подали. Пойдемте...

Из Иргита, куда успел слетать Корней Морозов, прикатили три коляски, все расселись в них, и возле столов остались только официанты. Коляски, одна за другой, выскочили на широкую дорогу и попылили к городу. Николай Дуга вместе с братьями Морозовыми поскакал следом, но скоро остановил Соколка и развернул его в обратную сторону.

– Ты куда, Николай Григорьевич? – удивленно спросил Корней.

– А черт его знает – куда, – Николай тоскливо повел вокруг взглядом, – давайте, братцы, в лесок заедем и спать ляжем. Выспимся – видно будет...

Они заехали в хвойный лесок, привязали коней к молодым сосенкам и легли прямо на траву, сунув кулаки под головы. Братья Морозовы сразу же уснули, засопели, причмокивая губами, а вот Николай, удивляясь самому себе – никогда с ним такого еще не случалось! – уснуть не мог, хотя за последние двое суток почти не сомкнул глаз. «Вот так, Арина Васильевна, в жизни-то получается, – грустно думал он, – жил и жил, не знал и не ведал, а теперь едва сердце не разрывается, вот как оно по вам тоскует. Не справиться мне с ним, с сердцем, ему не прикажешь, понимаю умом, что мечты мои несбыточные, а сердце все равно тоскует... Эх, если бы еще пластинка жива была... Афанасьев расколотил... Поправится, я его в нарядах сгною...»

Он перевернулся, лег на спину и стал смотреть в небо.

Арина же в это время запоздало подумала о том, что не сказала благодарных слов сотнику, а надо было сказать, ведь исполнил ее просьбу и отозвался, когда позвала на помощь. А если бы не отозвался? Что бы случилось? Она зябко передернула плечами – только сейчас ей по-настоящему стало страшно.

Коляски между тем катили уже по Иргиту и скоро остановились возле «Коммерческой». Петров-Мясоедов сдал Арину с рук на руки Ласточке и на прощание обнадежил:

– Из ваших бумаг, какие я успел посмотреть, напрашиваются определенные выводы, но говорить об этом пока рано. Постараюсь сегодня же встретиться с Багаевым и Свидерским, а завтра обязательно встречу с вами. Тогда обо всем и поговорим.

Он низко склонился и поцеловал Арине руку – холодную, словно она долго была без перчаток на морозе.

Озноб прошел только к вечеру, когда Арина проснулась. Повела взглядом, откинула с себя одеяло и сразу же его снова набросила, подтягивая двумя руками к подбородку, потому что разглядела: в номере у нее тихо и чинно сидела «труппа трупов» – в полном составе, во главе с Черногориным. И у всех на лицах – напряженное ожидание.

– Вы что, караулите меня? – удивилась Арина. – Все вместе? А других занятий для себя найти не можете?

– Можем, конечно, можем, Арина Васильевна, найти другое занятие, – Черногорин поднялся из кресла, – и обязательно бы нашли, если бы вы не грохнулись в обморок.

– Где?

– На пороге этого прекрасного жилища. И хорошо, что Ласточка успела поймать, иначе бы ваше прекрасное личико представляло сейчас весьма печальное зрелище. Ладно, не будем ерничать. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо чувствую. Вот встану, умоюсь и приведу себя в порядок.

– А съездить никуда не желаете? – не удержался и съехидничал Черногорин.

– Куда ехать? Зачем? – не поняла его Арина.

– Ну, я так подозреваю, что имеются и другие значные места в округе, а также в самом Иргите, где мы еще не побывали. Не желаете сей пробел заполнить?

– Яков, у меня нет желания с тобой ссориться. Идите в свои номера, оставьте нас с Ласточкой. Очень вас прошу – оставьте.

Спорить Черногорин не стал, безропотно вышел, следом за ним – Благинин и Сухов.

По-хозяйски, решительно, щелкнул ключ, проворачиваясь в замке. Ласточка дернула дверь за ручку, проверяя – крепко ли заперто; удостоверилась, что крепко, и принялась хлопотать, готовя ванну, при этом сердито и неразборчиво бормотала что-то себе под нос сиплым, приглушенным голосом.

Арина не стала спрашивать – по какой причине Ласточка ворчит, потому что хорошо знала: надо лишь набраться терпения, и та сама расскажет. Так и вышло. Когда после ванны, замотавшись в широкое полотенце, Арина присела на диван, Ласточка неожиданно бухнула по столу тяжелым своим кулаком и вскричала – тонким, внезапно прорезавшимся у нее голосом:

– А вот взять его, да и придушить! Будь моя воля – придушила бы! И пикнуть бы не дала!

От неожиданности Арина даже дернулась, спросила испуганно:

– Ласточка, ты кого душить собралась?

– Кого надо!

– Мне-то рассказать можешь? Или секрет?

– Да никакого секрета нету! Купчишку этого, который осиротил вас, так бы и задушила. Слушала вчера, как вы рассказывали, аж вся душа обрыдалась! А он сидит, важный такой, хоть бы бровью повел! У-у-х!

Ласточка еще раз грохнула кулаком по столу, и добрые, круглые, коровьи глаза ее сузились, пыхая суровой ненавистью. Арина глядела на нее и удивлялась – никогда такой не видела. Сама же она после прошедшей ночи чувствовала полное опустошение. Все, что ее мучило и не давало

покоя много лет, она выплеснула наконец в полной мере, и ей сейчас было уже почти безразлично – пойдут ли в ход бумаги, которые переданы Петрову-Мясоедову, свершится ли наказание Естифеева... Все это было уже не столь важно, главное – она выпустила из груди многолетнюю боль, и отчаянный, срывающийся крик матери перед смертью не остался только криком, не растворился во времени. Одно лишь сейчас тревожило, словно глубоко засевшая заноза, когда вспоминала она прошедшую ночь – что за хлопок прозвучал, после которого ей сразу стало дурно?

– Ласточка, ты слышала шум, там, у горы, будто что хлопнуло?

– Слышала, хлопнуло. Да мало ли чего! Я вот про этого купчишку все думаю – как таких людей земля носит?!

– Хватит, Ласточка, хватит про него говорить. Не стоит он твоих разговоров. Давай лучше чаю попьем, сделай мне чаю...

Сам же Семен Александрович Естифеев, о котором больше не пожелала разговаривать Арина Буранова, пребывал в очень плохом расположении духа, и ему вспоминался нелепый сон, приснившийся не так давно: гроб, наполненный квашеной капустой, и бабы, предлагающие этой капусте отведать. Тьфу, зараза! Привяжется, и избавиться невозможно. Он сердито отодвинул от себя тарелку на край стола – даже есть расхотелось. Обедал Семен Александрович, как всегда, в одиночку, домашние знали, что тревожить его нельзя, и поэтому он рассердился, когда в дверь осторожно и вкрадчиво постучали.

– Чего понадобилось? – сурово крикнул Семен Александрович и повернулся к двери, которая медленно и неслышно открылась, ровно настолько, чтобы можно было в нее проскользнуть боком.

Проскользнул и встал у порога Анисим, давний работник Естифеева, верный своему хозяину, как цепной пес. Когда-то, еще давно, Семен Александрович взял к себе безродного мальчишку, похожего на неуклюжего, увалистого щенка, приручил его и сделал таким, каким он и требовался: исполнял любое приказание, язык держал на замке и предан был до бескрайности. С годами, заматерев, Анисим, как и его хозяин, почти не менялся – жилистый, поджарый, ходил неслышно, разговаривал тихо, а в глазах всегда таился холодный, колющий отсвет. Анисим был единственным человеком, которому Естифеев доверялся полностью и без всякой опаски. Поэтому он и имел негласное право приходить к хозяину и разговаривать с ним в любое время, хоть днем, хоть ночью.

И если появился он сейчас, значит, привело его неотложное дело. Какое такое дело, если Анисим должен был находиться сейчас далеко от Иргита? Семен Александрович насторожился и поднялся, отодвинув стул, на котором сидел, в сторону, словно тот мешал ему и не давал простора для широкого шага. А шагнул он к Анисиму, словно его в спину толкнули, широко и размашисто. Встал перед работником и нахмурился, сведя белесые, лохматые брови. Ничего не спрашивал, не говорил – ждал.

Анисим неслышно переступил с ноги на ногу и тихо, будто на ухо шептал, заговорил:

– Казаки на Байсары налетели. Кого побили, а больше еще связали и в Иргит пригнали. Коней и овец теперь охраняют – не подобраться. Байсары раненого взяли, на телеге везли. Выследил я тихонько и стрелил. Кажется,

не промазал – не заговорит. Извиняй, Семен Александрович, советоваться некогда было, сам решил, что так лучше.

Естифеев молча вернулся за стол и задумался. Вот так известие! Совсем некстати оно подоспело. Вчера певичка коленце выкинула, весь хитроумный план нарушив, теперь вот Байсары в капкан угодил – сплошные нескладухи, одна за другой, следуют. Не зря ему сегодня дурацкий сон вспомнился – не к добру. Какой теперь еще нескладухи ожидать следует?

– Не промазал, говоришь?

– Кажется, нет, – тихо ответил Анисим, продолжая почтительно стоять у порога.

– Кажется, кажется, – Естифеев хмыкнул и посоветовал: – Вон иконы висят, покрестись, и казаться не будет.

Анисим вздернул руку, видно, и впрямь хотел перекреститься на иконы в переднем углу, но передумал и руку опустил, сказал твердо:

– Не мог я промахнуться, глаз у меня цепкий.

– Ну, смотри, если что, этим же глазом и ответишь – вырву! Ладно, ступай.

Анисим неслышно исчез, беззвучно закрыв за собой дверь.

Естифеев, оставшись один, долго еще сидел за столом, к еде не прикасаясь, а затем поднялся и торопливо стал собираться, приказав, чтобы срочно заложили коляску для выезда. Спешил он в Ярмарочный комитет, желая переговорить с Гужеевым, но городского головы на месте не оказалось, выяснилось, что он заболел, лежит дома в постели и на службе не появится.

Из Ярмарочного комитета Естифеев прямиком отправился к Гужееву на дом. Встретила его в передней заплаканная супруга городского головы. Худенькая, суетливая, она беспрестанно всплескивала руками, охала, словно ей самой нездоровилось, и ничего толкового сказать не могла. Только и понял Естифеев, что приезжал доктор и прописал лекарства. Час от часу не легче! С Гужеевым-то, никогда и ничем не хворавшим, что могло приключиться?! Естифеев, не дослушав стонущих охов хозяйки, прошел в спальню, где уже сильно пахло лекарствами, а на кровати, на высоких подушках, лежал необычно тихий и непохожий на самого себя городской голова. Его бледное и заострившееся лицо было неподвижным, глаза уставлены в потолок. Он лишь мельком глянул на вошедшего Естифеева и снова стал смотреть вверх, словно пытался что-то разглядеть на ровной, чуть голубоватой побелке. На приветствие Естифеева не отозвался, лишь негромко вздохнул и сказал, будто бы самому себе, а не гостю:

– Меня-то за что? На Естифеева надо было порчу наводить. Он – главная причина...

Семен Александрович присел на стульчик, стоявший у кровати, помолчал, разглядывая больного, словно хотел удостовериться – действительно ли тот болен, и лишь после этого осторожно спросил:

– Какая еще порча? Какая причина? Ясно сказать мне можешь?

– Могу и скажу, Семен Александрович, только слушай, – Гужеев по-прежнему смотрел в потолок и не шевелился, – дурочка эта, которая яму возле Пушистой копала, порчу на меня навела. Едва на тот свет не отправился. Я так думаю, что она певичку защищала, а вот адресом ошиблась. Тебе надо было на грудь змею запустить, так, чтобы не вздохнуть, не охнуть. Знал я, Семен Александрович, что из-за денег ты на любое темное дельце согласишься, но чтобы так – одного зарезать, а двух на каторгу отправить, да еще дитя осиротить... Даже жутко вчера стало – как это я столько лет с тобой знакомство водил... А теперь слушай – к Бурановой близко не подходи и думать не смей, а про всю нашу затею с железной дорогой и с Петровым-Мясоедовым – забудь напрочь. Не было никакой затеи. На том и стой, если спрашивать будут.

– Кто спрашивать-то будет? Уж не певичка ли?

– Найдутся люди, спросят. Я сказал, а ты уходи. Я тебя, Семен Александрович, на дух переносить не могу...

– Ну-ну, – зловеще протянул Естифеев и поднялся со стульчика. Постоял, глядя на больного, и вышел из спальни.

Он не испугался тех слов, которые услышал от Гужеева, не из трусливого десятка был Семен Александрович, но крепко задумался, возвращаясь домой, потому что яснее ясного понимал – затея полностью сорвалась и ахнулась псу под хвост. Дороговато пришлось за песенки заплатить. Вспомнился горбоносый антрепренер Бурановой, и Семен Александрович, не удержавшись, молча ругнулся: «Так нам и надо, полоротым! Экие деньги на ветер выкинули! Вокруг пальца обвел, прохвост заезжий!»

Думая обо всем этом, ругаясь и досадуя, Естифеев ни разу не вспомнил о давнем деле, о банковском служащем Астрове, о судебном заседании и о том, сколько оно ему стоило. Он о таких делах, которых случилось на его долгом веку преизрядно, никогда не вспоминал. Ну, было и было, а после – сплыло...

Вернулся домой, наконец-то отобедал и собирался уже ехать в контору, чтобы заняться делами, когда в дверь осторожно и вкрадчиво постучали. Это был Анисим.

– Зачастил ты, однако, – выговорил Естифеев, – ложку до рта донести не успел – опять на пороге!

– Извиняй, Семен Александрович, не моя воля...

– А чья?

Анисим пожал плечами.

– Ну, говори. Чего пришел-то? – поторопил его Естифеев.

– Филипп Травкин объявился. Помните приказчика? Ну, тогда еще...

– Когда – тогда? – спросил Естифеев, хотя прекрасно помнил и приказчика и все, что с ним было связано. Он никогда не вспоминал прошлое, но помнить это прошлое – всегда помнил. Спросил же для того, чтобы проверить – не скажет ли Анисим чего лишнего?

Нет, не сказал. Переступил с ноги на ногу, голову потупил, как нерадивый и ленивый ученик:

– Давно еще...

– Ладно, говори. По делу говори.

– Как вы отъехали, я к Алпатову решил заглянуть, он бинокль мне обещался продать, ловкая такая штука, на охоту ходить... Раньше предлагал, у меня денег не было, а теперь вот скопил, пошел... Захожу в дом к нему, а там Травкин сидит – как гость дорогой, за столом, чай гоняет, а старуха алпатовская прислуживает ему, потчует, как родного... Увидел меня, улыбается, зубы скалит и улыбается. Спрашивает – как хозяин твой поживает? Хорошо, говорю, поживает. Он опять скалится – поклон, говорит, передавай ему от меня. А самого Алпатова дома не было, старуха так сказала. Я развернулся и пошел. Вот, все пока...

И снова вспомнился Естифееву недавний сон – вот тебе и квашеная капуста из гроба! Если дальше таким манером пойдет, из гробов покойники начнут вставать. Ну, уж нет!

– Бери коляску, ищи Алпатова. Где хочешь ищи, хоть из-под земли вырой! И сюда вези, я ждать буду.

Вышел следом за Анисимом на крыльцо, проследил, как коляска отъехала со двора, и отправился совершать обход своего большого хозяйства, надеясь, что обычные заботы помогут привести в порядок тревожные мысли.

Ярмарка перерыва не ведала, катилась широко и вольно, плавно двигаясь к своему закрытию, чтобы через недолгое время, уже в январе, на Николу-зимнего, снова радушно распахнуть свои объятия для всех, кто пожелает побывать в Иргите, посмотреть на людей и показать самих себя.

Погода, как по заказу, установилась ясная, не очень жаркая, и деревья, прямо на глазах, все гуще и ярче одевались в зелень еще не запыленной листвы. Скользили по небу, иногда заслоняя солнце, легкие, белесые облака; по земле проскакивали быстрые летучие тени, и день после них казался еще светлее и радостней.

На выезде из Иргита все чаще можно было увидеть груженные под самую завязку возы, которые тяжело и медленно выползали из города – с ярмарки. Все, что им нужно было, хозяева этих возов купили и теперь поспешали домой, где ждали неотложные дела. И то сказать – хватит, повеселились, на чудеса поглазели, и будет теперь о чем вспомнить.

Возвращался с ярмарки и Поликарп Андреевич Гуляев со всем своим семейством. Он ничего покупного на своих возах не вез, только остаток непроданных полушубков, шапок и рукавиц, в спешке и суете рассованных по узлам. Домой собирались – как на пожар бежали. Ни бус, ни лент, ни ботиночек, о которых так мечталось, гуляевским девушкам не досталось, и поэтому они грустили, и не слышалось их веселого чириканья.

Но Поликарп Андреевич этого обстоятельства даже не замечал, довольный хотя бы тем, что удалось выбраться целыми из страшной передряги, которая выпала так неожиданно. Не испытывал он сожаления, что не весь товар удалось продать, что остался без овчины и не из чего теперь будет шить полушубки – даже мысли такой в голову не приходило. Думал он сейчас лишь об одном – поскорей бы до дома добраться, да чтоб по дороге ничего худого не приключилось.

Бежать домой сломя голову Поликарп Андреевич не сам решил, подсказал ему Филипп Травкин, когда увиделись они, совсем неожиданно, на дороге в Иргит. Казачий обоз с пленными и ранеными дотянулся до того места, где бедовый Лиходей все еще тренькал на балалайке, и пошел дальше, потому что запасного колеса не нашлось и помощи никакой оказать не могли, только посоветовали коней выпрячь из коляски, но Лиходей отмахнулся – сам знаю, что мне делать. Филипп, дремавший на мягкой траве, мигом проснулся и сразу напросился, чтобы его взяли с

собой. Устроился на той же самой телеге, на какой ехал Поликарп Андреевич, узнал его, спросил, по какой причине тот здесь оказался, и, услышав короткий рассказ, посоветовал:

– Ты, друг любезный, как до Алпатова доберешься, так сразу же грузи свои манатки и без оглядки дуй домой. Это я тебе по-дружески советую. Иначе еще в какую-нибудь историю угодишь. Там, у Алпатова, всякое теперь может случиться.

Мигом вспомнил Поликарп Андреевич разговор, нечаянно им подслушанный, вспомнил, как перепугались Алпатов со своей старухой, когда этот господин в гости к ним заявился, и поэтому даже не спросил ни о чем, ему и без расспросов ясно стало – ноги надо поскорей уносить.

Вот поэтому и собирались, как на пожар.

И сейчас еще, уже по дороге домой, подмывало Поликарпа Андреевича навязчивое желание: оглянуться назад и посмотреть – нет ли какой беды? Но он пересиливал себя и не оглядывался.

Марья Ивановна искоса бросала на супруга быстрые взгляды цепкого, внимательного глаза, чутко догадывалась, что у него сейчас на душе творится, и с разговорами не навязывалась. Живы-здоровы, и – слава Богу! И сама не хотела вспоминать, что совсем недавно, пребывая в полном отчаянии и неведении, готова была в стенку головой биться.

Так и ехали – молча, слушая лишь глухой постук конских копыт да поскрипывание тележного колеса.

Даже не остановились нигде ни разу, пока не добрались, под вечер уже, до Колыбельки. И только здесь, в родных стенах, избавился Поликарп Андреевич от терзавшей его тревоги. Вошел в родную горницу, истово перекрестился на образа, и сел, обессиленный, на широкую лавку. Слава Богу, дома!

А когда успокоился, пришел в себя и вздохнул с облегчением, потребовал от супруги домашнего пива. Марья Ивановна даже слова не уронила, выставила на стол полную корчагу и кружку, самую большую, какая в доме имелась, рядом поставила, а еще сказать изволила приятным голосом:

– Пей на здоровье, Поликарп Андреевич.

Вот ведь как жизнь устроена – заковыристо: чтобы баба без попреков мужу выпить подала, надо мужу под смертельную угрозу попасть, живым из-под этой угрозы выскользнуть, и лишь тогда будет ему почет и уважение, и полная корчага на столе с большой кружкой. Усмехнулся Поликарп Андреевич, качнул головой и налил себе первую – не скупясь.

Захмелел он, сам себе изумляясь, почти мгновенно. А когда осилил

вторую кружку, здесь же, за столом, не поднимаясь с лавки, уснул. И не чуял уже, как Марья Ивановна доставила его в боковую каморку, на топчан, не чуял, как снимала она с него сапоги и удобней укладывала на подушке, а после долго еще сидела рядом, горестно опустив голову.

А вот гуляевские девки в отличие от отца и мачехи от печали своей, что гостинцев с ярмарки не привезли, быстро избавились. Не зря говорят, что девичья беда только до порога – перешагнула и позабыла. Клавдия и Елена, выпроводив младшую Дарью, чтобы она не подслушивала, шушукались между собой, о чем-то горячо друг другу рассказывая и время от времени, прервав шушуканье, заливались вдруг громким смехом – радостным и беззаботным. Дарья, обиженная на старших сестер, походила по ограде, выглянула на улицу. Там было пусто в этот час, уже поздний, и она, закрыв калитку, вернулась. Глянула и ахнула – окно-то открыто, обе створки нараспашку. Быстренько и неслышно подбежала, залезла на завалинку и затихла. Теперь, через распахнутое окно, ей все было слышно.

И узнала она, что сестры ее старшие без памяти влюбились в каких-то братьев Морозовых, и обещались эти братья в самое ближайшее время приехать в гости. А чтобы скрыть истинную причину своего приезда, сделают вид, что прибыли они к сотнику Дуге, который на квартире в соседнем доме стоит. Много еще чего узнала Дарья – секретного, девичьего и жгуче любопытного. Узнала бы еще больше, но Марья Ивановна, выйдя из каморки, строго приказала разобрать узлы, вымыть полы в доме, да поскорее, не мешкая, потому что пора ужинать и спать ложиться.

Обыденная жизнь, сделав зигзаг, входила в ровную колею, словно полевая дорога.

Но так лишь казалось...

Полковник Голутвин молча выслушал доклад сотника Дуги, нахмурился, помолчал, кивая крупной седой головой, и велел построить пришедшую полусотню. Грузно вышел из палатки, поблагодарил казаков за службу и, обернувшись, негромко спросил у сотника:

– Кто особо отличился?

– Братья Морозовы и Афанасьев, – не раздумывая, ответил Николай.

– Пять суток отпуска Морозовым и Афанасьеву, когда вылечится. Всем отдыхать. Вы, сотник, тоже свободны, до завтра.

Голутвин направился в свою палатку, однако на полдороге остановился и нетерпеливо взмахнул рукой, подзывая к себе Николая, а, когда тот подбежал, спросил отрывисто:

– Как с ротмистром? Поладили?

– Никаких разногласий не возникало, господин полковник! – отчеканил Николай.

– Вот и хорошо, – Голутвин кивнул и скрылся в палатке.

На полевой казачий лагерь плавно опускался тихий и теплый вечер. Дымили полевые кухни, в воздухе явственно ощущался запах напевшей пшенной каши. Казаки в ожидании ужина занимались своими делами: кто штопал амуницию, кто обихаживал своего коня, а кто и просто дремал, раскинувшись на теплой траве. Братья Морозовы, собрав вокруг себя казаков из других сотен, что-то увлеченно рассказывали, размахивая руками, и нетрудно было догадаться, что рассказывают они о деле, в котором им довелось побывать и которое представлялось сейчас совсем по-иному – более трудным и опасным. И привирали братья Морозовы в своих рассказах совершенно бескорыстно, искренне уверенные теперь, что именно так и было...

«Вот балаболы, – усмехнулся Николай, проходя мимо, – врут и даже не оглядываются».

Но братья оглянулись, разом словно по команде. Оборвали на полуслове свой захватывающий рассказ и кинулись наперерез сотнику. Встали перед ним, вытянувшись в две струнки, и он невольно удивился их похожести, хотя, казалось бы, пора уже давно привыкнуть. Невысокого роста, жилистые, белобрысые и конопатые, они почти всегда улыбались, показывая крепкие плитки белокипенных зубов; кончики одинаковых усов пшеничного цвета были задорно закручены вверх, а карие, по-женски

большие глаза светились удальством и радостью. И во всем у них, в любом деле, сквозили удальство и радость. Глядя на них, похожих друг на друга, как два дерева, растущих из одного корня, Николай частенько ловил себя на мысли, что глядеть на братьев – одно удовольствие. Он и сейчас, бросив быстрый взгляд, невольно подумал – орлы!

– Николай Григорьевич, можно обратиться, не по службе... – Корней чуть вышагнул вперед и голос приглушил до шепота, – нам помощь нужна, не смогли бы пособить... Очень нужно!

– Что так приспичило? – хохотнул сотник – очень уж просительный вид был у братьев, как у ребяташек, выпрашивающих у строгого родителя долгожданный гостинчик.

– Можно и так сказать – приспичило, – вступил в разговор Иван и тоже чуть выступил вперед, – дело, Николай Григорьевич, такое получилось – сердечное.

– Да говори прямо! – перебил Корней брата. – Чего топтаться!

– Прямо и говорю. Шибко уж нам дочки поглянулись, ну, мужика этого, которого освободили. Он, когда в яме сидел, обещался, что замуж за нас отдаст, а как вылез – шиш, говорит, вам, а не дочери.

– А сами-то, Елена с Клавдией, что говорят? – Николай даже головой покачал – ну, шустры, братья Морозовы, на ходу подметки рвут.

– Они согласные, – заторопился Иван, – промеж нас все любовно, по согласию, мне Елена глянется, а ему – Клавдия.

– Не пойму, я-то при какой надобности, – удивился Николай, – я дочерьми Поликарпа Андреевича не распоряжаюсь...

– Да знаем, что не распоряжаетесь, – заторопился Корней, – помощь нам нужна. Надо с их мачехой сначала потолковать, они говорят, что она понятливая, если согласится, то и мужа напополам перепилит... Вот и просим, чтобы вы с нами сходили, для важности.

– Погоди, погоди, это вы меня в сваты назначили? – Николай удивлялся все больше.

– Нет, пока поговорить только, – заверил Иван. – Чтоб честь по чести...

В конце концов из длинного разговора выяснилось: братья решили сегодня же, в долгий ящик столь важное дело не откладывая, идти к Гуляевым, чтобы переговорить сначала с Марьей Ивановной и заручиться ее поддержкой. А для важности, как сказал Корней, просили они своего сотника, чтобы составил он им компанию и сказал в нужный момент, что братья Морозовы – казаки достойные; при дороге, в лопухах, такие, как они, не валяются, и нет у строптивного Поликарпа Андреевича никакого

иногое верное решение, кроме одного – выполнить свое обещание и отдать дочерей в надежные руки, за хороших людей...

Ну-у-у, ребята!

Вспомнил Николай строгую, пронизательную Марью Ивановну, всевидящий взгляд ее единственного глаза и засомневался – а по верному ли адресу явится он с братьями Морозовыми, не покажут ли им от ворот поворот? Но Корней с Иваном смотрели на него так просительно, что отказать им он не смог.

...Гуляевы как раз ужинали, сидели все за столом, и не хватало только хозяина, который спал тяжелым сном в каморке и во сне, видно, отзываясь на явившиеся к нему видения, время от времени сердито вскидывал руку, сжимая ее в кулак. Но кулака этого никто не видел, и гуляевские девки тихо-мирно хлебали щи из свежей крапивы, сваренные на скорую руку, а Марья Ивановна, заменяя мужа, резала широкими ломтями хлеб, и, когда стукнула дверь в сенях, она отложила половину караваея в сторону, а нож, забыв его положить на стол, держала в руке, словно собиралась обороняться.

– Доброго всем здоровья, дорогие соседи! Как говорится, хлеб да соль! – Николай радушно, как только мог, улыбался, и даже руку к груди приложил, слегка поклонившись.

– И вам того же, – отозвалась Марья Ивановна, – к столу присаживайтесь. Дарья, подай чашку!

Дарья послушно соскочила с лавки, но Николай ее остановил:

– Нет, нет, спасибо, сытый я. Мне бы, Марья Ивановна, словцом перекинуться, выйти бы нам на улицу...

– А здесь что, нельзя твое словцо молвить? – Марья Ивановна сурово прищурила глаз, словно прицеливалась, и рукой, в которой все еще нож держала, пошевелила, и даже деревянной рукояткой в столешницу пристукнула. Клавдия с Еленой быстро переглянулись, и переглядка эта от мачехи не ускользнула – все замечала, будто у нее не один, а четыре глаза имелось, по одному в каждую сторону, и все видели. Спросила: – Опять записку пересылать пришел? Да только на ярмарку мы больше уж не поедем. Другую ищи оказию.

– Дело у меня, Марья Ивановна, деликатное, и решить его только с вами можно. Наедине бы нам поговорить...

– Коли так, чего же не поговорить, – Марья Ивановна поднялась и, оставив нож на столе, степенно двинулась к порогу, успев еще обернуться и сердито зыркнуть на своих девок – будто спрашивала: опять, дурные,

неладное придумали?

В ограде у Гуляевых, недалеко от крыльца, стояла лавочка – толстая доска, прибитая к березовым чуркам. В землю ее не вкапывали, а таскали по всей ограде, когда возникала надобность. Вот на эту лавочку и присела Марья Ивановна, удобно уложив на коленях крупные руки и приготовившись слушать – чего сказать желаете, добрый молодец?

А добрый молодец, уже раскаиваясь, что согласился на уговоры братьев Морозовых, говорить начал издали, непонятно, оттягивая суть своей просьбы – очень уж неласково смотрела на него Марья Ивановна. Но уловка эта не удалась, и последовал прямой вопрос:

– Ты, парень, слюни-то не пережевывай. Чего тебе от меня надобно?

И то верно. Чего, спрашивается, слюни жевать? Николай свистнул негромко, и братья Морозовы мигом предстали возле лавочки, будто из-под земли вылупились. И тут уж много объяснять не пришлось, само собой все сказало, ясно и коротко – и про взаимную симпатию, и про обещание Поликарпа Андреевича, и про то, что женихи достойные, и просьба нижайшая, чтобы Марья Ивановна посодействовала, и супруга своего на верную дорогу направила...

Но ответить Марья Ивановна ничего не успела, она только и сделать смогла, что глянула на братьев-казачков, а на иное уже и времени у нее не хватило. Кто мог знать и угадать заранее, что проснется в своей каморке Поликарп Андреевич и захочется ему по нестерпимой малой нужде на двор выйти. Он и пойдет. А когда выйдет, остановится и замрет, своим ушам не веря, и забыв напрочь – по какой нужде он здесь оказался. Остатки хмеля из головы выдуло, будто легкий мусор порывом ветра. Стоял Поликарп Андреевич таким образом, что ни супруга его благоверная, ни братья Морозовы с сотником, увидеть его не могли – он сбоку и неслышно появился. Поэтому слова сотника до его ушей дошли, все, до единого, а вот ответа он дожидаться не стал. Кинулся под навес и выскочил оттуда наперевес с граблями – что первым под руку подвернулось, то и схватил. Грабли, беззвучно описав дугу, хряпнули по плечу Николая и тонкий черенок, громко хрустнув, переломился. Хорошо, что не зубьями в плечо угодил. Размахивая остатками черенка, Поликарп Андреевич двинулся на братьев Морозовых и только теперь подал голос:

– За моей спиной договариваетесь?! Я вам покажу небо с тряпочку! Всех перемолочу! Всем руки-ноги обломаю! И тебя достану, карга бельмастая! Женихи, мать вашу... Корнеюшка! Задеру подола, все вожжи измочалю!

Николай ловко, словно заячью петлю скинул, отскочил в сторону, и,

потирая крепко ушибленное плечо, неожиданно захохотал – не мог удержаться, глядя, как братья Морозовы испуганно пятятся, отступая от Поликарпа Андреевича, которого они могли бы заломать и обезоружить в один чих. Но, видно, понимали, что в драку с будущим тестем вступать никак не следует, тогда уж точно – всякая надежда пропадет. Защищались, подставляя руки под черенок, а скоро и вовсе дунули до калитки, и – пропали, будто растворились в синих сумерках. Поликарп Андреевич крутнулся на месте и пошел было, вздев над головой черенок, на Николая, но тот, продолжая хохотать, остановил его:

– За оскорбление офицерского чина... Знаешь, что полагается? Брось черенок!

Поликарп Андреевич послушался. Черенок бросил. Оглянулся во все стороны и скорым бегом удалился за хлев, где был нужник.

Марья Ивановна неторопливо поднялась с лавочки, отряхнула юбку, вздохнула и посоветовала Николаю:

– Ступай домой, парень; сват из тебя, как из говна иголка...

Алпатов сидел и скучал в своей лавке. Покупателей не было. Зашли почти за целый день всего лишь несколько праздных ротозеев – поглазеть, да и те ушли, не оставив ни одной копейки. Невесело. Пора и закрываться. Все равно сегодня никакой выручки ожидать не следует, хоть сиди, хоть не сиди. «Пойду-ка я, поужинаю, да лягу пораньше, выплюсь нынче вволю», – подумав так, он быстренько убрал товары с прилавка, закрыл чуланчик, а затем, выбравшись на улицу, заложил поперек двери широкую железную пластину, запихнул ее конец в толстый пробой, и запер на три оборота большой висячий замок – надежно, даже на вид, чтобы никакой лихой человек не позарился и уж тем более не взломал.

Пристроив тяжелый ключ в карман, Алпатов неторопливо, как он всегда и все делал, огляделся. Народу стало поменьше, горластые парни, торговавшие игрушками, исчезли, видно, все распродали, и без их зазывных голосов было непривычно тихо. «Вот ведь как получается, поорали-то всего-ничего, меньше недели, а уже привычно стало, теперь нету их, и как будто петухи не кукарекают... Эх, человек, человек, ко всему-то он привыкает!»

Хотя, если сказать честно, сам Алпатов к сегодняшнему своему положению привыкнуть никак не мог. Не покидало его ощущение, что живет он в последнее время с ожиданием, что его вот-вот ударят сзади по голове. С этим ощущением вставал по утрам, проживал день, и даже во сне оно его не покидало – словно под невидимым топором пребывал. И ничего поделаться не мог, будто руки связаны. А когда подумал, что в своем родном доме придется ему снова увидеть Филиппа Травкина и его волчью улыбку – стало совсем невесело, и он даже шаги замедлил, словно желал оттянуть время.

Но первым, кого увидел он, подходя к дому, был не Филипп Травкин, а совсем иной человек, которого он забоялся намного больше, чем бывшего приказчика. На козлах легкой кошевки, нетерпеливо перебирая вожжи, сидел естифеевский работник Анисим и сторожил его еще издали цепким охотничьим взглядом – от такого не убежишь и не скроешься. Алпатов от неожиданности даже остановился.

– Тихо нынче ходить стал, Арсений Кондратьич, – не поздоровавшись, укорил его Анисим, – я уже и возле лавки побывать успел, гляжу – закрыта. Сюда приехал – тебя и здесь нет. Сную, как челнок. Полезай быстренько –

хозяин велел в сей момент доставить.

Ноги у Алпатова налились тяжестью. Понимал, что не убежать, понимал и другое – ничего хорошего от Естифеева ждать ему не следует. И обреченно полез в коляску, задышал тяжело и надсадно, будто забирался на высокую гору. Анисим, не дожидаясь, когда он усядется, понужнул лошадь, и Алпатов плюхнулся на сиденье. Раскачивался на быстром ходу из стороны в сторону, поглядывал на широкую спину Анисима и тоскливо тянул одну-единственную мысль, которая билась в голове словно живчик: и за какие грехи жизнь так наказывает?!

Вот и огромный дом Естифеева. Широкие ворота наглухо закрыты. Но как только коляска к ним подкатила, они сразу же распахнулись на обе половины, и увиделось, что на крыльце, на верхней ступеньке, стоит хозяин, и смотрит острыми глазками на лопухого щенка, который переваливается на травке с боку на бок, показывая розовое брюшко. Алпатов вылез из коляски, подошел на негнущихся ногах к крыльцу, поздоровался. Ответа не услышал, потому что хозяин продолжал смотреть на щенка, а гостя своего словно и не видел.

Ничего хорошего такой прием не обещал. Алпатов топтался, переступая с ноги на ногу, задирая вверх голову, будто хотел сообщить, что вот я, здесь, прибыл, как велено было, но на него даже и взгляда не кинули. Наконец, Естифеев пошевелился, развернулся, направляясь в дом, и рукой слегка махнул, давая знак – ступай за мной.

Алпатов пошел.

В маленькой комнатке, где стояли лишь один стол и стул, Естифеев, не присаживаясь, наконец-то заговорил:

– Чего же ты, дружок, про гостя своего не рассказываешь? Кто таков, откуда явился, как на житье у тебя в дому устроился? За плату или так – по гостеприимству?

Маленькие глазки будто насквозь просверливали. И Алпатов, всегда боявшийся их, всегда вздрагивавший, когда они сверлили его, не смог и в этот раз перебороть нутряного страха, пересекавшего ему дыхание – расколослся словно перезревший и тонкокорый арбуз, до самого нутра. Все выложил как на духу. Естифеев выслушал его молча, не прервав ни одним словом, и также молча вышел из комнатки, плотно прикрыв за собой тяжелую дверь. И уже из-за двери донесся до Алпатова железный звяк запираемого засова и спокойный голос:

– Ты посиди пока тут, чтобы под ногами не путаться. Только кричать не вздумай – все равно никто не услышит.

Крепкие, степенные шаги медленно удалились, стихли. Алпатов

обессилено присел на стул и слег на столешнице, будто ему переломили поясницу. Дожился... Как в тюрьму посадили. И пожаловаться некому.

Это был последний концерт Арины Бурановой в городском театре Иргита. Публики набилось под самую завязку. Со сцены несравненную, бесконечно вызывая на «бис», не отпускали до тех пор, пока она не взмолилась:

– Родненькие, простите меня, все спела...

Поклонилась низко и торопливо ушла, потому что боялась – не упасть бы, прямо вот здесь, на сцене. Силы ее оставили едва лишь она оказалась в проходе, где и рухнула со счастливым всхлипом прямо в крепкие руки Ласточки, которая бережно обняла ее и выговорила:

– Да разве так можно?! Им дай волю, они с утра до ночи петь заставят! Как с ума рехнулись, стены раскатают... Пошли, пошли...

И повела ее, осторожно поддерживая, по узкому проходу. Следом, также безмерно уставшие, шли Благинин с Суховым и в один голос просили Ласточку, чтобы она срочно сделала им чайку.

– Обождите, не помрете, – слышалось им в ответ, – видите, Арине Васильевне совсем худо, надо с ней сначала отводиться...

Отводилась. Скоро уже, умывшись и переодевшись, Арина пила чай вместе со своими музыкантами, смеялась тихим, обессиленным голосом, вспоминая прошедший концерт, который закончился таким громадным успехом. Не удержалась и попеняла неразлучным дружкам, что те под занавес стали сильно фальшивить, но Благинин сразу же и оправдался:

– Это не беда, что сфальшивили, вот если бы у нас гитары из рук выпали, пальцы-то деревянные стали... И что за привычка, Арина Васильевна, сколько публика ни орет «бис» – поете...

Так и надорваться можно! Когда-нибудь непременно надорветесь...

– Не надорвусь, Благинин, как в деревне говорят, я жилистая. Ой, а легко-то как! Бывает же так легко! А где наш Яков Сергеевич потерялся? Почему не скажет нам благодарных слов? Ласточка, где он?

– Да вот здесь был. Его Иван Михайлович отозвал, для разговора.

Арина насторожилась. Отодвинула от себя чашку с недопитым чаем, замолчала. На двух последних концертах Петров-Мясоедов неизменно сидел в первом ряду, не хлопал, как другие, не бросал на сцену цветы, был спокоен и невозмутим, а после концертов ни разу не подошел, не появился в гостинице, словно напрочь забыл о своем обещании разобраться с бумагами, которые передала ему Арина; казалось, что стоит Иван

Михайлович далеко в стороне и оттуда, издали, наблюдает за ней, думая о чем-то своем, затаенном.

О чем?

Арина не знала ответа, и это тревожило ее все сильнее. Она даже начинала сердиться. Разве это так трудно – подойти и сказать что-то определенное: дан бумагам ход или нет? Но сердитость ее была связана не только с бумагами. Не признаваясь самой себе, Арина очень желала, чтобы Иван Михайлович был рядом. Сильная, тяжелая ладонь, которая, успокаивая, с материнской нежностью гладила ее по голове возле горы Пушистой, при одном лишь воспоминании поселяла в душе умиротворенность и спокойствие – такого чувства Арина давным-давно не испытывала. Сейчас, услышав от Ласточки, что Иван Михайлович здесь и разговаривает с Черногориным, она вдруг поймала себя на очень простой и ясной мысли: ей захотелось, чтобы он вошел в гримерную, прямо в сию минуту, не позже.

И Петров-Мясоедов вошел. Высокий, широкоплечий, спокойный. Приветливо всем улыбнулся, здороваясь, и склонился над Ариной, целуя ей руку. В проеме двери, прислонившись плечом к косяку, стоял Черногорин, смотрел невесело на все происходящее, и вид у него был слегка растерянным.

– Хотел поблагодарить вас, Арина Васильевна, за доставленное удовольствие, – заговорил Петров-Мясоедов, выпрямляясь во весь свой богатырский рост, – впрочем, это даже не удовольствие, а щедрый подарок царицы...

– Ива-а-н Михайлович, – перебила его Арина, – я и не подозревала, что вы обладаете таким красноречием, еще и льстите! Ну, какая же я царица?! Как про меня в газетке написали, я только баба от сохи. Мне ли с высокими чинами ровняться!

– Царица, – твердо, будто точку поставил, убежденно выговорил Петров-Мясоедов, а затем, приложив широкую ладонь к груди, извинительно попросил: – Я прошу прощения, уважаемые, но мне бы хотелось с Ариной Васильевной наедине переговорить. Это совсем немного времени займет и надеюсь, что ваших планов не нарушит.

Черногорин кивнул, давая знак Сухову, Благинину, Ласточке, и те, послушно выполняя его безмолвное приказание, быстренько, гуськом, друг за другом, вышли из гримерной. Последним вышагнул за порог Черногорин, успев еще бросить на Арину взгляд, в котором тоже сквозила непонятная растерянность.

– Что-то Яков Сергеевич сегодня не в своей тарелке... Вы не знаете,

Иван Михайлович, по какой причине? Вы же разговаривали с ним? – Арина пытливо смотрела на Петрова-Мясоедова, а тот, нисколько не смущаясь под ее взглядом, согласно кивнул:

– Разговаривал.

– И о чем же вы беседовали?

– Об этом чуть позже, Арина Васильевна. А теперь я хотел бы извиниться, что запоздал с выполнением обещания, которое вам давал – время потребовалось, чтобы разобраться.

– И как – разобрались?

– Разобрался. Багаев и Свицерский отправлены в Петербург вместе с бумагами якобы по служебной надобности. Обрато они вернутся уже с комиссией. Думаю, что вашему обидчику крупно разориться придется, впрочем, это дело времени, не будем вперед забегать. Таким образом, я свое обещание выполнил. Вы спрашивали, о чем я разговаривал с вашим антрепренером? Отвечаю. Я задал ему всего лишь один вопрос – свободно ли ваше сердце? И получил утвердительный ответ – да, свободно. Вы не замужем, не связаны никакими отношениями. И это обстоятельство меня чрезвычайно обрадовало. Я вас очень люблю, Арина Васильевна, вот уже два года думаю только о вас, и очень хочу, чтобы вы стали моей женой. Прошу вашей руки...

И огромный, величественный, как статуя, Петров-Мясоедов легко опустил на колено и склонил красивую седую голову.

Арина замерла.

Ей много раз объяснялись в любви, добивались ее любви, но еще никто, ни разу не просил ее руки. Растерялась, не зная, что ответить, и, растерявшись, – заплакала... Слова Петрова-Мясоедова, сказанные хоть и с волнением, но негромко и твердо, как и всегда он говорил, были столь неожиданны, будто в настешь распахнутые окна гримерной громыхнула внезапная гроза, от которой, без всяких раздумий, хотелось в страхе пригнуть голову. Прежде всего, от внезапности.

Арина голову не пригнула, она расплакалась, закрыв лицо руками. И не увидела сначала, а только почувствовала, как широкая сильная ладонь пригладила ей волосы и замерла, успокаивая, утешая и обещая защиту от любой напасти. Она перестала плакать и сказала вздрагивающим после слез голосом:

– Но мы же совсем не знаем друг друга, Иван Михайлович, мы с вами всего лишь несколько раз виделись...

– Узнаем. У нас впереди много времени. Я уже все продумал. Как мне сказал ваш антрепренер, через несколько дней вы возвращаетесь в Москву,

а я уже завтра должен следовать дальше на восток – служба. Надеюсь, что через месяц-полтора, когда вернусь, смогу получить отпуск. И тогда приеду к вам, туда, где вы будете. За ответом приеду. Я не тороплю вас, Арина Васильевна, я убежден, что торопиться нам некуда, жизнь у нас впереди будет долгая и счастливая.

Петров-Мясоедов убрал ладонь с головы Арины, наклонился и поцеловал ее в волосы, осторожно, чутко, как целуют спящих детей, чтобы они нечаянно не проснулись.

На следующий день Петров-Мясоедов уехал, и Арина, проводив его на станции, возвращалась вместе с Ласточкой в Иргит. Стоял полдень, только что прошел теплый, короткий дождь, и солнце, выскочив из-за нечаянно наплывшей на него тучки, светило ярко и весело. Лиходей, получив строгое приказание, тройку свою в бешеном беге не разгонял, не вскрикивал и не свистел, ехал степенно и важно, будто вез стеклянную посуду. Пыль, прибитая дождиком, из-под колес не поднималась, дышалось на полную грудь, и на душе царил такая благодать, такой сладкий покой охватывал, что Арина старалась даже не шевелиться, боялась, чтобы резким движением не потревожить эти чувства, столь для нее непривычные. «Может, за ухо себя ущипнуть, может, чудится, – думала она, – вот проснусь, а вместо тройки, как в сказке, тыква гнилая... Да что же я – все о печальном! Радуйся, голубушка, радуйся, сказал же Иван Михайлович, что жизнь у нас длинная будет и счастливая... Неужели будет? Да будет, Аринушка, будет, ты только сама поверь и все будет. Все!»

Она склонила голову на широкое плечо Ласточки и тихонько, едва слышно, запела, без слов, и даже не заметила, когда уснула – безмятежно уснула, крепко, как уже давным-давно не спала.

А пробудилась только в Иргите, когда уже подъезжали к «Коммерческой», где на крыльце, поджидая их, степенно прохаживался Черногорин, помахивая легкой тросточкой, которую купил утром в пассаже и с которой, похоже, еще не наигрался. Увидев тройку Лиходея, он быстро и ловко сбежал по ступенькам и замер, уткнув тросточку в бульжник, словно хотел упереться на нее, чтобы не упасть. Вид его, перегнувшегося и опирающегося на тросточку, был столь потешен, что Арина рассмеялась, а Ласточка, прикрыв рот широким рукавом кофты, отвернулась.

– И чем же я вас так рассмешил, милые дамы? – Не разгибаясь, вкрадчивым голосом поинтересовался Черногорин. – Может быть, тем, что беспокоюсь о вас и бегаю по крыльцу в ожидании словно ретивый любовник? Хороши, очень хороши, даже милы, я бы сказал, мои очаровательные дурочки! А пораньше приехать не могли?! Не могли, спрашиваю?! Где вас черти таскают?!

– Яков Сергеевич, дождик мы пережидали, – миролюбиво ответила ему Арина, – просто дождик пережидали, и никаких неприятностей за дорогу не случилось. А что задержались маленько – прости уж нас,

грешных...

Миролюбивый и даже слегка покаянный тон голоса Арины обезоружил сердитого Черногорина, и он замолчал. Разогнулся, ловко взмахнул тросточкой, крутнул ее, как заправский франт, и первым, не оглядываясь, пошел в гостиницу, но, открыв дверь, сделал вид, что запоздало вспомнил о дамах, и пропустил их вперед. Впрочем, сердитый пыл его на этот раз развеялся быстро, и в номере у Арины, когда они уже остались вдвоем, он заговорил спокойно и негромко:

– Как я понимаю, объяснение состоялось, и ответ ты дала. Когда будет свадьба?

– Яков Сергеевич, родненький, ответа я никакого не дала, и сроков свадьбы пока не назначено. Но скажу тебе честно – похоже, я влюбилась, и крепко... Ты знаешь, ты все знаешь, Яков, ты же умный человек, и поймешь... Я, как будто ребенок, под защитой, нет, пожалуй, неверно говорю...

– Не надо, Арина, не надо, ничего не говори. Главное, чтобы тебе было хорошо, а все остальное не имеет абсолютно никакого значения. Лишь бы тебе было хорошо. Тогда и мне будет радостно. Хоть я антрепренер и шулер, как утверждает несравненная Арина Буранова, но у меня тоже душа есть. Живая, между прочим, душа и очень даже нежная...

– Ладно тебе, Яков, не насмешничай...

– Полностью с тобой согласен. Давай я Ласточку позову, и мы чайку попьем, по-домашнему. Хорошего чайку!

Чай пили втроем, потому что Благинин с Суховым отказались. Они, оказывается, все еще спали, и подниматься, ленивые, не пожелали, даже ради чая.

– И как у них бока не отвалятся, – удивлялась Ласточка, – со вчерашнего вечера дрыхнут! Еще и шумят, что я их разбудила.

– Пусть спят, – милостиво разрешил Черногорин, – сон – это главное лекарство от всех болезней. Не зря же написал поэт Лермонтов – я б желал забыться и заснуть... Как там дальше? Я позабыл...

Но вспомнить, какие еще строки поэт Лермонтов написал в своем стихотворении, Яков Сергеевич не успел – в дверь негромко, но настойчиво постучали.

– Кого опять нелегкая принесла?! – возмутилась Ласточка. – Даже чаю хлебнуть не дадут, тащатся и тащатся, будто здесь медом намазано!

Притащился, как оказалось, Филипп Травкин со странной поклажей – через плечо у него перекинут был большой холщовый узел. Он легко его сбросил на пол, и узел упал почти беззвучно.

– Здравствуйте всем! Извиняйте, что без приглашения, так получается, что дело гонит неотложное, – Филипп весело огляделся и попросил: – Будьте ласковы, чайку плесните, у меня все горло пересохло, пока до гостиницы с этим грузом добрался. Весом не тяжелый, а тащить неудобно...

– И какое ты богатство в этом мешке несешь? – со смехом спросила его Арина – очень уж не подходил несуразный холщовый узел к франтовато одетому Филиппу Травкину.

– Да я и не знаю толком, какое там богатство, не заглядывал. Похоже, что тряпки какие-то... У Алпатова на постое мужик стоял, портной или скорняк, толком даже не знаю, и пришлось этому мужику по срочной надобности домой в деревню отъехать, а узел позабыли в суматохе... Вот я и прихватил, чтобы не потерялся. Глянем сейчас...

Филипп быстро и сноровисто распутал завязки на холщовом узле, распахнул его и вытащил аккуратно перемотанные чистыми тряпочками ослепительно белые кружева – даже в ярко освещенном номере, на свету, они поражали чистотой и нежностью, как первый и только что выпавший снег. А неповторимая вязь витиеватых узоров просто-напросто завораживала глаз. Арина выпорхнула из-за стола, выхватила кружева из рук Филиппа и кинулась к зеркалу. Прикладывала их себе на грудь, на плечи и лицо ее, обрамленное чистым и несказанно белым светом, словно озарялось.

– Филя, я их все себе заберу. Как хозяину деньги отдать? Подожди, подожди, на постое, говоришь, у Алпатова? А у него жена... глаз еще...

– Она самая, с бельмом. И трое девок у них. А как деньги отдать? Вот сейчас чайку попью и расскажу, как деньги отдать...

Пока Филипп пил чай, Арина все примеряла кружева, сначала на себя, а затем на Ласточку, накрывая ее широкие и могучие плечи кусками белого света. Ласточка только шумно, по-коровьи вздыхала, не в силах выразить свой восторг словами. Один лишь Черногорин на кружева даже не глянул, он смотрел на Филиппа, торопливо пившего чай, и чем дольше смотрел, тем тревожней становилось его лицо, он, видимо, сразу догадался, что неожиданный гость появился здесь совсем не для того, чтобы почаевничать и показать кружева. Совсем иная причина привела его в гостиничный номер.

Какая?

Черногорин терпеливо ждал. А Филипп, словно не замечая его вопросительного взгляда, хлебал чай. И продолжалось это до тех пор, пока Черногорин не отодвинул от него чашку:

– Передохни маленько. Говори...

– Умный вы все-таки человек, Яков Сергеевич, я и в прошлый раз говорил, что на аршин под землю видите. Ладно, в кошки-мышки играть не буду. Вы только не пугайтесь, мне главное, чтобы вы не напугались... Алпатов куда-то исчез. Как сквозь землю провалился.

– Это, который у Естифеева в пристяжных? – уточнил Черногорин.

– Он самый. Исчез бесследно, старуха ревет благим матом, ничего не знает. А я тихонько поспрашивал у соседей, мне и сказали – видели, как подъезжал к алпатовскому дому Анисим, работник естифеевский, и будто бы посадил он Алпатова в свою коляску и увез. Я говорю старухе – иди к Естифееву, спрашивай. Пошла. Вернулась ни с чем. Не видел я, сказал Семен Александрович, твоего мужа, бабка, и ступай ты отсюда с миром. И выпроводил.

– И что следует? – спросил Черногорин.

– А следует, Яков Сергеевич, простая штука, даже голову ломать не требуется. Почуял Естифеев, что жареным запахло, и бедного Алпатова где-то спрятал, чтобы тот случайно не проговорился, когда его спрашивать станут о темных делишках. И вам бы не мешало отъехать куда-нибудь на время.

– А нас о чем спрашивать будут?

– Да откуда ж мне ведомо, Яков Сергеевич?! Я в чужую голову влезать не умею. Но знаю верно – отъехать бы вам из Иргита на денек-другой, на всякий случай. А я бы за это время все и разузнал. Я и место вам подыскал – в Колыбельку. Заодно и с кружевами договоритесь. Хозяин-то их из Колыбельки. И казаки там рядом стоят... Может, и лишним такое дело будет, да оберечься никогда не мешает.

– Как же мы отъедем, – вмешалась Арина, – у нас на закрытие ярмарки еще выступление в пассаже.

– Если быть умными, – раздумчиво заговорил Черногорин, – следует нам сейчас вещички собрать и отбыть отсюда первым же поездом.

– А как же выступление? – удивилась Арина.

– Да и черт с ним, с выступлением! Я же говорю – собрать вещички и – ту-ту!

– Нет, Яков Сергеевич, уезжать нам никак не следует, да я и не поеду!

– Вот и говорю – если бы умными были... Но этим ценным талантом, Арина Васильевна, нас, увы, обнесли. Придется смириться. Решаем следующим образом: выступление у нас в воскресенье, значит, приезжаем сюда под вечер, выступаем, а утречком, как рассветет, сразу на станцию. До воскресенья проживем в этой деревне... как она называется?

– Колыбелька, – подсказал Филипп.

– Значит, проживем в Колыбельке, на кружева полюбуемся.

Арина попыталась что-то сказать, но Черногорин так сурово взглянул на нее, что она благоразумно промолчала.

Гуляевский петух был красавцем. Голову всегда держал гордо – по-царски. Алый гребень, побитый во многих драках, свисал чуть набок словно заломленная шапка ухаря-молодца, шаг медленный, величавый. Выступал он вдоль забора, строжился на кур, которые копошились в земле, и круглый глаз его горел готовностью вступить в бой со всяким, кто на смелится нарушить его хозяйские границы. Но таковых смельчаков в окрестностях не находилось, и поэтому гуляевский петух, привыкший верховодить, был немало ошарашен, когда явилось перед ним среди белого дня необыкновенное зрелище. До того необыкновенное, что он поднял одну ногу, да так и замер, не зная, что ему предпринять: то ли в бой кинуться, то ли бежать прочь сломя голову?

Зрелище и впрямь было презанятное для Колыбельки, пожалуй, и невиданное с первого дня ее основания. По деревенской улице, густо заросшей по краям молодой крапивой и еще не заматеревшими лопухами, двигалась внушительная процессия: впереди, в парадном мундире и с такой же гордой посадкой головы, как у гуляевского петуха, шел полковник Голутвин, рядом с ним, под ручку, королевой вышагивала Арина Буранова, следом, также при полном параде, как и командир, шествовали братья Морозовы, а уж за ними, в конном строю, не меньше, как с десятков казаков под командой сотника Дуги.

Бабы, раздираемые любопытством, сначала лезли в окна, едва не выламывая рамы вместе со стеклами, затем накидывали платки и стремглав, как на пожар, выскакивали на улицу, забыв закрыть двери и калитки. Следом за ними, не торопясь, выходили мужики, хмыкали, поглядывая на шествие, терпеливо ждали: чем эта катавасия закончится?

Ждал, так и не приняв верного решения, и боевой петух, продолжая стоять на одной ноге.

Голутвин и Арина подошли к воротам гуляевского дома, вошли в ограду и остановились – дальше, без приглашения хозяев, идти было неудобно. Но хозяев на крыльце даже и не маячило, хотя через неплотно закрытые занавески видно было, что в доме совершается стремительное движение.

Метался по дому Поликарп Андреевич. Шепотом, боясь выпустить на волю возмущенный свой голос, ругался, на чем свет стоит, и грозился всех домашних выпороть без разбора, а «чертовку бельмастую» порешить до

смерти. Кто, как не она, потакала девкам, не зря ведь с вечера еще шушукались, мокрохвостки! Разговоры, разговоры, вокруг да около, с ужимками бабьими, а он, старый дурак, и уши развесил! А теперь – нате вам! Сваты на пороге, да не деревенская баба-брехунья, у которой язык, как помело, а люди чужие, важные, таким и на порог-то показать... Слов не хватало Поликарпу Андреевичу, чтобы высказать все, что кипело у него на душе, потому он и ругался по-черному, благо, что для этого занятия особого краснобайства не требовалось.

– Поликарп Андреевич, ты постой маленько, я тебе рубашку под пояском заправлю, – голос у Марьи Ивановны, как медовый пряник, одна сладость, но и сквозь эту сладость острая спица торчит: – А мотню свою ты уж сам застегни, мне-то несподручно нагибаться...

Вот до чего довели, лахудры! Ширинку на штанах Поликарп Андреевич застегивал уже на ходу, потому что Марья Ивановна, поправляя ему рубаху под пояском, легонько, но настойчиво подпихивала к порогу. А там – двери открыты. Вышагнул, глядь, а в сенях двери тоже нараспашку. Вот оно и крыльцо. Не назад же бежать!

Увидев вышедших из дома хозяев, Голутвин с Ариной сдвинулись с места и пошли по примятой траве, возле крыльца остановились, поклонились, и некуда было деваться Поликарпу Андреевичу, пришлось приглашать гостей в дом.

Вошли, чинно расселись, братья Морозовы стоять остались, слегка прижались друг к другу плечами – попробуй их, сковырни. Поликарп Андреевич повел на них сердитыми глазами, и глаза его, будто чистой водой промыло. А ребята-то – ничего, ладные...

Арина, будто тем только и занималась всю жизнь, что свахой на хлеб зарабатывала, разговор повела издалека, аж с кружев его начала: и какие они красивые, и как ей понравились, и что в Москву вернется, обязательно их носить будет, и мастериц, которые эти кружева связали, добрым словом еще не раз вспомнит... Голутвин вытирал потный лоб большим платком и старался скрыть широкую улыбку, не сходявшую с его обычно сурового лица. Очень уж ему все нравилось: и само сватовство, и бравые братья Морозовы, и, чего уж таиться, и сваха тоже нравилась. Арина между тем добралась до красного товара и до купцов, которые желали бы на этот красный товар поглядеть...

Дальше уже Марья Ивановна держала ответное слово, потому что Поликарп Андреевич растерянно молчал, да изредка поглядывал на братьев, и поглядки эти становились все менее сердитыми. А Марья Ивановна, соблюдая обычай, твердила, что рано товар показывать, лета еще

не вышли, да подождать бы следовало...

Наконец-то Елену с Клавдией позвали, они вышли и встали напротив братьев Морозовых, смущенные до жгучего румянца, но глаза поблескивали.

И по новому кругу пошли длинные разговоры, без которых ни одно сватовство обойтись не может, как не может обойтись без чарки ни одна добрая гулянка.

А напротив, через улицу, в доме, где квартировал раньше Николай Дуга, сидел у раскрытого окошка Яков Сергеевич Черногорин, смотрел на все, что перед его глазами происходило, и разбирал его лишь единственный интерес: сколько еще времени красавец петух может простоять на одной ноге? Больше Якова Сергеевича ничего не интересовало. Оказавшись здесь, в Колыбельке, в совершенно новой и непривычной для него обстановке, он впал по неизвестной причине в полную меланхолию и махнул рукой на все чудачества несравненной, решив для себя, что чем бы дитя ни тешилось... лишь бы меня не трогало! И поэтому ничего не говорил и не вмешивался, когда затеяла Арина это пышное сватовство. Услышала от Дуги про горе братьев Морозовых, поговорила с гуляевскими девушками, с Марьей Ивановной и загорелась – сосватаем! Не поленилась, съездила с визитом к полковнику Голутвину, само собой разумеется, что очаровала старого служаку за четверть часа, в результате чего и появилась на деревенской улице, заросшей крапивой и лопухами, невиданная здесь доселе депутация.

– Яков Сергеевич, может, вам кваску налить? – предложила сердобольная Ласточка, у которой душа изнывала от сочувствия к тоскующему и необычно молчаливому Черногорину. – Я только что у хозяйки взяла. Хороший квасок, ядреный...

– Нет, любезная, мой пожар душевный квасом не залить.

– Может, винца тогда, если желаете, у меня и винцо припасено, целую корзину привезла...

– И винца не желаю, Ласточка.

– Тогда... Тогда чего хотите? Я все сделаю.

– Увы, того, чего я хочу, ты не сделаешь. Потому что хочу я, Ласточка моя любезная, занять маленькое-маленькое счастье: домик с садиком, в садике столик, а на столике – самовар. И еще розеточки стеклянные, с малиновым вареньем. Обязательно с малиновым! Я его терпеть не могу, но оно пахнет так изумительно! И еще, чтобы пчелка летала, тонкий такой, жужжащий звук...

Ласточка ничего не понимала, ни про домик, ни про садик, и по

простоте своей предложила поставить самовар.

Черногорин грустно рассмеялся и посоветовал:

– Ступай-ка ты, Ласточка, на общее веселье. Там, похоже, уже все свершилось, видишь, столы из дома вытаскивают. Иди, иди, а я здесь еще посижу маленько и тоже подойду.

Ласточка шумно вздохнула и ушла, оставив Якова Сергеевича одного. Он продолжал сидеть у раскрытого окошка и думал о том, что не будет у него никакого домика с садиком, ни столика с самоваром, а будут вечные и бесконечные переезды, концерты и контракты, будет и дальше суетная, пестрая жизнь, из которой он, как из глубокой колеи, никогда, похоже, не сможет выехать. И не потому, что нет возможности или средств, а потому, что он сам из нее выезжать не желает.

Петух наконец-то опустил ногу, утвердил ее на земле, размет – нул крылья и, хлопая ими, запрокинул гордую голову, огласил улицу громким и чистым криком: ку-ка-ре-куу!

От этого крика Черногорин будто проснулся. Поднялся бодро, нашел зеркальце, оглядел себя – все ли в порядке? – и вышел из дома, направляясь к гуляевской ограде, где столы были уже расставлены, застланы белыми скатертями и на них быстро стаскивали все съестные запасы, какие имелись в доме.

Просватали Елену с Клавдией.

Братья Морозовы повеселели, заулыбались и блеснули у них под рыжеватыми усами белые, чистые зубы. Добились все-таки своего – не мытьем так катаньем.

За стол полковник Голутвин разрешил сесть только сотнику Дуге, а остальные казаки, в конном строю, были отправлены в лагерь, и поехали они, исполняя приказ, уже не так браво, как некоторое время назад, а в полном огорчении – надеялись, служивые, что им тоже перепадет от столь знатного события, а не срослось...

В ограде гуляевского дома между тем разворачивалось в полную силу шумное веселье, и главной заводилой в нем была Арина.словно в чистой и прохладной воде в жаркий полдень купалась она во всем, что происходило вокруг, и радовалась искренне удавшемуся сватовству, людям, сидевшим сейчас вместе с ней за столом, и чувствовала, как переполняет ее, до внезапной и нечаянной слезы, глубинная, из самого сердца, любовь. И именно здесь, именно сейчас, вспоминался ей Иван Михайлович, словно он сидел рядом – спокойный, невозмутимый и снисходительно смотрел на все происходящее теплыми, синими глазами. Запоздало жалела о том, что не сказала ему на прощание ласковых слов. Зря не сказала...

Она встряхнула головой и весело, улыбаясь всем и сразу, оглядела застолье. Невесты и женихи, разделенные столом, не пили и не ели, а только смотрели друг на друга и взглядами вели долгий, лишь им понятный разговор. Повеселевший Поликарп Андреевич сноровисто управлялся с холодцом, Марья Ивановна, цепко окидывая глазом стол, готова была в любую минуту вскочить с лавки и кинуться в дом, если обнаружится нечаянно в угощении какая-нибудь недостача, полковник Голутвин блаженно улыбался и даже глаза прищуривал, словно кот на завалинке, Николай Дуга любовался на Арину и, похоже, никого, кроме нее, не видел, только что появившийся Черногорин скромно присел с краешку, рядом с Ласточкой, и по привычке своей разводил руками, будто расчищал перед собой пространство, а к нему уже бежала легкая на ногу Дарья и несла ложку и стеклянную рюмку... И все это было настолько родным, будто жила Арина бесконечное количество лет в Колыбельке, будто всех этих людей знала с самого раннего детства и роднее их у нее никого не имелось.

– Арина Васильевна, – почтительно обратился Голутвин, – хотел бы напомнить ваше обещание. Если память мне не изменяет, обещали вы порадовать своим пением.

– Я и не отказываюсь от своего обещания, только у меня пропажа... Ласточка, а где у нас Благинин с Суховым?

– На рыбалку они ушли, Арина Васильевна, давно еще, и до сих пор нету.

– Ну и ладно, пусть рыбачат, – легко согласилась Арина.

И запела...

Через два дня, рано утром, «труппа трупов» покидала гостеприимную Колыбельку. Все семейство Гуляевых, в полном составе, провожало гостей до самой околицы. Там, прежде, чем расцеловаться, Марья Ивановна поклонилась и поблагодарила Арину:

– Спасибо тебе, родненькая, за все спасибо. И за песни, и за душу. Светлая она у тебя.

В это самое время прибыли, чтобы попрощаться, Голутвин и Николай Дуга. Полковник долго и церемонно целовал Арине руку, говорил торжественные слова, а Николай стоял чуть в стороне и отводил взгляд, словно не желал смотреть на происходящее. Арина сама подошла к нему, опустила руки на плечи, сказала негромко:

– Прощай, Николай Григорьевич. Не забывай меня, помни, что названная сестричка у тебя есть. Будешь помнить?

Николай молча кивнул, от волнения у него даже слов не нашлось. Арина нежно притянула его к себе и расцеловала. Полковник Голутвин поправил на голове фуражку и удивленно крикнул, будто селезень на болоте.

Долго прощались, душевно, и после, когда уже отъехали далеко от околицы, Арина все оглядывалась назад и взмахивала рукой, а сердце щемило от грусти, потому что расставаться ей не хотелось.

Всю дорогу она молчала, и только уже на подъезде к Иргиту, когда замаячила с правой стороны макушка горы Пушистой, подала голос:

– Лиходей, заверни к яме, – повернулась к Черногорину, который сидел рядом, и пояснила: – Я с Глашей хочу попрощаться, завтра уже некогда будет.

– Зачем? Арина, не рви себе сердце! Оставь беднягу в покое! Не надо туда ездить! Не надо!

– Я же сказала – поехали!

Черногорин замолчал и сердито отвернулся.

Придержав коней возле крайних валунов, Лиходей остановился. Дальше, на коляске, хода уже не было. Арина спустилась на землю, пошла, почти побежала торопливым шагом, огибая замшелые валуны, а в памяти у нее громко и отчетливо словно заново наяву раздался глухой хлопок. «Глаша!» – будто искра проскочила. Арина выскочила на поляну и замерла, словно ударилась с разгона о невидимую стену.

Ямы не было.

Лежала вместо нее рыхлая, обвалившаяся земля, уже подсушенная поверху солнцем, и по земле этой медленно бродила, нарезая невидимые круги, Чернуха, оттопырив на сторону здоровое крыло и оставляя лапами на суглинке густые следы, которые сливались в непонятный рисунок. Увидев Арину, бегущую к ней, Чернуха не испугалась, только замедлила свое движение и беззвучно разинула клюв.

– Гла-а-а-ша!

Никто не отозвался на этот крик, даже Чернуха. Арина обессиленно опустила на колени и еще раз, уже совсем тихо, почти неразличимо, повторила:

– Глаша...

Она сразу поняла, что здесь случилось и что означал тот хлопок, который все слышали в памятный вечер. Но почему же она тогда не догадалась, почему?!

Чьи-то руки осторожно подняли ее с колен. Арина обернулась – Филипп. Как он здесь оказался?

– Филя... Она, она же там, под землей, осталась... Ее вырыть надо...

– Не надо, не надо ее тревожить, Арина Васильевна... Вот отпеть по православному... Я уже и за батюшкой послал, скоро должен приехать...

Они отошли чуть в сторону, присели на деревянную колоду, и долго молчали, глядя на Чернуху, которая без усталости продолжала кружить, оставляя на суглинке следы своих лап.

– Птицы, они чуткие, а вороны особенно, – тихо и раздумчиво говорил Филипп, – вот и почувяла, как земля зашевелилась, успела выскочить... Я ведь тебя не послушался, Арина Васильевна, приходил сюда, еду приносил. Да только напрасно – не признала она меня, ругалась, лопатой замахивалась... А еду выбрасывала.

– К докторам ее надо было отвезти, какая же я глупая, сразу надо было отвезти!

– Все равно бы не помогло. Я узнавал – лечили ее в скорбном доме, я и к доктору съездил, расспрашивал. Доктор ученых слов наговорил, я их и не запомнил, а напоследок по-русски, ясно высказался – не трогайте ее и не лезьте к ней. Я и не ходил до сегодняшнего дня. А сегодня вот пришел, взглянуть хотел... Что-то батюшка долго не едет, давно уже жду.

Филипп замолчал, и они продолжали сидеть на колоде, не сказав больше ни одного слова. Появился на краю поляны Черногорин, увидел обвалившуюся яму, все понял и ушел, растерянно разводя перед собой вздрагивающими руками.

Пожилой, суровый батюшка приехал не скоро. Сопровождал его совсем молоденький дьячок, у которого еще и борода не отросла – торчали на подбородке в разные стороны редкие волоски. Но пел он очень старательно, видно было, что душу вкладывает. Арина подпевала ему – «со святыми упокой» – и голос у нее дрожал и обрывался.

Закончив обряд, священник с дьячком уехали, а Филипп с Ариной, оставшись, снова сидели на колоде и молчали. Да и что они могли сказать друг другу в эти горькие минуты? Чернуха, не уставая, все ходила и ходила кругами по сухому суглинку, изредка взмахивая здоровым крылом, будто хотела взлететь.

В Иргит вернулись уже на исходе дня. По дороге Арина сказала Черногорину, как о деле решенном:

– Яков Сергеевич, ты деньги отдай мне.
– Какие деньги? – не понял Черногорин.
– Деньги, которые ты содрал с членов Ярмарочного комитета за мое выступление у Пушистой. И будь уж таким ласковым, все до копеечки отдай.

– Что-то я не совсем тебя понимаю, Арина Васильевна...
– И не трудись, чтобы понимать. Отдай деньги и все. Даже гривенника из них не желаю на себя потратить. Я их все Филиппу вручу, пусть он часовню поставит, там, возле горы, где Глаша... Понимаешь меня? И не вздумай возражать!

Черногорин возражать не стал. Когда приехали в гостиницу, он принес деньги в номер Арины и выложил их на стол:

– Вот, как ты сказала, все до копеечки...
– Филипп, заberi их, поставишь на эти деньги часовню в память о Глаше. Там, возле горы... Просьба у меня такая к тебе, не откажи... Что ты стоишь, забирай.

Действительно, Филипп стоял посреди номера, словно не решаясь подойти к столу, смотрел под ноги, на носки своих новых сапог, и молчал. Затем, что-то решив для себя, сказал:

– Их надо Никифорову передать, пусть он часовню ставит.
– А почему не ты? Что случилось, Филипп?
– Да ничего не случилось, Арина Васильевна. Не буду я здесь жить, в другие края подамся. А Никифоров – мужик честный, все сделает, как надо. Сегодня же пойду и деньги ему передам. Поставит он часовню, не беспокойтесь.

– Что-то я не совсем тебя понимаю, любезный, – вмешался Черногорин, – появляешься ты всякий раз, как снег на голову, и всякий раз

у тебя в запасе фокус новый, как у циркового... В эту, как ее, в Колыбельку-то мы зачем ездили? Проветриться? Или по другой причине нас посылал?

– Посылал, Яков Сергеевич, чтобы неприятностей каких не случилось. Вот их и не случилось. Теперь мне спокойнее.

– А что ты нового узнал? – не успокаивался Черногорин. – Обещал все разузнать.

– И нового ничего не узнал, – вздохнул Филипп, – а раз не узнал, значит, все по-старому остается. Вот и будем радоваться, что по-старому.

– Так ничего и не узнал? – еще раз уточнил Черногорин.

Словно не расслышав вопроса, Филипп сдвинулся с места, подошел к столу, взял деньги, распихал их по карманам и, отойдя к порогу, низко поклонился:

– Прощай, Арина Васильевна, не знаю, доведется ли еще свидеться. Дай Бог добра и удачи. И вы, Яков Сергеевич, прощайте, не поминайте лихом.

– Подожди, Филипп!

– Все я сказал, Арина Васильевна. А долгие проводы – лишние слезы. Прощайте.

И он торопливо, не оглядываясь, выскочил из номера, будто боялся, что за ним устроят погоню.

Черногорин закрыл за ним двери, развел руками:

– Странный какой-то...

Арина не отозвалась. Она и сама видела, что с Филиппом творится что-то непонятное, но не будешь же его догонять и расспрашивать. Да и некогда уже было – до последнего иргитского выступления в ресторане пассажира оставалось совсем мало времени. Ласточка притащила отглаженное платье, и Арина торопливо начала одеваться для выхода.

Она пела и никого перед собой не видела. Никого и ничего. Ни пышного ресторанного зала, ни ярких люстр, ни столов, ни людей, сидящих за ними и слушающих ее голос, – словно переломилось зрение и являлись перед глазами, как наяву, то улыбчивая девушка с толстой косой, перекинутой через плечо, то ворона, кругами топчущая подсохший суглинок, то растрепанные и свалявшиеся космы страшной женщины, которая когда-то была милой и ласковой Глашей.

Горе от непоправимости и неизбежности всего, что случилось и чему не смогла она помешать, ни тогда, ни теперь, захлестывало без остатка, и выход этому горю оставался лишь один – в песнях. Словно невидимые волны выхлестывались они в зал, бились в стены и в людские души и пробивали их навывлет. Скоро уже ни единого стука вилки или ножа не слышалось, ни единого шепотка, даже вездесущие и проворные официанты замерли и не шевелились, будто ноги им приколотили к полу.

Это были поминки по невинно загубленным душам, отлетевшим с грешной земли в неведомые дали и выси и, может быть, только там обретшие наконец покой и умиротворение.

Всех своих родных, которые оставили ее одну в огромном и холодном мире, оплакивала в этот вечер Арина и впервые, пожалуй, не думала о тех, кто ее слушает. Кто захочет – услышит.

И слышали ее все.

В этот раз она уходила с подмостков не по-царски, неторопливо, а быстрым и неровным шагом, не оглядываясь, желая лишь одного – поскорее оказаться в своем номере и остаться там одной, чтобы без оглядки взвыть в голос, как воют на похоронах деревенские бабы.

Но одну ее не оставили. Хлопотливая Ласточка накрыла ужин, позвала Благинина с Суховым, и они втроем пытались завести разговоры, вовлечь в них Арину, твердили наперебой о предстоящем отъезде и о том, что гастроли в Иргит оказались удачными и что теперь, по возвращении в Москву, не грех будет и отдохнуть... Даже Сухов, обычно молчаливый и редко когда ронявший лишнее слово, начал вдруг невнятно, ни к селу ни к городу, рассказывать, какого большого окуня он поймал в речке возле Колыбельки. Разговоры эти прервал Черногорин, появившись в номере с маленькой коробочкой, обтянутой синим бархатом. Положил ее перед Ариной на стол, раздумчиво, без обычного ехидства, сказал:

– Купец Чуркин прислал. Хотел лично вручить, но я отбился, сослался, что Арина Васильевна плохо себя чувствует. Посмотри, что там?

Открываясь, крышка коробки сухо щелкнула. На алом атласе лежал золотой браслет, с внешней стороны на нем была выгравирована надпись. Арина вынула браслет из коробочки, вслух прочитала:

– «Вы солнца луч, согревший нас». Это тот самый Чуркин, про которого рассказывали, что он пьяный стеклянные фужеры жует?

– Он самый. К слову сказать, трезвый и учтивый сегодня, как ангел.

– Вот, оказывается, Яков Сергеевич, каков он – купец Чуркин. Написал-то как красиво... Вы солнца луч, согревший нас... Значит, все-таки не зря я пою, Яков Сергеевич? Как ты думаешь? Не зря?

– Ты уж сама подумай, Арина Васильевна, сама и ответь. Я, как известно, не пою и не пляшу, значит, и спрашивать меня не надо.

Арина положила браслет в коробочку, и крышка, закрываясь, снова сухо щелкнула. Задумчиво глядя на нее, она долго молчала, и вдруг тихо выговорила:

– А где тот луч, который меня согреет?

– Да здесь он, Арина Васильевна, – отозвался Сухов, удивив всех до крайности – надо же, разговорился, – здесь, в полном составе собрался. Он и обогреет, вы об этом забывать никогда не должны.

– Спасибо, родненькие, спасибо. Что бы я без вас делала!

Она снова замолчала, присела на краешек стула, дотронулась пальцами до бархата коробки и устало закрыла глаза – ей хотелось снова увидеть Глашу, о которой она не забывала ни на минуту. Но вместо Глаши увиделась ей странная картина: ровная полевая дорога с накатанными колеями круто поднималась вверх, и ни одного пешего или конного на этой дороге не виделось, только клубилась серая легкая пыль и отлетала все дальше, до самого горизонта, и там, уже на излете, перекрашивалась в розовый, сверкающий цвет – он вспыхивал и манил, притягивая к себе. И вдруг потух разом, а видение бесследно исчезло. Арина испуганно открыла глаза – все сидели на своих местах, встревоженно смотрели на нее, словно ожидали – что она скажет?

А ей и сказать было нечего.

Она лишь запоздало подумала в эту минуту о том, что не зря ей увиделся розовый цвет, так внезапно погасший; не цвет это вовсе, а часть ее жизни, которая завершилась сегодня и отошла в прошлое, оставшись лишь в памяти. Не отболела, но канула.

И ничего не оставалось теперь, кроме одного – жить дальше.

...Рано утром «группа трупов» отъехала от гостиницы

«Коммерческая». Впереди – Лиходей на своей тройке, следом – еще два экипажа. Миновали Ярмарочную площадь, необычно тихую и несуетливую после окончания ярмарки, скоро выехали на проселочную дорогу и помчались по ней к станции Круглая. Арина смотрела вперед, в худую, чуть согнутую спину Лиходея, и назад ни разу не оглянулась. Черногорин о чем-то спрашивал ее, но она не слышала и не отвечала.

Они благополучно доехали до Круглой, вовремя сели в поезд, который отбыл согласно расписанию, ни минуты не задержавшись, в сторону первопрестольной Москвы.

И никто из них, даже Арина, представить себе не мог, что в Иргите, еще не закончившись, продолжала катиться своим ходом неожиданная и путаная история, участниками которой они были совсем недавно.

Мелкие камешки, весело булькая, падали в воду, оставляли после себя маленькие круги, и быстрое течение сразу же уносило их в сторону. Вода текла мутная, серая, как всегда бывает в пору половодья. Филипп смотрел на реку, бросал в нее камешки, в изобилии валявшиеся у него под ногами, и время от времени вздрагивал, передергивая плечами, будто его знобило. Сидел он здесь, на берегу Быструги, уже не первый час, устроившись на кривой старой коряге. Солнце светило ему прямо в глаза, он прищуривался, но с места, чтобы сесть удобней, не двигался. Филипп, похоже, толком и не понимал, где находится, потому что мысли его обретались далеко отсюда, словно пребывал он в низком и незаметном домике на Почтовой улице, где ротмистр Остальцов сурово смотрел на него умными, холодными глазами и строго спрашивал:

– Почему только сегодня пришел? Я тебя еще три дня назад ждал!

– Бумажку потерял, – слукавил Филипп, – и вспомнить не мог – какая улица? Вот вспомнил сегодня, и сразу к вам.

– Не ври, Травкин. Врать будешь в другом месте, а здесь – не надо. Дожидался, когда Арина Буранова из Иргита отбудет? Так? Так! И рассуждал ты следующим образом: мало ли что в голову придет этому ротмистру? Может, он гадость какую задумал? Поэтому только сегодня и явился, когда уже Буранова в поезде едет. Молодец, ничего не скажешь. Да ты присаживайся, Травкин, иначе, стоя, еще больше наврешь. Присаживайся, разговор у нас долгий будет.

Филипп терялся перед ротмистром Остальцовым, как растерялся еще там, на полевой дороге, где они с Лиходеем поджидали казачий обоз. Когда дождались, ротмистр быстро подошел к Филиппу и вручил клочок бумаги, приказав явиться завтра же по указанному адресу. И так это сказал, что ясно стало – не явишься, хуже будет. Но явился Филипп только сегодня, по той самой причине, о которой Остальцов без труда догадался. С разу видно, что такого умника и на хромой кобыле не объедешь.

А дальше пошел разговор, и был он действительно долгим. Остальцов вытянул из Филиппа все подробности: и про давнее убийство Астрова, и про суд несправедный, и про инженеров Свицерского и Багаева, и про Арину, и про Петрова-Мясоедова, и даже про Алпатову, который исчез бесследно и до сих пор не появился... До самого дна выпотрошил. Филипп вспотел, хотя в домике, где на окнах висели плотно задернутые темные

занавески, было сумрачно и прохладно.

Закончив допрос, Остальцов задумался. А когда заговорил, после продолжительного молчания, голос у него зазвучал уже не столь сурово:

– Придется тебе все, что рассказывал, еще раз повторить, в полиции. Дело-то уголовное, им полиция будет заниматься. Глядишь, к тому времени и инженеры вернутся.

– Когда это будет?! – не удержался и спросил Филипп.

– Да кто же его знает, – Остальцов поднялся из-за стола, – такие дела, Травкин, в одночасье не решаются.

– А вот мое решение. Охнуть не успел, как железные браслеты накинули.

Остальцов промолчал, сделав вид, что не услышал. И показал рукой на дверь, давая понять, что Филипп теперь свободен.

И вот сейчас он сидел на берегу Быструги, бросал в воду мелкие камешки и продолжал вздрагивать под жарким солнышком, зябко передергивая плечами. Не от озноба вздрагивал, а от простого и страшного решения, которое принял, когда вышел из низкого и незаметного домика на Почтовой улице, унося в памяти после долгого разговора только последние слова Остальцова о том, что такие дела в одночасье не решаются. Он-то, простодырый, думал, чистосердечно рассказывая ротмистру обо всем, что ему было ведомо, что тот прямо сейчас же отправится к Естифееву, чтобы арестовать его... Разбежался на вороних...

Филипп выгреб из-под ног целую пригоршню камешков, швырнул их скопом в реку и поднялся с коряги.

Все ему теперь стало ясно и просто, как жаркий и солнечный день.

Прошло не больше часа, и он уже громко стучал крепко сжатым кулаком в калитку высоких, глухих ворот перед естифеевским домом. Открыл ему Анисим. Так удивился, что даже отшагнул назад, освобождая проем калитки. Филипп вошел в ограду, коротко сказал:

– Веди к хозяину, разговор к нему имеется.

Анисим, ничего не отвечая, отшагнул еще дальше. В глазах его, обычно уверенных и наглых, светилась растерянность.

– Ты чего, Анисим, оглох, пока мы с тобой не виделись? Ясно же сказал – веди к хозяину!

– Погоди тут, доложу сначала, – голос у естифеевского работника осел и охрип.

– Докладывай, только ногами поживей шевели!

Вернулся Анисим не скоро, видно, не сразу решил Естифеев – принимать ему незваного гостя или не принимать? И все-таки решил

принять.

– Пошли, – Анисим направился в дом, поднимаясь на ступеньки высокого крыльца и часто оглядывался назад, словно проверял – идет ли Филипп следом? Тот не отставал.

Крыльцо, двери, широкий, длинный коридор, одна комната, другая, и вот, наконец, в третьей, сидит за столом Семен Александрович Естифеев. На столе – фарфоровые тарелки, сахарница, молочник, белый, тонко нарезанный хлеб. Обедал хозяин, как всегда, в полном одиночестве. Но ради такого гостя и обед отложил, только серебряную чайную ложку в руке оставил и негромко постукивал ей по столешнице.

– Не ждал меня, Семен Александрович? – весело, с порога, спросил Филипп. – А я вот явился, без приглашения.

– Ну, если явился, тогда рассказывай – какая нужда привела? – На темном и непроницаемом лице Естифеева – только уверенность и властность. Даже тени тревоги не промелькнуло.

– С глазу на глаз бы нам переговорить, Семен Александрович, лишние уши совсем не к месту для нашего разговора.

– Ух, ты! Секреты тайные излагать будешь? Ну, ладно. Ступай, Анисим. Подожди, пока мы тут покалякаем.

Анисим вышел, но нетрудно было догадаться, что он остался стоять за дверью. Филипп повернулся, резко открыл ее, и дверь громко хлопнула Анисима по лбу.

– Сказал тебе хозяин – уйди, значит, уйди! Нечего подслушивать чужие разговоры! Не для твоего ума они! Ну!

– Шибко-то не командуй, – подал голос Естифеев, – и не понуждай, не запрягал еще. Пстой там, Анисим.

– Тогда и разговора не получится, – твердо отрезал Филипп.

– Прямо беда с тобой. Раньше-то, помнится, поговорчивей был.

– Раньше, Семен Александрович, и соль была солонее, и водка слаще, а теперь – вот так!

– Ладно, пусть по-твоему будет. Иди, Анисим.

Филипп, не закрывая двери, убедился, что Анисим ушел, затем дверь осторожно закрыл и прислонился плечом к косяку.

– Проходи, Филипп Травкин, садись, – пригласил его Естифеев, – хоть и незванный, а гость, за столом должен сидеть...

– Мне и здесь хорошо, удобней тут.

– Рассказывай тогда, я уж ждать устал. Зачем пришел-то?

– А сам не догадываешься, Семен Александрович, зачем я пришел. Должок хочу отдать, должок за мной остался.

– Давай, – Естифеев протянул руку и раскрыл ладонь.

– Держи! – Филипп выдернул из кармана револьвер и в тишине зловеще щелкнул взведенный курок.

Естифеевская рука, вздрагивая, повисла в воздухе.

Чего угодно ожидал Семен Александрович от своего бывшего приказчика – угроз, ругани, крика, но только не этого – среди белого дня, в своем доме, сидит он под прицелом револьвера и маленькая дырочка ствола, направленного на него, темна и беспросветна.

Неужели выстрелит?

Рука тихо опустилась и легла на столешницу.

Все долгие годы, маясь сначала на каторге, а после на поселении, Филипп много раз запоздало ругал себя, что не хватило ему в памятную ночь решимости – пойти и застрелить Естифеева. Тогда бы по крайней мере знал – за какой грех приходится страдать. Но дал слабину и страдал безвинно. А вот Естифееву слабина неведома, потому и дожил он благополучно до преклонных годов, и может так случиться, что и нынче вывернется из крутой передрыги – ему не впервой. А Глаша осталась в яме, а косточки Василия Дыркина и Натальи давно уже лежат в земле, а его, Филиппа, молодые годы, проведенные в неволе, никто и никогда не вернет...

Но должно ведь быть на земле наказание за черные дела и помыслы?!

Обязательно должно быть!

И теперь он, Филипп Травкин, главный судья, земной и небесный. И совсем уже неважно, что будет после того, как он исполнит справедливый приговор.

Все это Филипп хотел сказать Естифееву до того, как нажать на курок. И слова заранее приготовил, но сейчас молчал и ни одного слова вымолвить был не в силах. По одной простой причине – в последний момент понял, что выстрелить в человека, даже ненавистного, не сможет.

И тогда он выстрелил в стену.

Естифеев дернулся от грохота выстрела, стул под ним пошатнулся, выскользнул, и он тяжело, в полный рост, упал на пол. Филипп задернул железную защелку на двери, шагнул на середину комнаты и еще два раза выстрелил в пол. На лице у Естифеева неожиданно прорезались глаза – круглые, вытаращенные, почти безумные.

Но Филипп на него уже не глядел. Сунул револьвер в карман, распахнул створки окна и выбрался на улицу. К воротам не пошел, сразу от дома свернул в сад, перелез через забор и скоро уже шагал, не оглядываясь, по улице.

Он уходил из Иргита, уходил навсегда, и даже не замечал и не ощущал, что по лицу у него текут злые слезы.

В комнате резко пахло сгоревшим порохом. Анисим ломился снаружи, пытаясь открыть дверь, но защелка, как и все остальное в доме, прикручена была на совесть, крепко, и дверь не под давалась, только вздрагивала от сильных рывков. Естифеев перевернулся набок, тяжело встал на карачки и лишь после этого, переведя дыхание, пошатываясь, выпрямился. Его бросало из стороны в сторону, и он никак не мог обрести самого себя – тело ему не подчинялось, словно было чужое. Едва-едва добрал до двери, трясущимися руками отдернул защелку. Анисим вломился в комнату, перекошенное лицо его было свирепым. Окажись сейчас перед ним Филипп Травкин – зубами бы загрыз. Но Филипп находился уже далеко, а в распахнутое настежь окно ощутимо тянул свежий ветерок, унося с собой пороховой запах.

– Живой, Семен Александрыч?!

Естифеев взглянул на него дикими глазами, ничего не ответил, и медленно, по-прежнему шатаясь, побрел к столу. Поднял опрокинутый стул, сел на него и откинул голову, устремив неподвижный взгляд в стену, на которой красовалась круглая дырка от пули. Анисим встал рядом, готовый выполнить любое приказание, но хозяин продолжал смотреть на след от пули и молчал, будто лишился дара речи.

– Семен Александрыч... – Анисим тронул его за плечо.

И тот наконец отозвался:

– Ступай, Алпатова сюда приведи...

Анисим исчез. Скоро вернулся, подталкивая в спину Алпатова, который испуганно озирался и пытался угадать – какую еще новую каверзу для него придумали?

Естифеев долго смотрел на него, будто на незнакомого, а затем тихо спросил:

– Что, Арсений Кондратьевич, страшно?

Алпатов пожал плечами и промолчал.

– Страшно... И мне страшно. Травкин отсюда только что ушел, в окно выпрыгнул. Пострелял маленько, вон, дырки в полу торчат, видишь. А ничего бы не случилось, Арсений Кондратьевич, если бы ты сразу сказал, что он к тебе на постой явился. И тебе бы спокойней жилось, и мне без докуки. А теперь вот одни неудобства. Да, чего сказать-то хочу... Сказать хочу так: если мы с тобой нынче не пошевелимся, то нас в ближайшие

деньки за шкурку возьмут. И тебя, и меня. Крепко ухватят, пожалуй, и не вырваться будет. Ну и наказ мой напоследок – идите сейчас с Анисимом, людей в придачу возьмите, кого надо, и без Травкина сюда не вертайтесь, а еще заодно узнайте, где инженеры эти сейчас пребывают. Да на скорую ногу все делайте, времени у нас с тобой, Арсений Кондратьевич, с гулькин нос осталось.

Естифеев говорил и с каждым новым словом менялся – лицо становилось прежним, темным и непроницаемым, брови угрюмо нависли и укрыли глубоко посаженные глаза, да и сам голос под конец зазвучал, как обычно, спокойно и весомо. Этим голосом, прежним, он и проводил Анисима с Алпатовым:

– Чего встали-то? Бегите, я вам все сказал!

Когда они ушли, Естифеев тяжело поднялся со стула, закрыл створки окна и долго смотрел на свою широкую ограду. Вспомнил, что Катерина Григорьевна с Аленой собирались сегодня в церковь, значит, их дома нет – вот и хорошо. Он никого сейчас не хотел видеть и ни о чем не хотел думать, кроме одного – надо спасти самого себя и все движимое и недвижимое, что удалось скопить, правдами и неправдами, за долгую жизнь. Представлял, глядя на ограду, свои пароходы и баржи, мельницы, ссыпки зерна, огромные клады мешков с мукой, конюшни, свинарники, птичники, представлял людей, которые работали во всем это обширном хозяйстве и полностью зависели от него, и поднималось из самой глубины души одно лишь жгучее чувство – не отдам! Костями лягу, но ни крохи из своих рук не выпущу.

А для того, чтобы не отдать, требовалось вооружиться. Нет, револьвер или ружье Семену Александровичу без надобности, он и стрелять-то из них никогда не стрелял. Он знал и умел пользоваться иным оружием, более убойным и метким. Деньги и слабость человеческая к этим деньгам – вот что выручит его и спасет. Завтра же, с утра, не откладывая, кинется он в полицию, поедет к инженерам, к черту, к дьяволу – куда угодно поедет и пойдет, но своего добьется.

Быстрым шагом Семен Александрович отошел от окна, и шаг этот тоже стал прежним – неторопливым и уверенным.

Скоро он уже спускался с большой связкой ключей в подвал. Выложенный красным кирпичом, просторный, как загон для скота, подвал хранил сумрак, прохладу и первозданную тишину – не долетало сюда, через толстую кирпичную кладку, ни одного звука.

В дальнем углу, где ровными рядами стояли высокие деревянные бочки с солониной, ягодами и грибами, почти уже пустые после долгой

зимы, стена была обшита толстыми досками, а сами доски густо утыканы гвоздями, на которых висели ковшики, сита и прочая мелочевка, предназначенная для того, чтобы удобней было доставать и черпать содержимое из бочек.

К этой стене и подошел Естифеев, постоял в раздумье и быстро, сноровисто принялся за дело: снял с гвоздя толстую выдергу, висевшую на веревке, и принялся отдирать доски, бережливо и аккуратно укладывая их в стопку. Под досками оказалась железная дверь. Он отомкнул ее большим ключом, уперся в нее обеими руками, надавил, и дверь медленно, бесшумно подалась внутрь, открывая сбоку небольшую нишу, где покоилось толстое железное колесо, металлические тросы и разного размера шестерни. Естифеев взялся за колесо, начал его крутить и шестерни зашевелились, защелкали, тросы натянулись – дверь поползла вверх, издавая тонкий, скрипящий звук. Достигла верхней точки и замерла. За дверью, в полутьме, виднелась под низкими сводами еще одна ниша, более просторная, куда можно было, согнувшись, войти. Естифеев закрепил колесо специальным крюком, зажег фонарь и вошел.

В тусклом и желтом свете внимательно огляделся. В нише имелось всего лишь две полки, на которых стояли в ряд одинаковые деревянные ящики. В них, в этих ящиках, и покоилось, до поры, до времени, главное оружие Семена Александровича Естифеева – его наличность. В ассигнациях, в золотых империалах, в серебряных рублях и во всяких штучках-дрючках с бриллиантами для бабьего украшения. Лежали, конечно, деньги у Семена Александровича и в банке, но те деньги лежали для работы – купить, оплатить, а вот эти, в подвале, представлялись ему тем самым оружием, которым он защитится от любой напасти.

Давно еще, когда начал строить дом, сделал Естифеев эту нишу и давно еще положил сюда первые деньги. Спускался он в подвал, чтобы взять часть накопленного, только по крайней необходимости, и не было еще случая, чтобы деньги не помогли.

Значит, помогут и в этот раз.

Не торопясь, он проверил все ящики, затем взял два из них, обхватив руками, как вязанку дров, нагнулся, чтобы захватить еще и фонарь, и в этот момент услышал негромкий, железный звяк. Выпрямился, поворачиваясь к маленькой нише, показалось, что там звякнуло. Шагнул ближе, чтобы глянуть, и рухнул как подрубленный лицом в каменный пол, задохнулся от невыносимой боли, которая снизу, от ног, полыхнула по всему телу, вышибая из сознания.

Когда пришел в себя, дернулся, пытаюсь освободиться от режущей

тяжести, но она придавливала его намертво. Он выворачивал голову, пытаясь увидеть маленькую нишу и понять – что там случилось? Но и этого не смог сделать, потому что снизу разглядеть нишу было нельзя.

Случилось же все, как и всегда случается в жизни, очень просто. Естифеев плохо закрепил железный крюк на колесе, и тот соскользнул. Тяжелая дверь, склепанная из толстых пластин, обрушилась вниз, вздернув тросы и крутнув шестеренки, обрушилась всей своей большой тяжестью, сначала ударив в спину и швырнув на пол, а затем придавила ноги, раздробив кости, чуть повыше коленей.

Ящички далеко отлетели, один из них раскрылся, и из него вывалились, раскинувшись веером, двадцатипятирублевые ассигнации, с которых важно и величаво смотрела царица Екатерина, сжимая в руке скипетр. Естифеев тоже смотрел на нее угасающим взглядом, мычал, не в силах переносить рвущую его боль, и чувал еще знакомый, кисловатый запах. Откуда он? И лишь окончательно теряя сознание, догадался – квашеной капустой несет. Бочка-то рядом стоит. Прокисла капуста, выбрасывать пора...

Глава пятая

«Добрый день, или вечер, многоуважаемая Арина Васильевна!

Пишет Вам и шлет свой душевный привет старинный знакомый Ваш, Никифоров Терентий Афанасьевич. В первых строках моего письма желаю я Вам крепкого здоровья и доброй удачи во всех житейских делах, а также в пении. Письмо это пишу по адресу, который дали мне господа писатели в нашем Ярмарочном листке, и потому сильно беспокоюсь, дойдет ли оно до Вас. Надеюсь на Бога, что дойдет. Хочу отчитаться перед Вами за деньги, которые передал мне Филипп Травкин. Часовенку с Божьей помощью мы возле горы Пушистой поставили, молебн, как положено, батюшки отслужили, и надеюсь, что душа бедной Глаши радуется, глядя на нашу часовенку с небес. По расходу денег составил я маленький реестрик, который и прикладываю к своему письму, а что остаточек израсходовал не на часовню, прошу простить меня, грешного, великодушно. На остаточек этот угостил я винцом плотников, которые часовню рубили, и очень они остались довольными, и слали Вам свои приветы и благодарности. А Филиппа Травкина, который мне деньги передал, я после того дня не видел, и ни разу в Иргите не встретил, только слышал слух, что уехал он из города насовсем, а куда уехал, никто не знает. Известный Вам Естифеев Семен Александрович лишился обеих ног, которые перебило ему хитрой дверью в собственном подвале, и лежит он теперь дома, без всякого движения, и, как говорят люди, потихоньку отдает Богу душу. Заставили его выплатить огромные деньги за какие-то обманы и, говорят, скоро заставят выплатить еще больше, потому что полицейские чины до сих пор к нему на дом ходят, снимают допросы и бумаги пишут. Один знающий человек сказал мне, что Естифеев, если не помрет, нищим останется, без всякого куска хлеба. А во всем остальном жизнь наша двигается хорошо, по-старому, а я уже больше не пойду на „Кормильце“, которого продали новому хозяину, и нанял тот новый хозяин молодого капитана. Еще раз шлю Вам свой привет, Арина Васильевна, пожелание здоровья и кланяюсь.

К сему Никифоров Терентий Афанасьевич».

И внизу листа – мудреная, с завитушками, подпись.

Арина несколько раз перечитала письмо, сложила лист по сгибу, мельком глянула на «реестрик», в котором все деньги и траты расписаны были до копейки, и печально улыбнулась. Милый капитан Никифоров! Сделал доброе дело, да еще и прощения просит, что малую толику денег

израсходовал на угощение плотникам...

– Низкий тебе поклон, Терентий Афанасьевич. А тебе, Филя, дай Бог удачи и счастья!

– Кто пришел-то? – Ласточка выглянула из-за портьеры в соседней комнате, удивилась: – Вы с кем разговариваете, Арина Васильевна?

– Сама с собой беседую. Да еще хорошим людям поклоны посылаю.

– Это ничего, можно другой раз и с собой поговорить, для интереса, – легко согласилась Ласточка и спросила: – Стол-то накрывать пора или подождем еще?

– Накрывай, милая, накрывай, пусть заранее все стоит.

– А если остынет?

– Тогда разогреем!

– Ну, уж нет, не дело это – остужать да разогревать, ждать да догонять. Посуду выставлю, а подавать стану, когда Иван Михайлович придут.

Ласточка еще поворчала для порядка, сердая неизвестно по какому поводу, и отошла на кухню, где она хозяйничала теперь с великим рвением. После вечных гостиничных номеров, в которых жили они все последние годы, в новой и собственной квартире Арины, которая была куплена совсем недавно, Ласточка развернулась во всю ширь своего характера: отодвинув могучей рукой всех в сторону, она собственноручно покупала и расставляла мебель, сама шила шторы и портьеры, развешивала по стенам картины, подбирала посуду, салфеточки, вазочки, тумбочки – и все это получалось у нее так красиво, так изящно, что Арина только диву давалась. А Черногорин, в первый раз оказавшись здесь в гостях, молча обошел все четыре комнаты, заглянул в столовую и на кухню, сел в удобное кресло, вытянув ноги, и развел руками:

– Вот теперь я в полной мере представляю, что подразумевается под этими словами – уютное гнездышко...

Ласточка, услышав такую похвалу, зацвела и зарделась, как молодая герань на подоконнике.

Самой Арине тоже безумно все нравилось в собственной квартире, но она никак не могла до конца поверить, что эти просторные, богато обставленные комнаты с высокими потолками и лепными ангелочками на стенах, принадлежат именно ей. У нее ведь за всю жизнь, кроме домика на Сенной улице в Иргите, никогда не было своего угла.

И вот наконец она его обрела.

Если выдавалась свободная минута, Арина подолгу стояла у окна, которое выходило на Тверскую улицу. Перед глазами открывалась милая для сердца Москва: многолюдная, спешащая, бойкая, хлебосольная,

веселая, разгульная, хитроватая и всегда – родная. Она любила первопрестольную и очень хотела, чтобы первопрестольная любила ее, Арину Буранову.

За окном весело кружился легкий снежок. Проносились рысаки, запряженные в легкие санки, медленно тянулись ломовые подводы, гимназисты, расстегнув форменные шинели, азартно резались в снежки, городской, похожий на сугроб, бдительно нес караульную службу, а мимо него, по обочине улицы, строем шли солдаты, и видно было, что пели песню, но какую – Арина не слышала. Засмотревшись, она вздрогнула от резкого и неожиданного звонка в передней и в ту же секунду, стяхнув нечаянный испуг, легким, летящим шагом устремилась на этот звонок, которого ждала еще с позавчерашнего вечера, когда принесли телеграмму, состоявшую всего из нескольких слов: «Буду в среду. Обнимаю и целую. Твой И.М. Петров-Мясоедов».

Бобровый воротник пальто Ивана Михайловича серебрился от снега и был холодным, снег под голыми руками Арины таял, скатываясь мелкими каплями, ей становилось щекотно, она смеялась звонким голосом и кольцо рук не размыкала.

– Арина, я же с улицы, студень, еще простынешь, – голос у Ивана Михайловича, как всегда, спокойный и ровный, но слышится в нем, прорывается затаенная нежность. И нежность эту не показную, но постоянную, Арина всегда чувствовала, и она волновала, кружила голову, сбивая дыхание, как и сейчас, когда Иван Михайлович, наклонившись, осторожно поцеловал ее в волосы.

Они не виделись целых три недели, потому что из-за своей службы Иван Михайлович не мог приезжать из Петербурга в Москву чаще, чем это позволяли ему обстоятельства. Поэтому всякий раз, когда он появлялся и когда утихала первая радость встречи, Арина задавала один и тот же вопрос:

– Надолго?

И всякий раз огорчалась, потому что любой срок, сколько бы дней он в себя ни вмещал, всегда казался ей до обидного крохотным.

Спросила она и сейчас, помогая Ивану Михайловичу снимать пальто и принимая от него бобровую шапку, с которой и застыла в руках, услышав ответ:

– Очень надолго, Аришенька.

Она попыталась уточнить – на неделю или на месяц? Но Иван Михайлович обнял ее, поцеловал еще раз в волосы и сказал:

– Обо всем поведаю, ничего не утаю, но только после того, как

Ласточка меня покормит. Я специально в поезде обедать не стал, чтобы ее разносолов отвеждать.

За столом Иван Михайлович шутил, хвалил Ласточку за кулинарные изыски и ел с таким аппетитом, что на носу у него, как у ребенка, выступили мелкие капельки пота.

Господи, бывают же на душе полный покой и умиротворение!

За окном все гуще, плотнее валит снег, крупные хлопья заслоняли свет в окнах, в комнатах установился полусумрак. И так уютно было сидеть в этом полусумраке, слушать родной голос и чувствовать себя абсолютно счастливой...

Ласточка между тем уже наливала чай и за чаем, словно о сущей мелочи, Иван Михайлович сообщил:

– Я подал прошение об отставке, думаю, оно будет удовлетворено, и я стану свободным человеком, не связанным никакой службой. А пока у меня имеется полный месяц отпуска, и он принадлежит только нам.

– Как? Почему в отставку?

– А потому, моя несравненная, что я разошелся в некоторых взглядах со своими сослуживцами и принял решение не обременять их своим присутствием.

– Иван Михайлович, миленький, я ничего не понимаю!

– Врать я, Аришенька, не умею, и это тебе прекрасно известно, а правду... правду говорить не хочется, боюсь, что ты рассердишься, а мне не удастся что-либо доказать. Может быть, лучше так – подал в отставку, да и дело с концом...

– Нет, Иван Михайлович, давай уж лучше всю правду выкладывай, а то непонятное получается, один туман и ничего больше!

Не торопясь, Петров-Мясоедов допил чай, отодвинул от себя блюдце с чашкой и также неторопливо закурил. Движения его, как всегда, были несуетны и размеренны. Еще и потому, что рассказывать о причинах своей отставки ему совсем не хотелось. Но деваться некуда...

И он, не вдаваясь в подробности, потому что именно подробности показали бы Арине особенно обидными, изложил, что известие о его предстоящей свадьбе с певицей Бурановой вызвало среди сослуживцев и начальствующего состава нескрываемое раздражение, о котором вслух, публично, ему и было объявлено: жениться дворянину, да еще занимающему столь высокий пост в министерстве, на крестьянской девке, пусть она даже и певица известная, – поступок, оскорбительный для окружения господина Петрова-Мясоедова. Сословные различия в империи, слава богу, еще никто не отменял и нарушать их никому не позволено,

иначе само высокое звание дворянина может быть низведено до пустого звука... Ну, случилась интрижка с певичкой, дело обычное, и все бы отнеслись с пониманием, но – свадьба?! Это уже ни в какие ворота... Впрочем, о последнем Петров-Мясоедов благоразумно промолчал.

Арина выслушала его молча. Сидела, опустив голову, и водила указательным пальцем по накрахмаленной скатерти, словно рисовала неведомые узоры. Щеки ее горели густым румянцем. Иван Михайлович смотрел на нее с нескрываемой тревогой, боялся, что вспылит сейчас несравненная, наговорит в гневе невесть что, и потребуетя немало времени, чтобы утихомирить ее и уговорить. Но она лишь тихо спросила:

– Жалеешь, Иван Михайлович? Столько неприятностей из-за меня...

– Разве счастливый человек может о чем-нибудь жалеть, Ари-шенька? Счастливый человек ни о чем не жалеет.

– А ты... Ты счастливый?

– Очень!

Он поднялся во весь свой огромный рост, обошел широкий круглый стол и положил ей на плечи широкие, сильные руки. Арина наклонила голову, прижалась щекой к его руке и замерла.

– Да, совсем забыл рассказать, – уводя разговор в сторону, заторопился Петров-Мясоедов, – я ведь незадолго до прошения об отставке пропихнул ходатайство ваших земляков. Думаю, что члены Ярмарочного комитета будут удовлетворены. Принято решение о строительстве железнодорожной ветки до Иргита, но строиться она будет на частные средства. Так что мечта о богатых государственных подрядах и большом воровстве, увы, осталась несбыточной, и думаю, что господин Естифеев очень огорчится.

– Сейчас ему не до подрядов. Наказал Бог за все дела-делишки... Письмо пришло из Иргита, если любопытно, прочитай...

Письмо Иван Михайлович прочитал и удивился:

– Что же он о казачьем сотнике ни слова не написал? Лихой сотник, и влюблен в тебя был безмерно. Как он там поживает?

– Да Никифоров его, пожалуй, и не знает, – улыбнулась Арина, вспомнив Николая Григорьевича Дугу, – а откуда тебе ведомо, что он в меня влюблен? Я, кажется, не рассказывала.

– Зачем рассказывать, когда я его глаза видел. Глаза в таких случаях лучше всяких рассказов, Арина Васильевна. Не один я на тебя смотрю, соперников у меня – море!

– Ты, оказывается, еще и ревнивец.

– А как же!

Она порывисто вскочила, пробежала крохотное расстояние, которое их

разделяло, и приникла к Ивану Михайловичу, лицом вжимаясь ему в широкую грудь.

И ничего большего ей в эту минуту не требовалось.

Ветер завывал, вскипая резкими, сильными порывами, стегал мелкой снежной крупой, от которой нельзя было отвернуться, и голос полковника Голутвина доносился неясно, глухо, будто через толстую стену:

– ... не выждав даже получения последних ответных предложений правительства нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических отношений с Россией...

Второй казачий полк в конном строю стоял на плацу и над ним буйствовал пронзительный ветер, швыряясь ледяным снегом, вскидывая лошадиные гривы и обдирая холодом лица казаков и офицеров до яркой красноты. Но никто, пожалуй, не чувствовал ни ветра, ни снега – командир полка зачитывал Высочайший манифест о войне с Японией.

В скором времени в походном порядке Второй казачий двинулся к железнодорожной станции Круглая для погрузки в вагоны и отправки на дальневосточный театр военных действий. Ветер, бесновавшийся накануне, утихомирился, взошло невысокое, но яркое солнце, и округа лежала чистая, искрящаяся – белым-бело. Хозяйничал над землей небольшой морозец, и с ночи подмерзлый снег отзывался на сотни конских копыт, на полозья саней и на колеса пушек гулким, слитным хрустом, словно медленно и не торопясь, без паузы, рвали невидимый, огромный коленкор.

Николай Дуга, привставая на стремянах, время от времени оглядывался на свою сотню, чтобы удостовериться – все ли в порядке? Сотня шла ровно, молча, глухо – ни голосов, ни смеха; даже конского ржанья не слышалось. Каждый в эти минуты, пребывая под ярким солнцем, оставался наедине со своими думами, и были они нерадостны и тревожны, ведь каждый понимал прекрасно, что едут они на войну, и еще неизвестно, как распорядится судьба, и доведется ли еще раз проехать по этой дороге в обратную сторону.

«Вот все узелки и развязались, – молча разговаривал сам с собою Николай, покачиваясь в седле и глядя на гнедую гриву своего Соколка, – вот как ловко вывернулось, пожалуй, и не придумал бы никто, чтобы так вывернуть. Придется Григорию Петровичу, если живой-здоровый вернусь, еще раз меня сватать – как бы опять до ругани не дошло, выберет какую-нибудь кралю побогаче...» Разговаривал Николай сам с собою и думал так без всякого злорадства, даже с легкой усмешкой, потому что разговоры о

предстоящей свадьбе, которую намечалось играть на Покров, потихоньку стали угасать еще летом, когда сын рассказал отцу о том, что ему довелось узнать про Семена Александровича Естифеева. Крякнул Григорий Петрович, услышав неожиданные известия, потеревил короткими пальцами седой клочок на голове, вскочил из-за стола, пробежался по горнице, из одного угла в другой и, помолчав, вынес свое решение:

– Как бы там, сын, не выплясалось, а только я своему слову хозяин – сказал, значит, сказал, и на попятную не двинусь!

И снова они в тот день поругались. Правда, отец с кулаками не подступал, а сын за шашку не хватался. Вскоре еще подоспела новость – обезножил Семен Александрович, лежит и не поднимается.

Григорий Петрович собрался и поехал проведать. О чем они беседовали с Естифеевым, до чего дотолковались, Николаю было неизвестно, но понял он из скупого пересказа матери, что свадьба не отменяется, а только откладывается. А раз откладывается, успокоился он, чего же раньше времени повода дергать... Продолжал служить, находясь на самом лучшем счету в полку, изредка загуливал со своим другом сотником Игнатовым и, загуляв, любил слушать патефон, из медной трубы которого выплескивался родной голос Арины Бурановой и волновал, встряхивал душу по-прежнему, словно слышал его всякий раз впервые. Пластинок теперь, взамен разбитой, имелось у Николая четыре штуки, и хранились они в специальном деревянном ящичке, который он сам смастерил на досуге. Ящичек и патефон ехали в обозе, и ездовому строго-настрого было наказано, чтобы берег он их пуще собственного глаза.

Про невесту свою, на которой был сосватан, Николай за полгода толком ни разу не вспомнил. Не имелось у него такой необходимости, ведь он даже имени ее не знал. Падчерица Естифеева – вот и весь расклад. И какая тут женитьба!

Впереди, будто вынырнув из снежной белизны серыми стенами зданий, показалась Круглая. На запасных путях дымили паровозы, за паровозами выстроились вагоны, в которых зияли проемы, а к проемам этим тянулись деревянные сходни, по которым предстояло заводить лошадей. Свадебные мысли Николая отсекло, будто шашкой. И теперь уже ни о чем, кроме предстоящей погрузки, он не думал.

Лошади уросили, не желая подниматься в вагоны, вздергивали головы, пятились испуганно, стоял сплошной крик, свистели плетки. Копыта глухо стучали по стылým доскам. Николай не отходил от вагонов, самолично проверяя погрузку, чтобы не случилось какой-нибудь досадной оплошки.

К вечеру погрузка была закончена, и началось прощание, потому что

на станцию приехали в большом количестве провожающие. Обнимались, плакали, крестили вслед родных и близких, которые исчезали в проемах вагонов. Николай со своими попрощался еще накануне. Григорий Петрович специально приехал с семейством в полк, потому что иного времени у него бы не нашлось – атаманские дела требовали теперь находиться в станице безотлучно. И поэтому Николай удивился, когда подбежал к нему Иван Морозов и доложил:

– Господин сотник, вас там спрашивают.

– Кто спрашивает?

– Не знаю. Корней сказал, что попрощаться кто-то приехал. Вон там стоят, возле тех саней.

Быстрым шагом Николай подошел к саням, на которые указал Иван Морозов, и споткнулся в растерянности – это еще кто пожаловал?! Стояла перед ним, закутанная в толстую огромную шаль, завязанную на спине большим узлом, тоненькая фигурка, обряженная в мужской полушубок. Шаль от мороза заиндевелила, лица почти не видно, и только светились глаза – большие, испуганные. Николай смотрел и не узнавал – что за чудо?

– Кто меня звал? Ты?

– Я, Николай Григорьевич. Я Алена, невеста ваша, мы с вами в садике у нас виделись, когда вы через забор перелезли.

Вот тебе и патрон без капсюля!

Николай от растерянности даже не нашелся, что сказать. Стоял, постукивая по голенищу сапога плеткой, молчал и не знал, что ему делать. Повернуться и уйти? Попрощаться? Пообещать? А чего обещать-то?

И он продолжал стоять, будто ноги его пристыли к утопанному снегу.

Алена сняла с правой руки большую рукавицу, сунула руку в карман полушубка и вытащила небольшой сверточек, обернутый в синюю бумагу, перевязанный крест-накрест толстой алой ниткой:

– Вот, это я сама вышила, примите на память обо мне, Николай Григорьевич. Я не знаю, как родители решат, а только невестой вашей остаюсь верной, и ждать буду, когда вернетесь. Пусть вас Господь хранит от вражьей пули, здесь еще и молитва лежит, я сама переписала, пусть она тоже охраняет.

Николай принял сверточек, замешкался, не зная, куда его сунуть, спросил:

– Ты как сюда, одна приехала?

– Одна, – кивнула Алена, – маменька ни за что бы не отпустила, а я работника нашего уговорила, он мне коня запряг, я и поехала...

– А обратно как возвращаться будешь? Ночь скоро...

– Все обратно поедут, вон сколько народу здесь, я со всеми и пристроюсь.

Из-за плотно сдвинутой шали, опущенной инеем, Николай по-прежнему не мог толком разглядеть лица Алены, видел только большие, испуганные глаза и чувствовал себя под взглядом этих глаз неловко и неуютно.

И тут подбежал запыхавшийся ординарец Голутвина:

– Господин сотник, к первому вагону! Всех офицеров срочно!

Он неловко и неумело обнял Алену, прижал к себе на мгновение и побежал, не оглядываясь, придерживая шашку, к первому вагону, где ожидал Голутвин, чтобы отдать своим офицерам последние приказания перед отправкой.

В сумерках, оглашая окрестность долгими, прощальными гудками, эшелон отошел от станции Круглая и двинулся, набирая ход, на восток.

В вагоне казаки быстро растопили железную печку, она осветилась изнутри веселым пламенем, и Николай присел возле нее, чуть приоткрыв дверцу. В мерцающем, колеблющемся свете развязал сверточек. Там оказались маленькое полотенце и два носовых платка с вышивкой по углам – красные цветочки с красными же листиками на стеблях. Николай свернул их и осторожно, стараясь не помять, положил в сумку. Большой лист бумаги был крупно исписан красивым почерком, и след черных густых чернил чуть поблескивал, отражая пламя:

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Рече Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своими осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго...»

Стучали колеса, метался по большому бумажному листу отсвет пламени и слова становились живыми, будто их произносил кто-то строгим, суровым голосом:

«...Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех Твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия».

И снова вскрикивал паровоз, заглушая колесный стук, распугивая тишину наступившей зимней ночи.

Слова были незнакомые, чужие, ни разу не слышанные, и читались на плохо напечатанной, непонятной карте с большим трудом: Ляодун, Мукден, Ляоян, Чемульпо...

– Ни прочитать толком не могу, ни выговорить, – пожаловалась Арина и отошла от стола, на котором лежала карта, принесенная Иваном Михайловичем вместе со свежими газетами.

– Боюсь заглядывать вперед и быть прорицателем, но сдается мне, что скоро эти слова Россия выучит назубок, – Иван Михайлович сложил карту по сгибам, шлепнул ей по широкой, раскрытой ладони и снова положил на стол, – это не пограничная заварушка, а настоящая, большая война, с большими потерями и с большой кровью. Нахлебаемся досыта...

– Иван Михайлович, миленький, не пугай меня, – глаза у Арины потемнели, и она боязливо потрогала указательным пальцем уголок карты, словно согнутая по сгибам бумага таила опасность.

– Да Боже упаси, Арина, и в мыслях не было, чтобы напугать. Ты же знаешь мой недостаток – о чем подумал, то и высказал. Но об этом мы сегодня говорить больше не будем – ни одного слова!

– О чем же мы будем говорить? – растерянно спросила Арина.

– Если мне будет позволено, я сегодня буду говорить только о тебе, ну и немножко, совсем немножко, о себе, – Иван Михайлович достал карманные часы, отщелкнул крышку, – Ласточка где-то запаздывает. Не оправдывает, красавица, своего имени, медленно летает, медленно!

– Лучше сразу во всем признайся, Иван Михайлович! У тебя же на лице нарисовано, что желаешь от меня что-то скрыть. Ты куда-то Ласточку отослал? Зачем?

– Ничего скрывать не буду, Арина Васильевна, наберись терпения. Нынче у нас особый день... Вот и птичка наша прилетела, года не прошло...

Иван Михайлович сунул часы в кармашек жилетки и заторопился в прихожую, где весело зазвенел звонок. Но пришла, оказывается, не Ласточка. Сначала Арина услышала незнакомый мужской голос, затем смех и скоро перед ней предстал моложавый полковник с мальчишеским румянцем на щеках, перепоясанный новенькими, еще блестящими ремнями портупеи.

– Позволь представить, Арина Васильевна, моего старинного и

задушевного друга – полковник Гридасов Сергей Александрович.

– Очень рад вас видеть, Арина Васильевна, – Гридасов щелкнул каблуками словно старательный юнкер и склонил коротко подстриженную голову с идеальным пробором, – давно являюсь вашим поклонником, и даже представить себе не мог, что окажусь свидетелем такого торжественного события...

– Простите, какого события? – перебила его Арина.

– Господин полковник, – укоризненно протянул Иван Михайлович, – не по чину вам быть таким болтливым, пока команда не поступила. Чего же вы поперед батьки...

– Виноват, – Гридасов еще раз щелкнул каблуками, – и вину свою готов искупить!

– Иван Михайлович, дорогой, объясни мне – что это значит? Что за событие?

– Я же просил, Арина Васильевна, набраться терпения. Скоро все будет ясно и понятно.

В прихожей снова зазвенел звонок. Иван Михайлович кинулся открывать, и донесся сиплый, срывающийся голос Ласточки, которая шумно оправдывалась:

– Да все я вовремя сделала и успела бы вовремя, если бы эти господа поживей собирались! Они меня задержали!

Арина, ничего не понимая, выглянула в прихожую, а там топтались, снимая пальто, и мешая друг другу, Сухов и Благинин. У самой двери, дожидаясь, когда они разденутся, стоял Черногорин и усмехался своей умной, едва заметной усмешкой. Ласточка тащила в зал круглые коробки, они выскальзывали у нее из рук, и она торопливо и суетно их перехватывала, чтобы не уронить. Дотащила до стола, бухнула на сложенную карту и газеты, облегченно выдохнула:

– Все! Все доставила, согласно списку! Ничего не позабыла!

– Да объясните же мне, что здесь происходит?! – Арина от нетерпения даже ногой в пол пристукнула.

– Еще минуту! – попросил Иван Михайлович.

Когда все вошли в зал и расселись, он взял в свои широкие ладони руку Арины и тихо, очень просто сказал:

– Милая моя, любимая Арина Васильевна... В одной из этих коробок лежит подвенечное платье. Сейчас ты переоденешься, и мы поедем венчаться. Я хочу, чтобы перед Богом мы стали мужем и женой.

Арина долго молчала, наконец выговорила дрогнувшим голосом:

– Иван Михайлович...

И осеклась.

Она поняла, догадалась внезапно, будто озарила ее неведомая вспышка, о причине столь неожиданной спешки с венчанием, ведь свадьбу они намечали совсем на другое время, на конец февраля, а до этого времени собирались еще съездить в Самарскую губернию, где у Ивана Михайловича проживала в имении его старенькая матушка. Все было так пугающе ясно, что больше она ни о чем не спрашивала, только попросила:

– Ласточка, помоги мне одеться.

Пошла в спальню неверным, спотыкающимся шагом, а у самой двери беспомощно оглянулась, словно просила заступничества, и взгляд у нее был, как у испуганного ребенка, который так и не понял – за что же его наказали, ведь он совсем не виноват?

Все, кто оставался в зале, молча потупились, и никто не произнес ни слова.

Вышла она совершенно иной – будто переродилась. В ослепительно белом платье с длинным шлейфом, украшенном на груди белой же позолоченной розой, в фате, которая невесомо лежала на русых волосах, вышла Арина, сияя ослепительной радостной улыбкой. И не наряд изменил ее столь разительно, а именно эта улыбка, словно за недолгое время, которое ушло на переодевание, подоспело новое известие, и она ему несказанно обрадовалась. Но никакого известия не было, просто Арина, глядя на себя в зеркало, на потухшее свое лицо, неожиданно подумала: «А все равно – счастье! Радуйся, хоть миг, да твой! Благодарю Бога, что не забыл. Радуйся – глядя на тебя, и Иван Михайлович не будет печалиться. Иван Михайлович, милый... Ванечка мой, ненаглядный!» Она отвернулась от зеркала, пошла к двери, улыбаясь, и, выйдя в зал, сразила всех этой улыбкой. Даже Черногорин, обычно сдержанный и насмешливый, не разводил перед собой руками, а неожиданно вскинул их в восторге, да так и замер, словно онемел.

В тишине, наступившей внезапно, отчетливо и протяжно ударили напольные часы, стоявшие в соседней комнате, и отбили начало нового часа.

Все зашумели, заговорили разом, только один Иван Михайлович, взяв Арину за руку, молчал и не отрывал от нее взгляда.

Гридасов, выглянув в окно, громко известил:

– Друзья! Прошу всех спускаться вниз. Экипажи поданы!

И полетел по Тверской улице, по зимней, заснеженной Москве свадебный поезд из трех экипажей, затрепыхались на встречном ветру яркие ленты под дугами, вразнобой подали свои голоса медные

колокольчики, и Арина, закутанная в большущую шубу, прикрыла глаза, затихла словно птенчик под сильной и надежной рукой Ивана Михайловича, который осторожно и бережно прижимал к себе невесту. Арина не видела, куда едут, не знала, где состоится венчание, даже не попыталась о чем-то спросить Ивана Михайловича, она лишь чувствовала, что ей в данную минуту все это безразлично. Иное захлестывало без остатка, одно-единственное – рядом был любимый человек, самый родной и близкий, и она проживала с ним этот краткий миг так, словно длился он столь же долго, как целая жизнь.

Кучера осадили коней, и экипажи встали. Иван Михайлович легко подхватил Арину на руки и понес. Она, не открывая глаз, слышала скрип снега, знакомые голоса, слышала даже в общем шуме, как тенькнул чуть потревоженный медный колокольчик. Тенькнул и смолк.

Поднявшись на паперть маленькой церквушки, неприметно стоявшей в узком переулке, Иван Михайлович опустил свою драгоценную ношу, снял с нее шубу, передав Ласточке, и они вошли под низкий церковный свод. Церковь была пуста. И только горящие перед иконами свечи оживляли ее небольшое, но гулкое пространство.

Из притвора вышел молодой дьячок, строго всех оглядел и строгим же голосом попросил подождать. Ждать пришлось недолго. Скоро появился батюшка в облачении, и венчание началось.

– Венчается раб Божий... – густой, раскатистый бас заполнял все пространство и уходил под самый купол. Казалось Арине, что и душа ее улетает туда же – под купол, и дальше – в зимнее небо.

Когда Иван Михайлович, наклонившись, надевал ей на палец обручальное кольцо, она увидела, что у него чуть заметно вздрагивают от волнения губы, и так это было трогательно, что она, поправив кольцо на пальце, вскинула руки и, нарушая обряд, крепко обняла своего мужа и расцеловала. Батюшка покачал головой, но ничего не сказал. А на прощание, уже после того, как венчание закончилось, он еще раз перекрестил их и, огладив большую, седую бороду, тихо благословил:

– Храни вас Бог. Ступайте и будьте счастливыми.

На улице встретил их мягкий и нежный свет угасающего дня. Узкий, заснеженный переулок с низкими, каменными домиками, с широкими, расчищенными дорожками, ведущими к ним, был залит розовыми полосами закатного солнца, и на полосы эти опускались снежинки, пронизанные таким же розовым светом. Арина остановилась и замерла. Она хотела все запомнить: и эти редкие снежинки, и розовый свет, и уютные московские домики, и маленькую словно игрушечную церковку с

голубым куполом, над которым горел золоченый крест.

Домой, на квартиру, вернулись уже в сумерках. Ласточка на скорую руку накрыла стол – без всяких изысков и излишков. Черногорин, первым поднявшись с бокалом, долго откашливался, прежде, чем начал говорить, а когда заговорил, вдруг оказалось, что голос у него прерывается. И кто бы мог подумать, что один из самых известных антрепренеров Москвы, за которым тянулась слава ушлого и удачливого пройдохи, так может волноваться. А вот поди ж ты! Волновался:

– Дорогая Арина Васильевна, уважаемый Иван Михайлович! В этот высокаторжественный день позвольте мне... – тут он сбился, хлебнул из бокала добрый глоток вина и выкрикнул: – Да что говорить! Любим мы тебя, несравненная наша! И вы, Иван Михайлович, любите ее больше жизни! Она достойна, чтобы ее так любить! – Еще одним глотком Черногорин осушил бокал до дна и тонким фальцетом огласил всю квартиру: – Го-о-рько!

Но веселились гости недолго. Вскоре быстро, как по команде, поднялись из-за стола и начали торопливо прощаться. Гридасов, стоя в прихожей, уже в шинели и в папахе, обратился с просьбой:

– Арина Васильевна, простите меня, осознаю, что поступаю неучтиво, но все-таки насмеливаюсь просить вас выступить перед моими офицерами и солдатами. Господин Черногорин говорит, что решение только за вами.

– Иван Михайлович теперь, как я понимаю, тоже ваш офицер? спросила Арина, глядя Гридасову прямо в глаза. – Скажите честно!

Гридасов смутился, опустил голову и начал поправлять папаху.

– Хорошо, можете не отвечать, Сергей Александрович. Я все поняла. А спеть... Конечно, спою...

Многое утаил и о многом не рассказал Иван Михайлович, оттягивая до последнего момента и скрывая от Арины известие о том, что отбывает на войну. Самое главное, о чем не рассказал, заключалось в том, что накануне он съездил в Санкт-Петербург якобы для того, чтобы навести справки о своем прощении. На самом деле, он написал второе прошение и добился аудиенции у министра путей сообщения.

Министр встретил его хмуро и холодно. Отложил прошение в сторону, на край стола, постучал по нему указательным пальцем, словно желал вколотить невидимые гвоздики, и спросил, не поднимая головы и не глядя на своего посетителя:

– Как я понимаю, в этот раз вы добиваетесь отставки для того, чтобы отправиться на театр военных действий. Разрешите полюбопытствовать – в качестве кого? В качестве вольноопера?^[3] Или вольного стрелка-охотника? Весьма разумно! Удивляете вы меня, Петров-Мясоедов, очень удивляете. И первым своим прошением удивили, и вторым – не менее. Так вот, никаких прошений я подписывать не буду. Вчера прочитал ваш отчет, который вы подали по итогам ревизии Китайско-восточной железной дороги и должен признаться, что все уязвимые места вы указали очень точно: укладка путей по временной схеме, нехватка специалистов и прочая... Пересказывать не буду. Резолюция следующая – направляетесь в распоряжение командира Заамурской железнодорожной бригады. Все необходимые документы уже оформлены, и вы их получите в канцелярии, вопрос с высшим командованием согласован. Надеюсь, что мне краснеть за вас не придется...

Министр поднялся из своего кресла, обогнул большой стол и остановился перед строптивым чиновником, внимательно его разглядывая. Неожиданно спросил:

– Жениться на своей певице не передумали?

– Никак нет, ваше высокопревосходительство! Не передумал.

Молча, неторопливо министр снова обогнул стол, уселся в кресло и сказал последнее, что должен был сказать:

– В Москве сейчас, насколько мне известно, находится полковник Гридасов, заканчивает формирование команды, призванных по мобилизации. Отправка в ближайшие дни. С этой командой и вы отправляйтесь. Впрочем, в канцелярии вам все скажут. Вы свободны.

Аудиенция была закончена. Петров-Мясоедов четко, по-солдатски повернулся и вышел из просторного кабинета министра путей сообщения с легким сердцем, ведь он и не ожидал, что дело его разрешится таким наилучшим образом. Еще одного чиновника для министерства, рассуждал Петров-Мясоедов, найдут без труда, а вот такой специалист, как он, на Китайско-восточной железной дороге, да еще в условиях боевых действий, будет на вес золота. Никакого самомнения и гордыни в его рассуждениях не имелось, он просто знал себе цену, ведь до службы в министерстве почти десять отдал строительству, а затем и эксплуатации железных дорог в Сибири. Не бумажки сочинял, а мерз на морозе, изнывал от жары, съедаемый гнусом, видел крушения, снежные заносы и знал беспокойную службу, как он любил иногда говорить, от шпалы до рельса, и от винтика до паровоза.

Полковника Гридасова, с которым дружны были еще с юнкерских времен, он отыскал без всякого труда, пригласил на свадьбу, которую пришлось играть, как по тревоге, и вот уже сегодня вечером сформированная команда должна была отправиться в долгий путь – на войну.

Но пока еще был полдень.

И ровно в полдень Арина с Благиным и Суховым подъехали к казармам. Иван Михайлович отправился сюда еще утром.

Все происходило быстро, спешно, и Арина, даже не успев оглядеться, невольно растерялась, когда увидела перед собой необычных зрителей. Стояли перед ней плотными шеренгами солдаты – от стены до стены. Массивные, полукруглые своды казармы нависали над ними, и она испугалась, что в малом пространстве голос не сможет зазвучать в полную силу, что затеряется он и потухнет в обильном многолюдье под низкими сводами. Но иного помещения, как сказал, извиняясь, Гридасов, в наличии не имелось, и ей ничего не оставалось делать, как согласиться.

Сбоку, почти у самого помоста, отдельной группой стояли офицеры, и среди них, выделяясь высоким ростом, Иван Михайлович. В военной форме, которая сидела на нем ловко и опрятно, он выглядел непривычно, даже казался чуть незнакомым. Но Арина не смотрела на его форму, важнее было увидеть лицо и глаза, а они оставались прежними.

«Ванечка, милый, для тебя буду петь...»

Сухов и Благин тронули гитарные струны, она запела и сразу ощутила, что голос ее даже в малом пространстве летит широко, вольно, не встречая преграды. Он парил над непокрытыми головами солдат и офицеров, уходил за толстые кирпичные стены казармы и летел к русским

деревням, затерянным в снежных равнинах, к маленьким уездным городкам, где совсем недавно отзвонили к заутрене, летел над всей огромной и холодной землей, которая уже накрыта была черной тенью предстоящих потерь и слез.

Арина пела, словно молилась.

И песни-молитвы ее были горячими и чистыми. Звучала в них лишь одна-единственная коленопреклоненная просьба – останьтесь живыми, потому что без вас, родных и любимых, мир поблекнет, лишится радости и наполнится неизбывной печалью...

Бессонная ночь, а они с Иваном Михайловичем даже глаз не сомкнули, обострила все чувства, казалось, что окружающее видится сейчас совсем по-иному – более ярко и резко.

«Ванечка, миленький...»

Как он трогательно и неумело оправдывался, пытаясь объяснить ей, что решение свое – пойти на войну, он потому скрывал до последней минуты, что не хотел ее огорчать раньше времени, а искренне желал, чтобы как можно дольше она была счастливой в эти последние дни перед разлукой... И когда говорил все это, сбиваясь и путаясь, был совсем непохожим на самого себя, словно не Иван Михайлович Петров-Мясоедов, всегда уверенный и спокойный, стоял перед ней, а нашаливший мальчишка, доказывающий, что шалость свою он совершил не по злему умыслу, а из самых добрых побуждений... Арина не выдержала, подбежала к нему и ласково, осторожно прижала ладошку к его губам:

– Не надо, Ванечка, не говори, я ведь сразу обо всем догадалась. Обманывать ты не умеешь и в следующий раз лучше не берись...

Иван Михайлович замолчал послушно, подхватил ее на руки и на руках унес в спальню.

А рано утром, когда посветлели окна, он протянул Арине тонкий конверт, видно, заранее припасенный, и прежде, чем отдать, сообщил:

– Это письмо для моей матушки. Я тебя очень прошу – выбери время, съезди к ней. Она немножко сурова характером, но думаю, что вы подружитесь. Я ничего ей подробно не писал, только послал телеграмму. А письмо ты сама передашь. Думаю, что так будет лучше. Выполнишь?

– Зачем ты спрашиваешь, Ванечка?! Конечно, выполню, и поеду в самое ближайшее время, вот отпою концерты в феврале и сразу поеду.

– Я еще вот что хотел сказать... Если со мной...

– Не смей! – Арина топнула босой ногой в ковер, и даже кулачки сжала. – Не смей! Я тебе запрещаю! Слышишь меня?! Даже думать запрещаю!

И такой она была искренней и сердитой в своем гневе, так сверкнули ее глаза, что Иван Михайлович не нашелся, что сказать, повернулся и пошел к ночному столику, где лежали у него коробка с папиросами и спички.

Сейчас он стоял неподвижно, не хлопал, как другие, после каждой песни, но чувствовался в этой монументальной неподвижности невыразимый восторг, который во всю силу проявлялся во взгляде, устремленном на сцену.

Но вот и кончился час, отведенный на концерт. Не успели еще отгреть оглушительные в тесноте казармы аплодисменты, как раздалась зычная команда:

– Выходи строиться!

И шеренга за шеренгой потекли солдатики серым ручейком, который скоро иссяк – под низкими казарменными сводами остались только офицеры. Но и они, торопливо поблагодарив Арину, очень быстро ушли, вместе с ними ушел Гридасов, и подковки его сапог простучали по каменному полу громко и скоро.

– У меня к тебе просьба, Аришенька, огромная просьба – не приезжай на вокзал. Давай сейчас здесь попрощаемся, и я тебя до экипажа провожу... Так лучше будет. Понимаешь меня, не обидишься?

– Не обижусь, Ванечка. Я все понимаю.

Она прижалась к нему, вдыхая чужой, незнакомый запах военного кителя, замерла, а затем, отстранив от себя слабым движением рук, первой направилась к выходу.

Огромная, круглая луна словно любопытная баба нахально заглядывала в узкое, высокое окно, прокладывая на полу прямые тени от рамы, и напрочь прогоняла сон своим мертвенным, холодным светом. За окном, в яблоневом саду, в этом свете четко проступали темные стволы, и ветки переплетались на снегу своими отражениями, складывая диковинный, непонятный рисунок. По краю сада расчищена была широкая дорожка, и по ней медленно двигалась высокая, чуть согнутая фигура. Лица Арина разглядеть не могла, но догадывалась, что идет по тропинке, тяжело опираясь на толстую деревянную трость, хозяйка усадьбы Василиса Федоровна Петрова-Мясоедова. Иногда она прерывала свой медленный ход и подолгу стояла, не шевелясь, опустив голову, словно пыталась что-то разглядеть на тропинке. Затем, будто востроенувшись, сердито тыкала деревянной тростью в сугроб на обочине тропинки, двигалась дальше и через десять-пятнадцать шагов снова замирала.

«Что же она, посреди ночи, одна по саду бродит? – Арина продолжала стоять у окна, и ее охватывала тревога. – Может, ей помочь нужно?» И она даже шагнула в глубину комнаты, собираясь одеться и выйти в сад, но остановилась в нерешительности: нет, пожалуй, не надо вмешиваться, еще неизвестно – нуждается ли Василиса Федоровна в помощи... С таким-то характером...

А характер матушка Ивана Михайловича проявила сразу, как только невестка перешагнула порог старинного помещичьего дома. Оглядела невестку с ног до головы, сурово сжала блеклые морщинистые губы и, выдержав длинную паузу, сказала, неожиданно высоким и молодым голосом:

– Не зря в сказках говорится, что ни Иван, то обязательно дурак. И мой умишком не разжился. Да разве можно в жены этакую красавицу брать? Он ведь у меня простой, как лапот, проворонит, и уведут жену.

Арина слушала ее в полной растерянности и не знала, что ей делать. Василиса Федоровна между тем, будто не замечая растерянности невестки, призвала горничную Любашку, молодую и резвую девицу с шальными глазами, приказала ей накормить гостью с дороги, приготовить постель и уложить спать.

– Время позднее, а разговоры говорить завтра будем, голубушка. Располагайся. Если надобность какая появится, скажи Любашке, она все

сделает.

Еще раз, заново, оглядела невестку с ног до головы и ушла, постукивая тростью в пол.

Вот так и познакомились.

Теперь Василиса Федоровна в одиночестве бродила по саду. Арина, маясь бессонницей, стояла у окна и наблюдала за ней.

Лунный свет неудержимо продолжал стекать на землю, и все было призрачно, зыбко, как во сне.

За дверью комнаты раздался шорох, следом – осторожный стук и негромкий шепот:

– Барышня, это я, Дуняшка, можно взойти, я сказать хочу...

Арина открыла дверь, и Дуняшка, оставаясь в коридоре, быстрой скороговоркой доложила:

– Я слышу, что вы не спите, вот и сказать решила... Вы не пугайтесь и сердца на Василису Федоровну не держите, она от переживаний так встретила. Получила телеграмму от Ивана Михайловича и теперь каждую ночь по саду бродит и все шепчет чего-то, шепчет, будто с кем разговаривает. Я по первости за ней выходила, мало ли чего, так она заметила и отругала, сказала, что с ума еще не сошла. Так что вы, барышня, ложитесь спать со спокойной душой, а утро вечера мудренее. Ой, побегу, вижу отсюда, что она возвращается...

Дуняшка прошуршала по коридору легким шагом и стихла. Арина закрыла дверь, повернулась к окну – на расчищенной тропинке в яблоневом саду уже никого не было. И только темные стволы и ветки по-прежнему отпечатывались на снегу непонятным рисунком.

«Давай-ка, Арина Васильевна, послушаемся умного совета и ляжем спать, а, когда проснемся, тогда и ясно станет, чего нам делать – либо здесь еще остаться, либо вещички в саквояж складывать...» Успокоившись на этой мысли, она легла в мягкий уют пуховой перины и легко, быстро уснула – как по течению уплыла.

Утром, за чаем, Василиса Федоровна первым делом спросила:

– Чай, напугалась ночью-то, на старуху глядя? Ползает по садику, клюкой в снег тычет, не иначе, как рехнулась...

– Да нет, я...

– Ты не оправдывайся, голубушка, я же не в укор тебе. А что по садику ночью хожу, так это от тоски, лягу с вечера, а меня стены съедают. Вот и брожу по тропинке туда-сюда, будто с Иваном гуляю. Он, когда маленький был, все меня на эту тропинку тянул, очень уж ему нравилось по ней ходить. А ходил так – то жука увидит, присядет, разглядывает, то палочку,

то камушек подберет, и со всеми разговаривает-лопочет... Очень уж разговаривать любил маленьким, и все удивлялся, почему ни жуки, ни палочки в ответ ему даже слова не промолвят. Он ведь один у меня, больше никого нет, так что не удивляйся, голубушка.

Последние слова она произнесла с глубоким вздохом, и показалось, что постарела еще сильнее, припухлые веки глаз покраснели, а рука, державшая фарфоровую чашку, мелко задрожала, и чай пролился на белую скатерть. Этого краткого мгновения хватило Арине, чтобы понять – нет, не разумом, а сердцем понять, что за показной суровостью Василисы Федоровны таится тоска и незащищенность старой, страдающей матери, думающей только о своем сыне, который, может быть, сейчас, в эти минуты, подвергается смертельной опасности.

– Не дай бог, что случится с ним, я во второй раз не переживу, – Василиса Федоровна со стуком поставила чашку на блюде и вздрагивающие руки уложила на коленях, – он тебе не рассказывал, как ему погибать доводилось? Ну, так я расскажу. Когда в Сибири служил, заблудились они с двумя товарищами в тайге, с дороги сбились и решили через болото идти. Пять раз тонули, пока шли, а один из товарищей занемог, так Иван его на себе нес. Вот тогда и поседел. Присылают мне телеграмму, что сын ваш пропал бесследно при исполнении служебного задания – каково такое читать? Они, оказывается, почти месяц скитались, их уже и в живых не числили. Я бы так в подробностях и не узнала, у Ивана много не выпытаешь, а товарищ его, Березницкий его фамилия, в гости заезжал однажды, наливочки моей отведал, размяк, вот и рассказал...

Арина не удержалась, вскочила со стула, порывисто подбежала к Василисе Федоровне и обняла ее, целуя в белый чепец, чувствуя, как полные плечи мелко вздрагивают от рыданий под ее руками.

Полторы недели, проведенные в имении, были для Арины столь необычны, домашни и наполнены постоянными разговорами об Иване Михайловиче, что ей порою казалось, что началась новая жизнь, в которой нет места ни тревогам, ни печалям. А сам Иван Михайлович отлучился по неотложным делам ненадолго и вот-вот прибудет. Василиса Федоровна по ночам уже не выходила в сад, теперь она сумерничала вместе с Ариной в своей маленькой комнатке, похожей на келью, и заставляла невестку петь ей песни, приговаривая с напускной грубоватостью:

– Не зря же говорят, что старый, что малый, пока не убаюкаешь, спать не будут. Ты уж, голубушка, потешь меня, спой душевное, я ведь тебя послушаю и сплю, как медведица в берлоге, сама себя не чую.

Арина пела вполголоса, радуя Василису Федоровну и саму себя. И так

хороши были эти тихие вечера, что хотелось, чтобы они продолжались, как можно дольше.

Но полторы недели закончились быстро, мелькнули как один вздох, и надо было возвращаться в Москву.

В день отъезда Василиса Федоровна держалась бодро, даже весело, и еще с утра заявила, что гостью свою дорогую поедет провожать до самой станции, а по дороге они заедут в храм и помолятся там, и свечи поставят за здоровье Ивана Михайловича, чтобы он вернулся поскорее живым и целым.

На станцию отъехали после обеда, когда дорога уже подтаяла и полозья в иных местах скользили по небольшим лужам. Солнце в зените стояло яркое, весеннее и так слепило, что глаза сами собой прищуривались. Купол деревенской церкви светился и поблескивал. Дорожка в церковной ограде вытаяла черными проплешинами до земли, и видно было, что среди серой прошлогодней травы пробиваются, зеленея едва различимо, свежие ростки. Новая жизнь вырывалась наружу прямо из-под холодного снега.

– Придержи-ка меня, голубушка, под руку, одной клюки мне уже не хватает, вторую надо заводить... – Василиса Федоровна тяжело поднялась по ступеням, передохнула перед открытой дверью и, перекрестившись, степенно вошла в церковь, прислонив тяжелую трость к стене.

Они поставили свечи и долго молились перед иконой Богородицы, и хотя молитвы у них были разные, просьба в них звучала одинаковая – о ниспослании здоровья и долгой жизни рабу Божьему Ивану.

О чем еще могли просить Пресвятую Богородицу две любящих женщины?!

Выйдя из церкви, они молчали до самой станции, не перемолвившись ни одним словом, а на станции, когда уже прощались, Василиса Федоровна крепко обняла Арину, прижала ее к себе и сказала негромко и кратко:

– Теперь у меня еще и дочь есть. Ты, голубушка, не забывай про свою матушку, подавай весточки, а еще лучше – приезжай, когда время будет. Мне теперь только и осталось – молиться да вас ждать...

С душевной печалью возвращалась Арина в Москву, но печаль эта не давила, не саднила занозой, а тихо и трепетно светилась, будто огонек свечи, и хотелось прикрыть его ладонями, оберечь, чтобы он нечаянно не потух.

За стеклом вагонного окна мелькали поляны, перелески, иногда светились в наползающих сумерках редкими огнями деревни, и все пролетало мимо, а на смену – новые перелески, новые поляны и подслеповато мигающие огни. Не отрываясь, Арина смотрела в окно,

слушала железный перестук колес и запоздало думала о том, что Василиса Федоровна ни о чем ее не расспрашивала – ни о прошлой, ни о нынешней жизни, не поинтересовалась даже, какого она рода-племени... Почему?

«Да потому, что ей совсем неважно, кто я такая, – отвечала Арина на этот вопрос, – для нее самое главное, что люблю я Ивана Михайловича, видно, душой почувствовала, что люблю, вот поэтому и не спрашивала. Ванечка... Как ты там?»

Гридасов и Петров-Мясоедов стояли перед широким столом, на котором была расстелена карта, россыпью лежали цветные карандаши и циркули. На карту они не смотрели: южная ветка Китайско-восточной железной дороги, которая упиралась в Порт-Артур, была им хорошо известна, все станции и состояние полотна они знали наизусть. Прекрасно знали и о том, что южная ветка – единственная возможность сообщения русской армии с Порт-Артуром. Эту возможность они и поддерживали, командуя особым железнодорожным отрядом, который был спешно сформирован совсем недавно. Но теперь отряду предстояло совершить иное необычное дело, пожалуй, что и невозможное. Поэтому они слушали, стараясь не пропустить ни одного слова.

Начальник военных сообщений армии говорил в абсолютной тишине, с большими паузами и во время этих пауз тяжело, шумно дышал. Голос у него был хриплый и негромкий:

– В районе Бидзево высадились японцы, вторая армия. Последний поезд, вышедший из Порт-Артура, был обстрелян. На сегодняшний день сложилась следующая ситуация: южная ветка вот-вот может быть перерезана, и тогда Порт-Артур останется без всяческого снабжения, а главное – без снарядов. Положение осложняется еще одним обстоятельством – по неточным и непроверенным сведениям японцы вышли к железной дороге, разрушили отдельные участки. Ваша задача: восстановить временное сообщение с Порт-Артуром и провести туда поезд со снарядами. Сегодня же сосредоточить отряд на станции Вафандян, оттуда произвести разведку и доложить о готовности к выполнению задачи. Очень на вас надеюсь, господа офицеры...

Когда они уже вышли на улицу и остановились словно по команде, Гридасов снял с головы фуражку и, запрокинув голову, посмотрел в небо, вздохнул:

– Начальник надеется на нас, а нам остается надеяться только на Господа Бога. Ты, Иван Михайлович, хорошо понимаешь, что нам предстоит? Поезд со снарядами... Шальная пуля, шальной осколок – и мы уже сидим с тобой вон на том облачке, и добрые ангелы беседуют с нами о грехах наших тяжких, а мы запоздало сожалеем, что натворили их слишком много.

– Раньше смерти помирать не следует, – Иван Михайлович тоже снял

фуражку и запрокинул голову в небо, по которому весело и скоро скользили прозрачные перистые облака, – да и не собираюсь я помирать, я Арине Васильевне честное слово давал, что обязательно живым останусь.

– Жаль, что я никому такого слова не дал. Ну что – пошли?

– Пошли.

И они быстрым, широким шагом двинулись к станции, откуда глухо доносились гудки маневрового паровоза.

Старая, еще мальчишеская, юнкерская дружба Петрова-Мясоедова и Гридасова здесь, на войне, проявилась с новой силой. В последние годы они встречались редко, переписывались от случая к случаю, и сейчас, когда судьба неожиданно свела их вместе так близко, они с радостью убедились, что товарищеские чувства, которые их связывали, нисколько не поблекли. Поэтому и совместную службу, несмотря на то, что Гридасов был назначен командиром особого отряда, а Петров-Мясоедов его заместителем, они тянули дружно, в одной упряжке, а если спорили, только по делу, чутко прислушиваясь друг к другу – опыт у них, у обоих, имелся немаленький, и прислушиваться, понимали они, просто необходимо.

Вот и в этот раз, долго не рассуждая, приняли решение – со станции Вафандян выдвинуться вперед и произвести разведку, чтобы иметь достоверные данные. В разведку на паровозе с двумя платформами ушел Гридасов, а Петров-Мясоедов принялся формировать эшелон.

На рассвете к станции подошли два поезда со снарядами. От самого Петербурга их сопровождали несколько артиллерийских офицеров. Оставить свой груз они отказались.

– Мы уж, господин подполковник, до самого Порт-Артура свои снаряды доставим, – говорил пожилой штабс-капитан, помаргивая воспаленными глазами, – согласно приказу.

Спорить Иван Михайлович не стал, только удивленно, про себя подумал: «Да, широка Россия-матушка, это сколько же времени они тащились из Петербурга?»

И только тут заметил, что форма штабс-капитана тщательно отглажена, сапоги вычищены до зеркального блеска, звездочки на погонах и пуговицы искрятся.

Тщательно словно на парад были одеты и другие офицеры, как перед боем, из которого едва ли удастся выйти живыми. Иван Михайлович молча выругал себя. Занятый всю ночь делами и суетой, не догадался привести свою форму в полный порядок, но времени на чистку и глажение уже не оставалось, и он махнул рукой, заметив еще, что рукав кителя измазан в угольной саже. Теперь уже не до внешнего вида...

– Иван Михайлович, – Гридасов, только что вернувшийся из разведки, был отчаянно весел и говорил громко, так, чтобы рядом стоящие офицеры слышали: – Сообщил по телеграфу прямо начальнику военных сообщений, что если проводка снарядного эшелона будет разрешена, я лично гарантирую, что при неблагоприятном развитии событий ни одно колесо от поезда японцам не достанется. Разрешение получено. В десять часов – отправление. Теперь, господа, прошу внимания...

Ровно в десять часов эшелон тронулся и ушел со станции.

Впереди пробирался рекогносцировочный паровоз. Офицеру пограничной стражи, который на нем находился, была поставлена краткая и простая задача: двигаться в двух-трех верстах от основного эшелона, если обнаружит разрушение дороги, подает сигнал – шесть свистков, и ждет восстановительную команду.

Основной эшелон шел на тяге двух паровозов, за ними – две блиндированные^[4] платформы, на каждой из которых расположились в тревожном ожидании по полуроте пехотинцев. За платформами следовали тридцать вагонов со снарядами и в каждом вагоне, мысленно попрощавшись с родными, да и с жизнью, сидел солдат, готовый в любой момент поджечь бикфордов шнур специального заряда. Таким образом, по замыслу Петрова-Мясоедова, весь эшелон был заминирован, и в случае неудачного развития событий взлетит на воздух. Вот уж, действительно, и целого колеса не останется.

Шли со скоростью примерно двадцать верст в час.

На первом паровозе находился Гридасов, на втором – Петров-Мясоедов. И это тоже заранее было оговорено, чтобы в случае чьей-либо гибели отряд не остался без командования. При себе, для связи, Иван Михайлович оставил только поручика Останина, иначе в тесной кабине, где работали еще машинист и кочегар, было бы не повернуться.

Медленно проплывали мимо невысокие сопки, редкие рощи, иногда вдалеке виделись низкие китайские фанзы. Чем дальше продвигались, тем чаще встречались поваленные телеграфные столбы с оборванными проводами. Кто здесь успел похозяйничать? Японцы, хунхузы^[5] или китайцы из ближайших деревень утащили провода для своих надобностей? Иван Михайлович не выпускал бинокля из рук, внимательно вглядывался в ближайшие сопки, но никакого движения там пока, слава богу, не наблюдалось.

Маньчжурии и на русском Дальнем Востоке.

Поручик Останин, тоже не выпуская из рук бинокля, стоял у другого

окна, и Иван Михайлович, мельком глянув, заметил, что правая нога у него вздрагивает и стучается коленом в стенку кабины; чистое, выглаженное галифе размазывает угольную копоть. Он хотел окликнуть поручика, сказать ему ободряющие слова, но передумал. Что тут скажешь? Не бояться в такой ситуации может только дурак, а нормальный человек всегда боится, храбрость в том и заключается, чтобы свой страх перебороть. Переборет его и поручик Останин.

Показалась станция Пуландян. Даже без бинокля было видно, что несколько зданий сожжены, в остальных выбиты двери и окна, раскачиваются под ветром обрывки проводов. Рекогносцировочный поезд остановился, и шесть пронзительных гудков прорезали воздух. Иван Михайлович быстро спустился с паровоза на землю и успел еще ощутить ладонями, что поручни на солнце нагрелись.

Сразу за станцией путь оказался разрушен. Правда, шпалы остались на месте, растащили только рельсы. Иван Михайлович быстро расставил по местам восстановительную команду, и работа закипела. В это время из-за ближних строений, над которыми еще курился дым недавнего пожара, показались трое китайцев. Грязные, с выбритыми впереди лбами и с длинными косами, свисающими с затылков, они смотрели боязливо, но потихоньку приближались и, подойдя, быстро заговорили, перебивая друг друга и повторяя одно и то же:

– Капетана шанго! Капетана шанго!

Иван Михайлович знал, что шанго – это хорошо, а капетана – обычное обращение китайцев к русским военным. Думал, что они станут просить еды или денег, как это частенько бывало, но китайцы, не прерывая своей быстрой речи, по очереди взмахивали руками и показывали на восток, где между двух небольших и тесно стоящих сопок, рассекая их, проходила узкая дорога. Иван Михайлович никак не мог их понять, пока один из китайцев не вскинул руки и не показал жеста, будто стреляет из ружья, а другой, вспомнив, видно, слово, выговорил:

– Япона, япона...

Теперь и без переводчика было ясно, что китайцы хотели предупредить: где-то там, за сопками, находятся японцы. Иван Михайлович быстро оглянулся – работы оставалось еще на час, не меньше.

И что прикажете делать?

А к нему тем временем уже бежал поручик Останин, и бинокль, висевший у него на груди, болтался из стороны в сторону. Подбежал и выпалил на одном дыхании:

– Господин подполковник! Пыль видно, похоже, японская пехота... Я

полковнику Гридасову доложил, он вас к себе требует.

Лицо у Гридасова было серым от пота и угольной пыли, и зубы, когда он улыбался, поблескивали ярче, чем обычно.

– Что, Иван Михайлович, похоже, жарко становится. Сколько тебе еще времени нужно?

– Час, не меньше.

– Много, много, Иван Михайлович, очень много. Они минут через сорок между сопок появятся, выкатят одну поганую пушку... Понимаешь? Какое будет предложение?

– У меня есть предложение, господин полковник. Разрешите? – поручик Останин выступил из-за спины Петрова-Мясоедова.

– Слушаю.

– Пугнуть их надо.

– Каким образом?

– Три-четыре прицельных выстрела, и колонна встанет. Не двинутся, пока не произведут разведку. Мне бы еще одного охотника, чтобы на вторую сопку... Только, чтобы бегал хорошо, как я...

– Берите любого! – мгновенно решил Гридасов. – Иван Михайлович, все от тебя зависит, поторопи...

Счет шел, в самом прямом смысле, на минуты, будто невидимые часы звонко отщелкивали их, и они летели над паровозами, над вагонами, доверху набитыми смертоносным грузом, над людьми, которые пытались обогнать эти минуты, чтобы остаться живыми, чтобы тела их не разнесло в клочья от жуткого взрыва – вздыбиться под самое небо он мог в любой момент.

Длинные тяжелые рельсы таскали бегом, кувалды вскидывались с такой скоростью, что рябило в глазах, заливаемых едучим потом. Скорей, скорей – и никто не чувствовал ни тяжести, ни усталости, никто не оглядывался на сопки, из-за которых вот-вот могли появиться японцы.

К сопкам между тем быстро приближались две фигурки, на глазах становясь все меньше и меньше, будто растворялись в прозрачном весеннем воздухе. Вот они одновременно достигли плоских макушек, упали и совсем растворились. Гридасов, не выпуская бинокля из рук, всматривался в дорогу и чутким слухом смог различить среди посвистов ветра и стука кувалд, которыми забивали железные костыли, глухо хлопнувшие выстрелы. Значит, японцы на подходе. Он посмотрел вперед и не поверил своим глазам – рельсы лежали, как им и положено лежать, на шпалах, и уходили, не разрываясь, двумя ровными строчками – вперед, к мутному, пыльному горизонту.

К паровозу бежал Иван Михайлович, пытался что-то на бегу крикнуть, но Гридасов, не дожидаясь его, скомандовал:

– Тронулись!

Рекогносцировочный паровоз медленно словно на ощупь заполз на восстановленное полотно и пошел, пошел, набирая ход. Следом за ним тронулся и эшелон, в который запрыгивали на ходу, забрасывая инструмент на блиндированные платформы, солдаты восстановительной команды. На ходу, ухватившись за поручни, заскочил в кабину второго паровоза Иван Михайлович, вздрагивающими от напряжения руками поднял бинокль и увидел – на плоских макушках сопок суетились, передвигались маленькие фигурки, и было их очень много.

– Царство Небесное поручику, – вздохнул машинист и тяжело перекрестился черной от угольной сажи рукой, – совсем молоденький...

– Кто еще с ним пошел? – спросил Иван Михайлович.

– Не знаю, господин подполковник. Похоже, солдатик следом за поручиком бежал, да я толком разглядеть не успел.

«Вот как бывает, – думал Иван Михайлович, – сначала страх, даже ноги трясутся, а следом – храбрость безумная. И все один человек. В других условиях полжизни бы понадобилось... Вот какая она, война». И он опустил бинокль, потому что сопки уже скрылись за краем паровозной кабины.

– Я вот так запал держу, а руки судорогой свело, одно только думаю – как я его поджигать буду? Мне и пальцы не разогнуть. И, знаете, братцы, вот вам крест, ни капли не вру, взял, да и заругался на женушку на свою. И собачу ее, и собачу, и такая ты, и разэтакая, и ребятишки вечно грязные, и в доме не прибрано, и нравом вся ваша родова лопухая, ни украсть, ни покараулить, а теща и вовсе – голова змеиная! И, знаете, братцы, так я распалился, так раскричался, что самого себя обрел. И руки отошли, гибаться стали, и в глазах прояснило – прямо воин хоть куда стал.

– А если бабу ругать не за что? Тогда как?

– Да и мою женушку ругать не за что, она у меня – золото. И чистюля, и ребятишки обихожены, хорошо, что не слышала, чего я кричал. Осерчала бы, наверное.

– А теща тебя сковородником бы обиходила, вот уж точно – не промахнулась бы!

Последние слова покрыл дружный смех.

Иван Михайлович остановился, не дойдя нескольких шагов до костра, вокруг которого тесно сидели солдаты, и один из них, по фамилии Аникеев, рассказывал, как нетрудно было догадаться, о проводке эшелона со снарядами в Порт-Артур, куда удалось проскочить по самой гибельной кромке, а затем, на паровозе и двух платформах вернуться обратно. Когда вернулись, узнали – южная ветка перерезана японцами в трех местах, сразу же после того, как пронесся паровоз с платформами. И где-то там, на плоских макушках сопок, остались поручик Останин и молодой солдат со странной фамилией Чемчупкин, по своей охоте побежавший следом за командиром.

Всего два с небольшим месяца прошло с того памятного дня, а казалось сейчас, что все случилось давным-давно, что минула уже целая жизнь, и в новой реальности война стала обыденностью; вид страданий и смерти, которая, не отставая, ходила по пятам словно привязанная, примелькался и не обдавал душу ужасом.

Привычная, надоевшая уже картина стояла перед глазами: горели костры, мутно маячили в темноте китайские фанзы, покинутые своими жителями, ржали и всхрапывали кони, поблескивали штыки часовых возле артиллерийских орудий, и весь этот огромный шевелящийся лагерь должен был еще пополниться за ночь, а утром, как только забрезжит рассвет,

тронуться с места и уходить – армия отступала к Мукдену. Отступала с обозами, с артиллерией – будто людская река текла вдоль железнодорожного полотна, по которому уже прошли два последних поезда с ранеными. Но всех забрать эти поезда не смогли, и часть раненых маялась сейчас в узких китайских повозках, между которых ходили, не зная покоя, санитары и сестры милосердия.

Возле одного из костров негромко зазвучала песня. Вел ее молодой, красивый голос, и от того, что он был молодым и чистым, песня пронзала еще сильнее и жалостливей:

Ах, зачем нас забрили в солдаты,
Угоняют на Дальний Восток?
Неужели я в том виноватый,
Что я вырос на лишний вершок?
Оторвет мне иль ноги, иль руки,
На носилках меня унесут.
И за все эти страшные муки
Крест Георгия мне поднесут...

Песня эта появилась совсем недавно, от офицеров требовали ее запрещать, чтобы не сказывалась она на боевом духе нижних чинов, но Иван Михайлович никогда этого не исполнял, рассуждая очень просто: если требует душа, пусть поют. На храбрости, когда она потребуется, грустные песни совсем не сказываются. Он повернулся и пошел прочь от костра, направляясь к фанзе, где собирался подремать хотя бы несколько часов до рассвета. Но возле фанзы его остановили два солдата:

– Господин подполковник, вы не ходите в эту развалюху, там так воняет, аж нутро выворачивает. Мы здесь вам постелили, полог повесили и бурку положили, завернуться можно.

Из каких-то досок солдаты соорудили помост, над ним натянули тряпичный полог, вот и ночлег готов. Иван Михайлович забрался на помост, завернулся в бурку и со счастливым вздохом вытянул ноги, которые налились за долгий день железной тяжестью.

«Отбываю ко сну, милая Арина Васильевна, и докладываю, что день прошел вполне сносно, что сам я живой, здоровье у меня отменное, настроение бодрое, и единственное, что огорчает – редкое прибытие почты с твоими письмами. Я без этих писем сильно скучаю и радуюсь безумно, когда они приходят, читаю и будто слышу твой ангельский голос, который я

готов слушать до бесконечности. Еще я хочу сказать, Арина Васильевна, что я очень тебя люблю и что...»

И уснул Иван Михайлович, совершив словно молитву свой обряд, который он совершал каждый день: как бы ни устал, как бы ни уморился, прежде, чем провалиться в тяжелый сон, всегда разговаривал с Ариной, и разговор этот складывался легко и свободно, не так, как на бумаге, когда писал письма. Жаль только, что засыпал он частенько, не успев сказать всех слов, какие хотелось сказать.

Пробудился он на рассвете под нудным, сеющим дождиком. Срезаемый порывами ветра, дождик полосами шатался над землей и щедро сыпался на людей, на повозки, на орудия, на лошадей, пронизывая все, что ему поддавалось, мерзкой мокретью.

– Аникеев! – едва только проснувшись и еще полностью не разлепив глаза, позвал Иван Михайлович, и когда тот подбежал, первым делом спросил: – Заряды?!

– В полном порядке, господин подполковник, не извольте беспокоиться. Укрыты, запечатаны, не отсыреют.

– Смотри, Аникеев, головой отвечаешь.

Лагерь уже поднялся, шевелился, шумел и скоро тронулся с места, оставляя после себя темные, влажно поблескивающие пятна кострищ, кровяные бинты, тряпки и подчистую разрушенные фанзы, которые сиротливо смотрели на тусклое дождливое утро выбитыми окнами. Мокрая дорога измочалена была колеями от колес и размешана сотнями ног.

Скоро и она опустела.

Перестал сеять дождь, ветер стих и неисчислимыми роями поднялись мухи. Казалось, что эти надоедливые, противные твари заполонили весь мир. Лезли в уши, в ноздри, и даже спокойного, уравновешенного человека могли привести в бешенство. Иван Михайлович давно усвоил нехитрое правило: смириться и не обращать на них никакого внимания. Он не отмахивался от них, не ругался, и мухи, как ни странно, почти не досаждали ему.

Теперь начиналась опасная работа, и требовала она полного спокойствия. В первую очередь заминировали небольшой мост, перекинутый через узкую и мелкую речушку с топкими берегами, дальше – железнодорожное полотно и караульное строение из камня, в котором раньше находилась охрана. Возле строения стоял высокий шест, обмотанный сеном, на нем висела бутылка с нефтью, которую можно было запалить в любую минуту, чтобы столб целиком вспыхнул, извещая о нападении хунгузов. Теперь столб и бутылка с нефтью были без

надобности, и сгорят они при взрыве, как спичка, но никто уже не кинется на выручку, да, пожалуй, и внимания не обратят при суете и неразберихе отступления.

– Все готово, господин подполковник, – доложил расторопный Аникеев, – взрываем?

Иван Михайлович повернулся к мосту, уже готовый отдать приказ, и замер – невооруженным глазом видно было, что по расхлюпанной дороге, раскидывая ошметки грязи, несется небольшой конный отряд, человек десять, а за ним, накатываясь словно волна, – плотная конная лава. Иван Михайлович схватил бинокль. И сразу понял, что уходят от погони казаки, а преследуют их японские драгуны.

– Аникеев, рванешь, когда наши проскочат! Понял?!

– Так точно, господин подполковник, да только...

– Выполняй приказ!

Расстояние между казаками и японскими драгунами быстро сокращалось, видно, уставшие казачьи лошади теряли последние силы. Ясно было, что сейчас все зависит от Аникеева, от его точности. Если японские драгуны прорвутся на полном скаку через мост...

– Вперед! Занять оборону! – Ничего иного, понимал Иван Михайлович, он сейчас сделать больше не мог. И жиденькая цепь его солдат, оскальзываясь в грязи, побежала к мосту.

Приближаясь, казаки и японские драгуны выростали в размерах, расстояние между ними становилось все меньше и меньше. Иван Михайлович плашмя упал на землю, хриплым, сразу осевшим голосом выкрикнул:

– Приготовиться!

Глухо заклацали винтовочные затворы.

Казачьи кони пролетели по мосту, а взрыва не было.

Следом за ними плотным строем перемахнули на другой берег японские драгуны, скакавшие впереди, остальные сгрудились на мосту тесной массой, стали медленно продвигаться, и в этот момент взошло, закрывая небо, ярко-желтое пламя, а следом раздался грохот, и земля вздрогнула. Глаза невольно зажмурились; когда Иван Михайлович снова их распахнул, он увидел, что казаки, повернув коней, отчаянно рубятся с драгунами, проскочившими через мост. Драгун было раза в три больше. Холодно взблескивали клинки. Кони и люди смешались в одну сплошную кашу. Стрелять прицельно было невозможно, но казаков требовалось выручать. Иван Михайлович вскочил, обляпанный грязью, закричал что-то, совсем непонятное и неразборчивое, но солдаты прекрасно его поняли и

кинулись в штыковую атаку, пешие – против конных. Били с колена, вонзали штыки в людские и лошадиные тела, с иными упавшими всадниками схватывались в рукопашную, и мгновенно покрывались жидкой грязью, которая красила всех подряд, без разбора, в один и тот же цвет.

Иван Михайлович спокойно и хладнокровно стрелял из револьвера, снял с коней двух драгун, и все оглядывался назад – ждал других взрывов. И вот наконец снова возшло ярко-желтое пламя, разметывая полотно дороги и караульное строение, земля вздрогнула, мгновенно ушла из-под ног, разверзлась, и он полетел в бесконечную глубокую яму, налитую до краев непроницаемой чернотой, в которой лишь изредка взблескивали яркие искры.

Не увидел он и позднее уже не чувствовал, как малорослый, но стремительный и злой японец, упавший с лошади и тут же упруго вскочивший на ноги, ударил его сзади клинком по голове, обрушил на землю и рубил, рубил большое тело, взвизгивая от собственного страха и ужаса, пока его самого не проткнули насквозь штыком.

...Сознание возвращалось медленно, урывками. Иван Михайлович слышал противный скрип, чьи-то неясные голоса, но звуки быстро исчезали, и опять продолжался долгий полет в сплошной темноте, разрываемой искрами. Так повторялось несколько раз. Ощущение времени исчезло. Снова очнувшись на короткое время, он услышал, что противный скрип прекратился, а голоса зазвучали ясно и различимо:

– Сухарей там у нас не осталось?

– Какие сухари? Вчера еще мешки наизнанку вывернули. Терпи, брат, и радуйся, что живым из такой передряги выбрался. А сухари... Водички попей да ремень подтяни, вот тебе и сухари!

Говоривший хрипло, коротко рассмеялся, а Иван Михайлович снова оборвался в глубокую яму, пугаясь, что в сплошной черноте нет никакого просвета.

За считанные минуты до того момента, как ей выйти на публику, вспомнился Арине, совершенно неожиданно, без всякой видимой связи и причины, давний детский ужас: черная молния летящей в мгновительном броске змеи и боль в щеке от внезапного укуса. Так ярко и зримо вспыхнуло в памяти, что она невольно вскинула руку, прижала ладонь к тонкому шрамику на щеке.

«Господи, что со мной?! Столько времени не вспоминала! К чему такой знак? Ой, не надо бы...»

– Пора, Арина Васильевна, слышишь, как хлопают, – торопила Ласточка, тревожно поглядывая на нее.

Арина стояла, мертвенно побледнев, и не могла сдвинуться с места. Видение, опалившее на краткий миг, будто лишило сил, выжгло их, как сухое сено внезапным огнем. Она смотрела перед собой остановившимися глазами, слышала аплодисменты, гремящие в зале, и – продолжала стоять.

– Да что с тобой, Арина Васильевна?! Захворала?! – Ласточка подбежала, готовая подхватить и оберечь в любую секунду.

– Воды... Воды дай...

Крупными глотками пила холодную, подслащенную воду, и вода тушила невидимое пламя, возвращала в реальность и давала силу, чтобы шагнуть к сцене.

«Отче наш, иже еси на небесех...» И когда она перекрестилась, сотворив свою обычную молитву, ноги сами понесли ее вперед, навстречу аплодисментам, которые безудержно шумели в Колонном зале Благородного собрания.

Публика здесь всегда собиралась избалованная и очень богатая – от изысканных украшений, которые нестерпимо сверкали в электрическом свете, рябило в глазах. Арина пела здесь уже не первый раз, ее очень хорошо принимали, билеты распродавались полностью, Черногорин довольно разводил руками, и грех было жаловаться. Но в этот вечер, выйдя на сцену, еще не понимая, почему так происходит, она поймала себя на мысли, что разно-ряженная публика ей неприятна, будто невидимые нити, которые всегда тесно соединяли ее со слушателями, разом оборвались. Ей не хотелось веселить эту публику, ублажать ее своим голосом, наоборот, захотелось встряхнуть, вздернуть, чтобы слетело со всех довольство, сытость и красование своими нарядами и драгоценностями.

Но она сдержала себя, и концерт начала, как обычно. Исполняла свой привычный репертуар, публика пребывала в восторге, но чем громче ей хлопали, тем сильнее крепло в ней желание переломить обычный ход выступления.

Арина переждала очередные аплодисменты, подошла к Благинину и Сухову, коротко им шепнула название песни и, выждав первые гитарные аккорды, запела. Запела так, словно сама собиралась сейчас умереть, прямо на краешке сцены:

Средь далеких полей на чужбине,
На холодной и мерзлой земле,
Русский раненый воин томился,
В предрассветной безрадостной мгле.

Зал оцепенел. Никто не ожидал такого резкого перехода, когда без всяких предисловий и лишних слов, устремилось в зал широким потоком безмерное горе, от которого горло перехватывает, как удавкой, а из груди рвется на волю невыносимый стон.

И с улыбкой в краю неизвестном
Встретил воин наш смертный свой час,
Осенил себя знаменьем крестным
И без жалоб навеки угас.

Арина перекрестилась и стремительно, даже не поклонившись, ушла со сцены.

В гримерной она упала на руки Ласточке и разрыдалась.

Через два дня на квартиру к Арине заявился Черногорин с толстой пачкой газет и, развернув одну из них, сразу предупредил:

– Арина, прекрасно знаю, что ты терпеть не можешь газет, но прошу меня не выгонять и не бить, а дозвожь зачитать одну лишь цитату. Такого про тебя еще не писали. Послушай... «Среди сверкания люстр и драгоценностей Буранова пела гостям русские и цыганские песни... Какой прекрасный, гибкий, выразительный голос... И вдруг запела погибельную песню о несчастном солдате, умирающем на холодной земле. Все стихли, будто испугались. В чем дело? Какая дерзость! Откуда здесь, в этом сверкающем зале, далекие поля на чужбине, по которым ходит смерть? Все

застыли. Что-то жуткое рождалось в ее исполнении. Сжималось сердце. Наивно и жутко. Наивно, как жизнь, и жутко, как смерть».

Черногорин осторожно сложил газету, опустил ее на стол, и серьезно, без обычного своего ерничанья, сказал:

– Ты понимаешь, Арина, я временами тебя не узнаю. Кажется, все мне про тебя известно, а ты порой так обернешься, даже оторопь берет – она или не она?

– Она, она, Яков Сергеевич, – грустно улыбнулась Арина, – садись за стол, Ласточка сейчас угощать будет, с утра настряпала.

За обедом говорили о пустяках, о погоде – жара, не спадая, стояла уже вторую неделю – и к последнему выступлению в Благородном собрании не возвращались, словно его и не было. Вспомнили случайно прошлогодние гастроли в Иргит, и Арина, встrepенувшись, вскочила со стула:

– Я же забыла тебе о письме сказать, Яков Сергеевич! Капитан Никифоров мне второе письмо прислал, вот, почитай, что про иргитские дела пишет...

Черногорин с любопытством развернул письмо.

«Добрый день или вечер, многоуважаемая Арина Васильевна! – писал старый капитан Никифоров, старательно выводя крупные буквы и круто роняя их влево. – Во первых строках своего письма благодарю Вас душевно за добрые слова, которые Вы мне послали, и желаю Вам долгих, счастливых лет жизни, и чтобы не было никаких огорчений и болезней. А еще сообщаю, что часовенка наша стоит, синенький купол на солнышке светится, и люди многие, даже господа знатные, приезжают к ней помолиться. Жить стало печальней, да и какое может быть веселье, когда идет война, а у нас кричат вдовы, остались с малыми ребятишками. Хозяин мой бывший, Естифеев Семен Александрович, тихо помер у себя в доме в прошлом месяце и никому никакого наследства не оставил. Все наследство его продали с молотка, как велели судейские люди, и жена его с падчерицей Аленой остались без крыши над головой. А старший Дуга, атаман который, забрал их к себе в станицу, потому, как говорили, падчерица Естифеева обручена была с его сыном, который теперь воюет, и еще неизвестно, вернется ли домой живым и не покалеченным. Ярмарка нынче на Николувешнего прошла маленькая, и много народу не приехало, иные лавки на Ярмарочной площади и в пассаже стояли пустые, такого сроду не бывало. Вот и все наши новости. Кланяется Вам низко земным поклоном Никифоров Терентий Афанасьевич, и еще раз желает здравия».

Черногорин повертел письмо в руках, помолчал, словно собирался с мыслями, но ничего не сказал, лишь вздохнул. И Арина ничего не сказала,

прошла к окну, долго смотрела на Тверскую улицу, почти пустую под крупным косым дождем, который щедро ее поливал с самого утра.

– Арина Васильевна, – Ласточка осторожно тронула ее за плечо, – собираться нам пора. Вечер уж скоро, выступление...

Словно очнувшись, Арина медленно обернулась, глянула на Ласточку ничего не понимающим взглядом и закивала головой, соглашаясь:

– Да, да...

А что – да, она и сама не знала, потому что мысли ее пребывали далеко-далеко отсюда, где-то там, на краю земли, где находился сейчас Иван Михайлович. Ванечка...

Арина вспоминала о нем всегда внезапно, произойти это могло в любое время суток, и всякий раз, когда вспоминала, будто выпадала из реальной жизни, ей казалось, что он стоит рядом, и его сильная широкая ладонь приглаживает ей растрепавшиеся волосы – она даже чувствовала эту ладонь. И не замечала, как Ласточка и Черногорин, если они находились поблизости, озабоченно переглядывались в такие моменты и разговаривали с ней по-особому ласково и душевно, будто с больной.

Концерт в тот вечер дался ей с большим трудом, она едва вытащила его словно тяжелый воз в гору и в гримерке, совершенно без сил рухнув на узкий диванчик, долго не могла отдышаться. Ласточка квохтала и суетилась возле нее, то подавала воды, то обмахивала большим полотенцем, а Черногорин, молча понаблюдав за суетой, которая перед ним разворачивалась, вышел из гримерки и долго не возвращался. Когда вернулся, объявил свое решение строгим голосом, не допускающим никаких возражений:

– Тебе надо отдохнуть, Арина Васильевна. Сегодня едем ужинать в ресторан, а завтра и послезавтра ты отдыхаешь. Будешь спать, лежать, нежиться, а ты, Ласточка, никого не допускай и дверь никому не открывай, даже мне, если буду стучаться.

– Давно бы так, – ответила Ласточка, – а за дверь не извольте беспокоиться, никому не открою, вам, Яков Сергеевич, в первую очередь.

На этом и поладили, объединенные общей заботой и тревогой за Арину, которая слушала их, ничего не говорила, и только слабо отмахивалась рукой, давая знак, чтобы ее оставили в покое. Но Черногорин в этот вечер оставлять ее в покое явно не желал, и настоял, несмотря на все возражения, на своем – через час они уже мчались на легкой пролетке в загородный ресторан, где любили бывать, когда выдавался свободный вечер, и где их хорошо знали, принимая, как добрых знакомых.

На летней веранде ресторана, увитой плющом, было прохладно после

долгих дождей, но Арина наотрез отказалась идти в зал, где царило шумное многолюдье, и они заняли с Черногориным столик в самом дальнем углу, куда едва доставал свет фонаря. И так оказалось хорошо и душевно сидеть в полутьме, пить вино и неспешно, никуда не торопясь, разговаривать, что Арина поблагодарила Черногорина за его настойчивость и добавила:

– Места себе найти не могу, Яков Сергеевич, душа трепещет, как листочек, неужели беда с Иваном Михайловичем приключилась...

– Я, конечно, прошу прощения, уважаемая Арина Васильевна, но рассуждаешь ты, как деревенская баба! Ты мне еще про сон какой-нибудь расскажи, про вещей! Беду заранее угадывать – дело глупое, я бы даже сказал, дурацкое!

– И все у тебя, Яков Сергеевич, по полочкам разложено, и все ты наперед ведаешь, да только... Я и есть деревенская баба, глупая, как ты говоришь, и про сон тебе могу рассказать, правда, не сон, а так, вспомнилось, будто наяву... Да только не буду я тебе рассказывать, все равно ничему не веришь!

– Вот это правильное решение, не надо мне ничего рассказывать, а давай-ка, лучше с тобой помолчим. Вечер-то, какой чудный...

Вечер действительно стоял чудный. Но вдоволь полюбоваться его красотами не довелось. Неслышно появился возле столика молодой, расторопный официант, рассыпался в извинениях и сообщил: господа, числом четверо, сидящие в зале, видели, как Арина с Черногориным проходили на веранду, знаменитую певицу узнали и теперь просят разрешения, чтобы представиться и засвидетельствовать свое восхищение несравненным талантом.

– Передай им, братец, что у Арины Васильевны мигрень и она нижайше просит, чтобы ее не беспокоили.

– Они еще сказали... – заторопился официант.

– Мигрень и нижайшая просьба – не беспокоить! – Черногорин строго посмотрел на официанта и добавил: – Должны же люди когда-то отдыхать по-человечески, чтобы никто не беспокоил. Понимаешь?

Официант все-таки попытался, что-то сказать, но Черногорин поднял руку, и он быстро, бесшумно исчез.

Арина смотрела в небольшой просвет, который открывался перед ней между густыми плетями плюща, видела посветлевшее небо, очищенное от туч, и яркие, спелые звезды, на которые хотелось смотреть, не отрываясь, до бесконечности – только бы избавиться от сосущей тревоги, властно сжимающей сердце. Черногорин, чутко понимая, что лучше ее сейчас не трогать и ни о чем не спрашивать, помалкивал и прихлебывал вино из

бокала.

И тут снова появился официант. В каждой руке у него было по большой корзине цветов. Он поставил их на пол, рядом со столиком, снова рассыпался в извинениях и доложил:

– Это те господа, Арина Васильевна, в знак признательности вам преподносят. Специально извозчика в город посылали. Огорчились, что вы не в здравии, и надеются, что цветы примите.

– Передай им от Арины Васильевны низкий поклон и благодарность, – Черногорин стойко продолжал охранять покой несравненной.

Но сама Арина, глядя на цветы, рассеянно спросила:

– Это что же за господа такие, настойчивые?

– Студенты они, Арина Васильевна, в вольноперы недавно записались, а завтра вечером, как я понял, на войну уезжают. И на концерте вчера у вас были.

– На войну, говоришь... Зови их сюда, братец. Зови, зови!

И четверо вольноопределяющихся в новенькой, не обмятой еще форме, слегка смущенные, предстали на веранде, перед столиком, за которым сидела известная певица, и они смотрели на нее с нескрываемым обожанием. Все четверо были молоды и красивы, словно вышагнули с яркой, цветной картинки; когда художник рисовал эту картинку, не пожалел ни красок, ни времени – даже маленькой грубой черты, даже намек на нее не проскальзывало в лицах, столь они были совершенны. Арина невольно залюбовалась. Смотрела на них и улыбалась, а затем спросила:

– И чем же обязана, уважаемые господа?

Один из них, стоявший с краю, вышагнул чуть вперед, виновато склонил голову и, продолжая смущаться, даже румянец на щеках выступил, звонко заговорил:

– Просим простить нас, Арина Васильевна, за назойливость, не обижайтесь...

– Да не обижаюсь я, миленький, а спрашиваю – чем обязана?

Вольнопер сделал еще один шаг вперед и в руке у него тускло блеснул золотым обрезом маленький блокнот, он положил его на край столика, рядом – такой же маленький карандаш с тонким медным наконечником, и попросил:

– Напишите нам добрые слова, Арина Васильевна, мы будем вам очень признательны и благодарны. Мы завтра на Дальний Восток уезжаем, а еще сказать должен, что мы перед вашим талантом преклоняемся. Вашим голосом вся Россия поет...

Ничего в своей жизни не умела Арина делать наполовину, всегда у нее

было на разрыв: либо – все, либо – ничего. Порывисто вскочила из-за столика, по очереди обняла и расцеловала каждого из четверых друзей и для каждого на отдельном листке блокнота написала: «Вернитесь живыми! Пусть Бог хранит». Обернулась, нашла взглядом официанта, стоящего в стороне, нетерпеливо приказала:

– А ты, братец, чего припух?! Бокалы носи господам военным, я с ними выпить желаю!

И, усадив всех за столик, чокалась с каждым, желала доброго пути и удачи, казалось со стороны, что эти юноши, которых еще полчаса назад совершенно не знала, были ей младшими братьями, и она провожала их на войну, как родных. Негромко, вполголоса, пела им, а вольноперы, слегка ошарашенные столь искренним радушием несравненной Арины Бурановой, также негромко ей подпевали. Как оказалось, весь репертуар несравненной они знали наизусть. Черногорин молчал словно отстраненный от общего действия, происходящего за столом, но не усмехался, как обычно, лицо было строгим, и смотрел он на всех с грустью.

Уезжали из загородного ресторана уже в полночь, и всю дорогу до дома Арина смеялась, вспоминая так понравившихся ей вольноперов, а возле самого дома, когда уже вышла из коляски, вздохнула и остановилась, словно запнулась на бегу о невидимую преграду:

– Ой, не к добру я смеюсь, Яков Сергеевич. Сердце дрожит... Бабье сердце чувствует...

Не обмануло сердце.

Зареванная Ласточка открыла дверь и, не сказав ни слова, протянула телеграмму. Текст ее был коротким, как выстрел: «Извещаем, что подполковник Петров-Мясоедов, верный Царю и Присяге, пал смертью храбрых на поле боя...»

Хунхузы на корточках сидели на земле, их длинные косы связаны были в один большой узел, перехваченный для надежности тонкой бечевкой. Веселый казак, стоявший над ними, пояснял:

– До того шустрые, разбойники, прямо спасу нет, землю под собой роют! Едва одолели, а веревки, чтобы всем руки вязать, у нас не имеется. Вот и придумали – косами друг к другу привязать, никуда не убегут.

На грязных, потных лицах хунхузов испуга не было, пленные, казалось, еще не поняли, что с ними произошло, и поэтому узкие глаза всех шестерых смотрели спокойно и угрюмо.

С бандами хунхузов, которые шныряли по тылам русских войск, казакам приходилось сталкиваться постоянно. Стычки эти были всегда жестокими, и пленных брали редко. А в этот раз, как рассказывал казак, хунхузов удалось загнать в топкую низину, где их лошади безнадежно завязли, и оставшиеся в живых, побросав клинки и винтовки, безоружными выбрались на твердый берег. Теперь, косами своими привязанные друг к другу, они тесным кружком сидели на земле, не обращая внимания на казаков, словно тех здесь и не было.

– Вон, ребята, сотник идет, сейчас скажет, чего с ними делать будем, – веселый казак подтянулся и кратко доложил подошедшему сотнику Дуге о том, как внезапно наткнулись на банду хунхузов и чем эта внезапная стычка закончилась.

Николай хмуро его выслушал и сразу спросил:

– А наши? Никаких следов?

– Никаких, – вздохнул казак и потупился, веселость у него с лица будто смыло. – Мы до самого моста дошли, который разрушен, но к мосту не рискнули, там японцы переправу наводят, как мураши набежали, аж черно на берегах.

– Не могли же они все погибнуть! – воскликнул Николай и сердито взглянул на казака, словно тот виноват был в том, что усиленный разъезд, посланный несколько дней назад на разведку, исчез бесследно, словно провалился под землю.

Казачий полк, оставленный в арьергарде отступающих войск, ушел накануне. Николай, выпросив разрешение командира полка Голутвина, остался со своей сотней еще на сутки, надеясь дождаться или разыскать пропавший разъезд. Но вместо разъезда казаки вернулись из поиска с

пленными хунхузами, и теперь он не знал, куда их девать. Не будешь же с конвоирами отправлять в полк, когда на счету каждый человек в сотне, изрядно поредевшей в последних боях и стычках.

Сутки, отведенные Голутвиным, заканчивались. Посылать новый разъезд на поиски было уже бессмысленно. Николай глядел на хунхузов и не знал, что ему предпринять. Уходить, не дождавшись своих казаков, не хотелось, тем более, что среди них были его любимцы – братья Морозовы. Здесь, на войне, братья стали для него первой опорой, на которую он всегда мог безбоязненно положиться, и сколько уже раз так случалось, что выручали они и сотню, и ее командира. Уходить без них – как ножом по сердцу, оставаться и продолжать поиски, нарушив приказ, – невозможно. А тут еще чертовы хунхузы... Мелькнула даже злая мысль – отвести их до ближайшего кустарника, да и покончить разом хлопотное дело. Но он эту мысль отогнал и, отвернувшись от хунхузов, принял решение: подождать еще два часа. И хотя надежды было мало, а если честно, совсем никакой, он насмелился нарушить приказ, хотя бы на два часа. А вдруг...

Но вдруг произошло совсем не то, что ожидалось.

Из охранения, выставленного на подступах к расположению сотни, примчался казак, выдохнул:

– Японцы!

– По коням! – Николай мигом взлетел в седло, и Соколок, сразу почуяв тревогу хозяина, нервно ударил копытом в землю, будто известил, что готов к скачке, а если понадобится, то и к схватке.

Из сбивчивого, скорого рассказа казака из охранения стало ясно: японцы, не меньше, как эскадрон, продвигаются по дороге, которая огибает невысокую сопку, дальше, за дорогой, густые заросли гаоляна,^[6] и как только они пройдут этот участок, так сразу же окажутся перед казачьей сотней на открытой местности, и уйти незамеченными уже не удастся.

«А мы и уходить не станем, – с отчаянной решимостью подумал Николай, – по крайней мере будет, чем оправдаться перед Голутвиным за опоздание».

И повел сотню в полном составе к подножию пологой сопки, а затем приказал подняться наверх, но не выбираться на самую макушку, чтобы не обнаруживать себя раньше времени.

Японский эскадрон, вытягиваясь на узкой дороге, довольно быстро продвигался вперед. Продвигался безбоязненно, даже не выслав разведку, видно, были уверены, что русских войск здесь быть не может. Когда эскадрон полностью втянулся на дорогу, огибая сопку, Николай подал команду:

– Пики к бою! Пошли!

Сотня вымахнула разом на плоскую макушку сопки, будто выскочила из-под земли, рассредоточилась и лавой ринулась вниз, под уклон, оцетинившись пиками. Сначала молча, обозначая себя только глухим топотом конских копыт, и разом взорвалась неистовым свистом и визгом, когда до противника осталось совсем мизерное расстояние. Боковой удар для японцев был неожиданным и губительным – иные из драгун даже не успели повернуть коней навстречу казакам и сразу же были сбиты или пробиты пиками. Казачья лава смяла, рассекла, раскидала вражеский эскадрон, еще недавно представлявший собой единое целое. Теперь это были отдельные кучки обезумевших от страха людей, иные из которых еще пытались обороняться. Но таких было немного. Большинство из тех, кто остался в живых, повернули коней и бросились к ближайшим зарослям гаоляна, надеясь там укрыться. Но над верхушками гаоляна, непонятно каким образом там оказавшись, возникли несколько казачьих фуражек и навстречу убегавшим японцам загремели прицельные выстрелы.

«Откуда они?! – успел еще подумать в горячке боя Николай, не понимая, как его казаки могли оказаться в гаоляне. – Неужели успели через дорогу перескочить?! Когда успели?!»

Но раздумывать времени не было. Он рубился наравне со своими казаками, добывая сопротивлявшихся японцев, и уже видел, что скоротечный, почти мгновенный бой скатывается к своему концу. Эскадрон был разгромлен напрочь. Казаки гоняли в кучу сдавшихся японцев, ловили и батовали их лошадей, и тоже поглядывали в сторону гаоляна, пытаясь уяснить – кто оттуда стрелял?

Скоро выяснилось. Из густых зарослей выскочили братья Морозовы, следом за ними еще несколько казаков, и все с громкими криками бросились к своим. Их внезапное появление было таким неожиданным, что Николай, увидев перед собой братьев, даже не нашелся, что сказать. А Корней, привстав на стременах, весело скалился:

– Здравия желаю, господин сотник! Со свиданьем!

– Погоди радоваться, – перебил его Иван, – ноги уносить надо, Николай Григорьич. За этим эскадроном пехота топает, с артиллерией, и еще конные. Как бы вдогон кавалерию не пустили. А у нас раненые.

– Где раненые? – встревожился Николай.

– Да там, в гаоляне, откуда мы стреляли. А вон их выкатывают.

Из гаоляна между тем выходили солдаты-железнодорожники, выкатывали узкие, ручные тележки, на которых китайцы обычно возят землю или овощи. Теперь в этих тележках лежали раненые. Николай тут же

велел привязать раненых к лошадям, присматривать, чтобы не свалились, и сотня тронулась рысью, быстро покидая место боя. Пленных японцев, присоединив к ним хунхузов, гнали бегом.

И только когда вышли к мелкой речушке, Николай решил сделать привал, чтобы перевести дух. Раненых сняли с коней, уложили на траву, щедро отпаивали водой, которую черпали котелками из речушки.

Царило общее возбуждение, какое обычно бывает после боя и смертельной опасности, когда человек, осознав, что он жив, что страшное позади, начинает много и громко говорить, размахивать руками, смеяться и ничего в такие минуты, кроме собственного голоса, не слышит.

Николай, выставив охранение, призвал к себе братьев Морозовых, и, когда они явились перед ним словно двое из ларца, целые и невредимые, он не удержался и крепко их обнял. Душой, оказывается, прикипел к расторопным, неунывающим братьям, которые, в свою очередь, тоже были рады видеть своего командира живым и здоровым.

– Рассказывайте. Где бывали, чего видали и как в гаоляне оказались – все рассказывайте.

Общий рассказ братьев оказался коротким, потому что оба понимали: перед командиром хвосты распускать, цветисто привирая о случившемся и о собственной храбрости, совсем не дело. Поэтому говорили четко, ясно, как и подобает нижестоящим чинам, когда они докладывают вышестоящему по званию.

Находясь в разъезде, обнаружили они, что японский пехотный полк скорым маршем подвигается в сторону железнодорожного моста. Кинулись, чтобы доложить и предупредить. И недалеко от моста, выскочив на дорогу, столкнулись нос к носу, только что не поцеловались, с японским эскадром. И началась безудержная скачка. Место голое, скрыться негде, один путь оставался – к мосту. Вот и мчались, сломя головы. Когда проскочили мост, следом, на полном скаку, пронеслась и часть японского эскадрона. И если бы железнодорожники не взорвали мост и не кинулись бы на выручку казакам, не пришлось бы сейчас братьям Морозовым беседовать со своим командиром. Но Бог миловал. Сообща отбились. И, забрав раненых, кинулись прочь от разрушенного моста, потому что японцы начали наводить переправу. Опамятовались, когда добрались до полей гаоляна и скрылись в его зарослях. Хорошо, что в одном месте нашли ручные тележки, брошенные китайцами, и дальше раненых тащили на них. Двигались медленно, потому что по чащобнику гаоляна, да еще с тележками, сильно не разбежишься; без воды и без еды, а на третьи сутки еще и обнаружили, что догоняет их все тот же японский полк, успевший к

этому времени переправиться через речку. Впереди полка на рысях шел эскадрон, на которой и навалилась родная казачья сотня.

– Как только пошла сшибка, мы коней в ряд поставили, сами на седлах стоймя встали, и давай палить по микадам, а дальше уж сами видели, Николай Григорьевич, что было, – Корней помолчал, обтер усы широкой ладонью и вздохнул: – Солдатиков жалко, почти все там полегли, все-таки пеший против конного – гиблое дело. Но командира своего не бросили, прямо из рук у японцев выдернули. А могучий какой, пока на тележки не наткнулись, вчетвером приходилось тащить.

– Ох, и досталось ему, обтесали, как деревяшку, – Иван поднялся на ноги, – пойду, гляну, как он там – дышит еще?

Николай тоже поднялся и двинулся за ним следом. Петров-Мясоедов, замотанный в бинты и в лоскуты разорванных нижних рубах, лежал вытянувшись на траве, и тяжело, с хрипом дышал. Лицо у него было покрыто сплошной кровавой коростой, которая уже успела подсохнуть, и узнать его было невозможно. Сотник Дуга и не узнал высокого чиновника из Петербурга, не вспомнил давний уже теперь вечер возле горы Пушистой, когда сидели они за одним столом и слушали песни Арины Васильевны Бурановой. Он лишь разглядел почти напроць оторванный погон подполковника и приказал братьям Морозовым, чтобы сделали носилки. Что и было мигом исполнено. Петрова-Мясоедова уложили на носилки, четверо японцев поднатужились, подняли, и Николай приказал трогаться – требовалось, как можно быстрее, добраться до своих.

На следующие сутки, ночью, уже в темноте, добрались.

Ей казалось, что сначала она умерла, а затем воскресла.

Жизнь будто оборвалась, когда Арина взяла из рук Ласточки телеграмму и прочитала страшные слова. Не заплакала, не зарыдала, а сжала бумагу в кулаке, смяла ее в комок и медленными, неверными шагами прошла к окну. Отдернула тяжелую штору и стала смотреть на Тверскую, обозначенную в темноте фонарями. Видела в тусклом свете пролетки редких прохожих и не могла понять – почему, куда, зачем они все торопятся, если жизнь потеряла всяческий смысл?

Слышала голоса Ласточки, Черногорина, но слов, которые они произносили, не различала и также не могла понять – для какой надобности нужно произносить слова, если жизнь закончилась?

Арина простояла у окна, не сдвинувшись с места, всю ночь. И лишь на рассвете, когда стало светать, у нее подкосились колени, и она медленно опустилась на пол. Ласточка, караулившая ее все это время и тоже не сомкнувшая глаз, подхватила ее, отнесла в спальню, хотела раздеть, но Арина слабо взмахнула рукой, давая знак, что ничего не желает, и прошептала тихим, едва-едва различимым голосом:

– Вот она и прыгнула, змея подколодная...

Больше недели пролежала Арина, не вставая с постели. Молчала, словно лишилась дара речи, смотрела в потолок пустыми отрешенными глазами, послушно хлебала супчики и бульоны, которыми кормила ее Ласточка, и слабо взмахивала рукой, когда в дверях появлялись Черногорин с приглашенным доктором, безмолвно высказывая просьбу – уйдите, все уйдите, я никого не желаю видеть. Доктор, быстро и внимательно взглянув на Арину, что-то быстро шептал на ухо Черногорину, и они уходили.

А в воскресенье, так совпало, что именно в воскресенье, принесли телеграмму, подписанную полковником Гридасовым, в которой сообщалось Арине Васильевне Бурановой, что о смерти подполковника Петрова-Мясоедова ее известили ошибочно, что он жив и находится в настоящее время после тяжелых ранений в госпитале города Харбина. Арина держала телеграмму перед глазами и не могла прочитать ни одной буквы – глаза, полные слез, ничего не видели. Прижав телеграмму к груди, она долго и тихо плакала, впервые за эти горькие дни, но когда приехал Черногорин с доктором, ладошкой вытерла слезы и твердо сказала, что абсолютно здорова и пусть Яков Сергеевич занятого человека больше не беспокоит.

Доктора, заплатив ему за визит, проводили.

Ласточка, ошалевшая от радостного известия, роняя тарелки и вилки, кое-как накрыла на стол и тяжело села на стул, безотрывно глядя на Арину круглыми преданными глазами, в которых светилось истинное счастье.

На следующий день, когда в гости к ней снова наведалься Черногорин, Арина огорошила его новостью:

– Я еду в этот – как его? – в Харбин!

– Можно я присяду? – вежливо поинтересовался Черногорин, но никуда не сел, продолжая стоять на том месте, возле двери в зал, где его настигла новость. Видно было, что привыкший не удивляться выходкам Арины Васильевны, на этот раз он не только удивлялся несказанно, но и пребывал в полной растерянности, даже руками перед собой не разводил. И обычной умной усмешки на лице не было.

– А на завтрашний вечер, Яков Сергеевич, – продолжала Арина, – ты мне купи билет на поезд, до Самары. Я на пару деньков к матушке Ивана Михайловича хочу съездить. Да ты проходи, садись, чего стоишь, в ногах правды нет.

– В заднице, Арина Васильевна, когда на ней восседаешь, тоже правды нет, и здравый ум полностью отсутствует! – Яков Сергеевич развел перед собой руками и стронулся наконец-то с места, обретя жесткий и властный голос: – Ты куда ехать собралась?! На край света?! У тебя на одну дорогу, туда-сюда, больше месяца уйдет! А контракты, а неустойки?! Да нас с тобой до нитки разденут! Ты это понимаешь?!

– Ага! – весело согласилась Арина. – Это я понимаю. Да только ты, Яков Сергеевич, не печалься раньше времени и сильно не убивайся. Я все неустойки на себя возьму. Большие убытки тебе не грозят. Только давай об этом сейчас говорить не будем. Ты мне билет, пожалуйста, до Самары купи. Вот вернусь оттуда, сядем с тобой рядом и ладком все наши дела порешаем. Договорились?

Черногорин, ничего не ответив, круто развернулся и ушел, даже слов не стал зря тратить, потому что прекрасно знал и понимал: спорить с Ариной Васильевной, когда на серьезные вопросы она начинает отвечать с непонятым весельем, дело абсолютно бесполезное, все равно будет упорно долбить, как дятел, до тех пор, пока до своего, задуманного, не додолбится. Ладно, решил, скрепя сердце, Черногорин, пусть съездит в Самару, проветрится, может, и одумается.

Он послушно выполнил просьбу Арины, купил ей билет, и на следующий вечер она уже ехала в Самару, известив телеграммой Василису Федоровну, чтобы на станцию за ней прислали коляску.

Тихое, теплое лето покоилось над подмосковными полями и перелесками, и тихо, тепло было на душе у Арины, когда она смотрела в вагонное окно, за которым еще не сгустились сумерки. Все для нее теперь было просто и ясно, все встало на свои места, и никаких вопросов решать ей не требовалось, потому что главный вопрос она для себя решила – надо, просто необходимо быть рядом с Иваном Михайловичем. Она его выводит, вылечит, вытащит из любой напасти, какой бы страшной та напасть ни была, и есть у нее для этого силы, такие большие силы, каких раньше никогда не имелось.

«Ванечка...»

Она глубоко, радостно вздыхала и не отрывала взгляда от ласковой, нежной земли, которая плавно проплывала за стеклом вагонного окна.

Встречать ее на станцию приехала сама Василиса Федоровна. Правда, из коляски выходить не стала, послала на перрон кучера, и когда тот вернулся, сопровождая Арину, суровая старуха неожиданно всхлипнула и пожаловалась:

– Вот до каких степеней дожилась, голубушка, побоялась из коляски-то вылезать, боюсь, что обратно не заберусь... Поднимайся скорей ко мне, я хоть тебя обниму да поцелую.

И обнялись они, и расцеловались, как родные, объединенные одним общим горем, которое сменилось общей же радостью.

А скоро уже молились в маленькой деревенской церкви перед иконой Богородицы, как и в прошлый раз, и слезно просили все о том же: о ниспослании здоровья и помощи рабу Божьему Ивану.

На крыльце имения, уже проглядев глаза, их ждала Любашка, и даже взвизгнула от молодого восторга, когда кинулась к подъехавшей коляске. Арине в какой-то момент показалось, что она вернулась к себе домой, где очень долгое время отсутствовала.

До самого вечера просидели они с Василисой Федоровной на прохладной веранде, глядя, как Любашка варит малиновое варенье; говорили, говорили и не могли наговориться.

– Я ведь, голубушка, помирать собиралась, когда первую-то телеграмму доставили, – рассказывала Василиса Федоровна, – даже велела Любашке смертное приготовить. Легла, руки вот так сложила, и думала, что больше уж не подняться... А поднялась, поднялась я, голубушка, как вторую-то телеграмму прочитала. Теперь и ты приехала, мне хоть в пляс пускайся...

И Арина тоже рассказывала, как переживала страшное известие, как показалось ей однажды ночью, что она вот сейчас, в сию минуту, умрет.

Никому об этом не рассказывала, даже Ласточке, а теперь изливала душу и будто освобождалась от той тяжести, которая накопилась в черные дни полного отчаяния.

Вечером, не желая и на короткий срок расставаться с невесткой, Василиса Федоровна приказала Любашке, чтобы та постелила им в одной комнате, и ночью, когда уже лежали в постелях, призналась:

– Ты уж меня прости, голубушка, я ведь тебя испугалась спервоначалу. Перед тем как тебе приехать, сон мне приснился, чудный такой сон. Будто бы вижу я свое имение, комнаты вижу, а войти туда не могу, будто кто меня за руки схватил и не пускает. А по всем моим комнатам девица незнакомая ходит. Кто такая? И мне как бы голос чей-то говорит: а это хозяйка новая, сына твоего Ивана жена молодая, теперь она здесь жить будет... Проснулась, помню, и так рассердилась на Ивана – что же ты, сын, не посоветовался, ни слова не сказал, благословения не попросил, все сам-один придумал. Потому и встретила тебя неласково, а утром-то, когда разглядела, увидела – глаза у тебя хорошие, светлые. Я за свой век много людей повидала – знатных, не знатных, всяких, и давно уж научилась, голубушка, по глазам их определять, в глазах вся правда человеческая таится... Ох, заговорила я тебя, ты уж сны, наверное, видишь. А вот забыла спросить, голубушка, на какой срок приехала?

Как хотелось ответить Арине, что приехала она надолго, что теперь не будет скучать в одиночестве Василиса Федоровна, что скрасит она ей не одну неделю, а то и не один месяц, но пересилила себя и сказала правду:

– Да вот еще один денек поживу, а утром уж на станцию меня отправлять надо.

И дальше, не таясь, рассказала о том, что задумала она ехать к Ивану Михайловичу в неведомый город Харбин и быть там рядом со своим мужем до тех пор, пока он не выздоровеет...

Слушала ее Василиса Федоровна, не прервав ни словом, ни вздохом, а когда дослушала, тяжело зашевелилась на своей постели, опуская больные ноги на пол. Поднялась, коротко охнув, зажгла свечу и попросила строгим голосом:

– Уж не сочти за труд, голубушка, и ты поднимись. А теперь на стул встань и достань мне икону Богородицы, семейная она у нас, меня ей матушка на венчанье благословляла.

Приняла икону, осторожно дотронулась блеклыми, старческими губами до ее уголка, и голос у нее будто надломился:

– Благословенье тебе мое материнское, голубушка, и ангела-хранителя на дорогу.

Арина опустилась на колени, увидела в неверном пламени свечи глаза Богородицы на иконе, и они показались ей живыми, как и тоскующие глаза Василисы Федоровны.

И вспомнилась эта ночь, до самых мелких подробностей, вспомнились юные лица вольноопределяющихся, которые уезжали на войну и смущенно просили ее написать в блокнот с золотым обрезом добрые пожелания, вспомнился, конечно, и Иван Михайлович, где-то далеко отсюда страдающий от ран, вспомнились сотни, тысячи людей, перед которыми она пела, и обида за всех за них, знакомых и незнакомых, захлестнула ее с такой силой, что одеревенели руки, словно от них отлила кровь и сгустилась в один тугой комок, подкативший к горлу и не дающий дышать. Но она еще смогла справиться с собой, не вскочила, не закричала, только руки положила на стол, чтобы они не дрожали.

А незнакомый господин, поблескивая стеклышками пенсне и картинно попыхивая сигарой, продолжал стоять возле столика и говорил барственным, уверенным голосом, словно выступал перед публикой в присутственном месте:

– Японцы, конечно, макаки, но и русские никаки. Что вообще русские могут? Лопать кашу и хлебать водку! Бьют их япошки в хвост и в гриву, и правильно делают, что бьют! Гнилая, паршивая, мужичья страна, место которой сидеть за печкой цивилизованного мира, а туда же, в калашный ряд с квасной рожей – дальних земель возжелалось! А воевать не умеют – ни по суше бегать, ни по морю плавать! Это додуматься только, главнокомандующего поставили по фамилии Куропаткин! Куропаткин! И все, кто в этой армии воюет, тоже куропатки, у них мозги куриные и рожи тупые!

Господин возник перед столиком на веранде, где сидели Арина с Черногориным, так стремительно, будто черт из табакерки, поклонился, оттопыривая руку с сигарой, и сразу заговорил, не назвав себя, не представившись, но понятно было, что известную певицу он узнал, потому как обращался именно к ней:

– И не надо, милейшая госпожа Буранова, проливать прелестные слезки по несчастным якобы солдатикам, этих солдатиков у нас, как навоза вонючего – неизмеримо! И пусть его возят и возят на поля так называемых сражений. Воздух чище будет!

– Вы чего, собственно, хотите? – попытался вмешаться Черногорин.

– Я? Чего я хочу? – господин ткнул себя указательным пальцем в накрахмаленную манишку на груди и вздернул этот палец вверх. – Я хочу,

чтобы вся эта гниль рухнула! Чтобы рассыпалась в прах! И хочу, чтобы над этой гнилью талантливые люди не рыдали, как рыдает несомненно талантливая госпожа Буранова.

Это единственное, о чем я хотел сообщить вам, надеюсь, что мой голос дойдет до разумного человека!

– Будьте добры, наклонитесь, я вам на ухо шепну, – Арина поманила его ладошкой, господин с любопытством низко наклонился, готовый слушать, и в этот же миг неуловимым движением другой руки, она сняла со стола полный фужер вина и опрокинула его на продольную лысину господина. А затем, не давая опомниться, уже двумя руками, неумело, неловко, но яростно, схватила его за остатки волос вокруг лысины и ткнула лицом прямо в широкую тарелку с селянкой, которую любил заказывать в загородном ресторане Черногорин. Выкрикнула:

– Закуси теперь! Закуси!

И еще раз, и еще – в тарелку! И лишь после этого оттолкнула господина в сторону. Тот, ничего не видя, размазывал ладонями влагу по лицу, мычал что-то неразборчивое и рвался в слепую к столику, но наткнулся на подоспевшего официанта и, почуяв недюжинную силу в его руках, послушно подчинился. Официант быстро увел его с веранды. Черногорин с сожалением посмотрел на тарелку, селянка из которой была выплеснута на скатерть, и горестно покачал головой:

– Весь обед испохабил, оратор.

– Пойдем отсюда, Яков, иначе... Иначе не знаю, что сделаю!

– Подожди, а это что такое? – Черногорин взял вилку, сунул ее в тарелку с остатками селянки, и вытащил пенсне.

Они глянули друг на друга и расхохотались.

Уже на крыльце их догнал официант, смущенно стал извиняться:

– Вы уж простите, Арина Васильевна, выгнать или не пускать мы его не можем, потому как пьяным он никогда не бывает. Только речи говорит...

– Да кто он таков? – поинтересовался Черногорин.

– Слышал я, что редактором какого-то журнальчика пребывал, то ли «Колючка» назывался, то ли «Кактус», журнальчик прихлопнули за вредное направление, так он теперь к нам ездит, речи говорит. Может, теперь перестанет, наговорился...

– Ладно, братец, передай этому господину мои соболезнования, и скажи, что ему повезло, могло быть хуже, – и Черногорин, придерживая Арину за локоть, стал спускаться с крыльца к пролетке.

Он ничего не говорил Арине, не ругал ее за неожиданную выходку, о которой, вполне возможно, скоро напишут в газетах, как всегда, изрядно

приврав и приукрасив, и молчал всю дорогу, пока ехали от загородного ресторана, где хотели посидеть на прощание, чтобы никто не мешал.

Но – не получилось.

И теперь едва ли получится, потому что завтра будет суетный день, а послезавтра Арина уедет в далекий и неведомый Харбин.

«Если бы кто-нибудь сказал вам, уважаемый Яков Сергеевич, еще месяца три назад о том, что соизволите сделать, – мысленно беседовал сам с собой Черногорин, – вы непременно посоветовали бы тому, кто это сказал, отправляться без раздумий в скорбный дом. А теперь вот сами все сделали и в скорбный дом не собираетесь. Метаморфоза получается, большая метаморфоза. А, впрочем, и вся наша жизнь – сплошная метаморфоза...»

Беседовал Черногорин сам с собою и сам себе не переставал удивляться. Было чему удивляться. За считанные дни он разорвал все контракты, заключенные на выступления певицы Бурановой, в том числе и на гастроли в Крым, которые сулили большие сборы, уплатил неустойки, и все это было исполнено ради Арины, которая разом обрывала свои выступления, отбрасывала их, как ненужные, в сторону, устремляясь в далекий Харбин. Деньги, большие деньги, со свистом улетали на ветер, а здравые доводы, которые Черногорин пытался поначалу внушить Арине, разбивались, будто хрупкое стекло, о беззаботное восклицание:

– Да все мои сборы одного Ванечкиного мизинца не стоят! Делай, Яков Сергеевич, как я говорю! На наш век денег хватит, еще заработаем!

Он подчинился и даже руками перед собой не разводил, а время от времени в ужасе хватался за голову, словно желал проверить – не сошел ли с ума? Нет, не сошел. Более того, когда все неустойки были уплачены, он абсолютно успокоился и о потерянных деньгах нисколько не жалел, его томило лишь одно печальное чувство, что придется расстаться с Ариной. Надолго ли?

Этого, похоже, не знала и сама Арина. Поэтому он и не спрашивал.

Ласточка, едва лишь они переступили порог квартиры, с сожалением сообщила новость:

– Благинин с Суховым приезжали. Ждали-ждали, не дождались. Сказали, что сразу на вокзал приедут, чтоб попрощаться.

– Жаль, – вздохнула Арина, – посидели бы на прощание, поговорили бы по душам...

– Да я предлагала и чай приготовила, но они торопились. Говорят, на какой-то вечер их наняли, гостям поиграть...

– Наняли их! – Черногорин развел руками. – Кто их нанял? Почему я

не знаю?! Кто, говорю, нанял?!

– Мне они, Яков Сергеевич, не докладывали, – обиделась Ласточка, – призовите их к себе и спрашивайте, а на меня-то кричать не следует.

– Не беспокойся, призову и спрошу. Никто никуда не уходит, как были вместе, так и остаемся, и ждем возвращения Арины Васильевны! Ясно выражаюсь?!

– Да не дурочка я, понимаю, и уходить не собираюсь, мне вот этот дом караулить надо. А, может, с собой меня возьмешь, Арина Васильевна?

– Нет, Ласточка, поеду я одна, потому что так решила. И пустых разговоров на этот счет не заводи. Платье привезла?

– В спальне лежит, – вздохнула Ласточка и заморгала часто, пытаясь скрыть слезы, нагнувшись в ее добрых коровьих глазах.

Арина быстро прошла в спальню, долго не возвращалась, а когда вышла оттуда, Черногорин поперхнулся чаем, который подала ему Ласточка, фарфоровая чашка едва не выскользнула из руки и не грохнулась на пол. Не-е-т, с Ариной Васильевной никогда не соскучишься и никогда не угадаешь верно, какой шаг сделает она в следующий момент и куда именно шагнет...

Сама же Арина, совершенно непохожая на саму себя, прошлась по залу и тихо присела за стол, по-бабьи подперев рукой голову, словно собиралась запеть или заплакать. Черногорин, прокашлявшись, смотрел на нее, не отрывая взгляда, и глаза у него становились такими же большими и круглыми, как у Ласточки. Ему хотелось встряхнуть головой – не показалось, не почудилось?

Нет, не показалось и не почудилось – сидела перед ним Арина Буранова, одетая в простенькое платье из серой грубой материи, поверх платья – белый фартук с большим красным крестом на груди, а на голове – белый же платок, опускающийся на плечи, застегнутый на маленькую пуговичку под подбородком. В этой одежде сестры милосердия она и впрямь была непохожей. Вдруг, что-то вспомнив, Арина быстрым движением сняла платок и такими же быстрыми, привычными движениями вынула из мочек ушей золотые серьги с бриллиантами, с легким, едва различимым стуком положила их на стол и улыбнулась:

– Теперь они мне без надобности. Ласточка, принеси шкатулку, про которую я говорила.

На руках у нее осталось лишь одно обручальное кольцо, видно, дорогие перстни она сняла еще раньше.

Ласточка, тяжело вздыхая, вышла, вернулась с деревянной шкатулкой, украшенной изумительной тонкой резьбой, поставила ее перед Ариной и

отошла в сторону. Черногорин, ничего не понимая, продолжал смотреть на происходящее круглыми удивленными глазами.

Арина открыла шкатулку, в которой лежали все ее украшения, вынула золотой браслет и снова улыбнулась, прочитав выгравированную на нем надпись:

– «Вы солнца луч, согревший нас». Помнишь, Яков Сергеевич, купца Чуркина? Это его подарок. Пусть он теперь тебя обогревает. Молчи, молчи, Яков, слушай, что я говорю. Деньги, какие у меня остались, в банке лежат, я их трогать не буду. Это на черный день, если Ванечку лечить понадобится. Из-за меня у тебя большие расходы получились. Если бы не поехала... ну, ты сам все знаешь... Да только не ехать я не могу. Сердце мне так приказывает. А это – тебе, все мои колечки и висюльки. За долги за мои и за все, что ты для меня сделал... – положила браслет, следом положила серьги, закрыла крышку и подвинула шкатулку легким, беззаботным жестом к Черногорину, – загадывать наперед не буду, но, если Бог даст, мы еще с тобой погастролируем, повеселим публику. А что это платице надела – не удивляйся. Потому и не говорила тебе ничего, пока дело не решилось. А теперь вот решилось. Не отказали в моей просьбе. Пообещали военные, что направят меня сестрой милосердной в тот госпиталь, где Ванечка лечится. Вот, Яков, вся я тут и все сказала. А теперь давай я тебя обниму и поцелую, родным ты мне стал, жалко расставаться... А уж помнить тебя буду, пока живу.

Поднялся Черногорин из-за стола, стоял, как деревянный, пока Арина обнимала его и троекратно целовала, и не мог сказать ни одного слова, будто осип и напрочь потерял голос. И так, молча, направился к двери, отмахнувшись от шкатулки, которую пыталась вложить ему в руки Арина.

Даже входную дверь за собой не закрыл.

Дед Якова Сергеевича Черногорина, как гласило семейное предание, был прусским офицером. Судя по всему, очень горячим по характеру и умелым по военному делу: вызвал на дуэль сразу двоих своих обидчиков, и пропорол их шпагой насмерть. Сначала – одного, а затем – другого. Когда остыл от гнева и понял, что натворил, ударился в бег. В первые дни бежал наобум, куда глаза глядят – лишь бы подальше от страшного места. Но затем вспомнил разговоры, которые доводилось ему слышать, и главную суть этих разговоров. Заключалась она в том, что в России опытных офицеров охотно берут на военную службу и очень хорошо за эту службу платят. Дальше бежал уже целенаправленно, имея ясную конечную цель – в далекую и неведомую Россию.

Но сначала добрался до Польши. Там, оголодавший до судорог в животе, и обносившись, словно последний нищий, он забрел в порыве отчаяния, в первое попавшееся ему на пути местечко и у первой же встречной девушки попросил хлеба. Девушка оказалась дочерью местного ксендза. И не иначе, как небесная искра упала между ними и подожгла молодые души безумным пламенем. Не только хлеб и одежду получил беглый прусский офицер, но и любовь, безоглядную, ничего не требующую взамен.

Дальше они побежали уже вдвоем, а в спину их подталкивали проклятия ксендза.

Остановился их бег только в Москве, где пруссаку Карлу и его возлюбленной Барбаре пришлось начинать жизнь с пустого места. На военную службу бывшего офицера не взяли, а ничего иного делать, как маршировать и воевать, он не умел. Пришлось молодым узнать горький привкус русского слова «голод», которое научились они произносить без всякого акцента.

Но однажды увидела Барбара, как ее избранник, пребывая в тоске и унынии, бросает нож в стену – да так ловко, так метко, что маленькие дырки от стального острия складываются в рисунок: будто бы стебель, а на нем – листья. Тогда она выдернула нож из стены, сняла со своих прелестных ножек башмаки, протопавшие от польского местечка до Москвы, отпорола от них подошвы и вытащила потаенное приданое, которое хранила на самый крайний случай – две старинные золотые монеты.

Были куплены на это приданое две лошади, две крытых повозки и большой деревянный щит, разрисованный диковинными цветами. Барбара вставала к этому щиту, раскинув руки, а Карл с десяти шагов метал огромные ножи, которые взблескивали в коротком полете и вонзались совсем рядышком с нежным телом его возлюбленной. Простодушная публика замирала и ахала после каждого броска, а затем кидала в широкополую шляпу денежку, пусть и не очень щедрую, однако на еду и одежду вполне достаточную.

Но Москва – город веселый, цирков здесь имелось в избытке, и соперничать с ними новоявленным артистам, у которых значился в репертуаре лишь один номер, было явно не под силу, особенно, когда наступила русская зима с морозами и снегами. Впрочем, зиму еще перебились в Москве, а по весне две коляски выкатились за городскую окраину и попылили по широкой дороге – большая страна Россия и городов в ней много.

Прошло несколько лет, и уже на многих повозках перебирался от города к городу настоящий цирк. Были в нем гимнасты и фокусники, борцы и жонглеры, даже ученые обезьянки, но гвоздем программы оставалось кидание ножей, которое прекратилось лишь на короткое время, когда животик Барбары округлился, и в скором времени родилась прелестная девушка, нареченная русским именем Варя.

Рожденная в цирке и ничего, кроме цирка, в этом мире не знавшая, Варя в пять лет вышла на арену, а к пятнадцати годам бесстрашно летала под куполом шапито, заставляя сердца зрителей трепетать от восторга. Прошло еще несколько лет, и появился в труппе цирка молодой черногорец Петрич Радович, который наряжался индийским факиром и устраивал огненные потехи: крутил проволоку, на концах которой пылало пламя, прыгал через горящее кольцо и пускал огненные шары – набирал в рот керосина и выплевывал его на пламя свечи. Зазывала, заманивая публику в шапито, кричал о нем так: «Индийский факир Раджа, изрыгающий огонь, как Змей Горыныч, изо рта!»

Похоже, что от этого изобилия огня и растаяло юное сердечко Вари. Родители, конечно, мечтали о другой, более выгодной, партии, но выбору дочери противиться не стали; видно, вспомнили собственную молодость и благословили молодых.

Цирк поехал дальше – по жизни: от города к городу, от ярмарки – к ярмарке.

В положенные сроки Варя подарила родителям внука, а себе – сына, Яшеньку. В пять лет, как и мать, он стал выходить на арену, чтобы помочь

фокуснику, но никаким цирковым искусством овладеть не успел по причине простой и горькой – цирк сгорел. Вспыхнул ночью, как свечка, и – дотла. Со всем реквизитом, с шапито, и с выручкой, собранной за долгие гастроли в низовья Волги. Но и это еще не вся беда. Рядом с шапито на площади в уездном городишке стояли несколько лавчонок, и они тоже сгорели в ту злополучную ночь вместе с красным товаром.

Карла потащили к ответу, как виновника пожара. Тогда он распустил труппу, и та разбрелась – каждый сам по себе. А Карл с Барбарой, с дочерью, зятем и внуком остались в городишке, потому как выезжать из него до конца разбирательства владельцу цирка запретили. Но скоро об этом запрете забыли, стало не до разбирательств – вспыхнула, куда страшнее, чем пожар, холера, и пошла косить народ без всякого разбора. Всего лишь нескольких дней хватило, чтобы Варя с Яшенькой оказались одни. Остальных родных погрузили в телегу, уже бездыханных, и отвезли на дальнее кладбище за городом, где и закопали в общей яме.

Неизвестно, что случилось бы с матерью и сынишкой в страшные дни холеры в чужом городе, где они никого не знали и не имели ни копейки, если бы не встретила их доброй души женщина, которая, услышав от Вари горькую историю, молча взяла за руку Яшеньку и повела его с собой, шагая широким и твердым шагом. А на Варю, которая растерялась и замешкалась, еще и прикрикнула: чего, мол, стоишь, особого приглашения ждешь?! Привела она их на выселки уездного городишка, где имелось всего четыре избы, и в одной из них она жила – солдатская вдова Полина Максимовна. Вот так и спасла их от неминуемой смерти. На выселки никто из городишка не забредал и поэтому холерой здесь никто не заболел. Пережили напасть, а затем, сроднившись с Максимовной, остались здесь на долгое житье. Куры, коза Манька и большой огород помогали не голодать, правда, и работать приходилось с утра до ночи, но работы никто не боялся и не отлынивал от нее – понимали, что на тарелочке с голубой каемочкой кушаний не поднесут.

Документов у них с матерью после пожара никаких не было, но Максимовна вспомнила о знакомом писаре в городской управе, и пошла узнать у него – может ли он помочь? Писарь был слегка пьяным, а так как Максимовна пообещала маленькую денежку за услугу, он и вовсе пришел в радостное расположение духа, и на радостях выписал казенную бумагу, в которой маленький Яков именовался отныне Яковом Сергеевичем Черногориным. Максимовна, вернувшись из управы, сокрушенно винулась перед Варей:

– Я ведь только узнать пошла, а он сразу за перо схватился, почувал, что

ему выпивка предвидится... Ну, раз отец черногорец у него, как ты говорила, я ему и фамилию такую сказала, а отчество ему от мужа своего покойного дала, от Сергея, потому что не вспомнила, как Яшиного отца звали... Ты уж, Варя, не обижайся, главное, что у парня бумага есть. А тебе чуть позже документ выправим, вот подождем месяц-другой, я опять в управу наведаюсь...

Но Варе паспорт выправлять не понадобилось. Она умерла в одночасье на огороде, когда полола грядки. Охнула, схватилась за грудь и ткнулась головой в сухую землю, нагретую полуденным солнцем. Видно, прихварывала она и раньше, но скрывала свою болезнь, сколько могла, и путь свой земной завершила так, что никому не помешала.

Остался Яков вдвоем с Максимовной. И солдатская вдова, давшая ему отчество своего мужа, вытащила парнишку, выкормила, и даже смогла запихнуть в гимназию, которую, правда, он закончить не сподобился. Прервал курс обучения, когда на гастроли в уездный городишко приехала бродячая цирковая труппа, и он устроился при ней, поглянувшись хозяину своей расторопностью, продавать билеты. Гастроли закончились, и Яков, попрощавшись с Максимовной, отправился колесить с цирковыми по городам и городишкам.

Дальше жизнь замелькала, как стеклышки в калейдоскопе. На каких только поприщах Яков себя не попробовал, пока не добрался до Москвы и не осел в ней, будучи уже известным в своих кругах антрепренером. Нюх у него проявился со временем, как у доброй охотничьей собаки, и нюхом этим он безошибочно угадывал – что именно должно понравиться публике. Он и славное будущее певички из кафешантана Арины Дыркиной угадал сразу и без раздумий – словно наяву увидел ее славу, полные залы слушателей и, само собой разумеется, не тощие сборы.

Привыкший всегда и во всем надеяться только на одного человека – на самого себя, антрепренера Черногорина, он никогда и никого не допускал к себе в душу, словно держал на расстоянии вытянутой руки, не давая приблизиться, и в задушевных друзьях не нуждался. Люди, чувствуя это, даже не пытались сдружиться с ним, а он по этому поводу несколько не огорчался. Долгое время и на Арину Дыркину смотрел Яков Сергеевич, как на свое очень выгодное предприятие – не больше. Но сил и стараний для нее не жалел, понимал, что такой яркий и диковинный цветок нуждается в заботливом уходе. А когда цветок полностью вызрел, расцвел и поразил всех своей красотой, Черногорин с испугом начал осознавать, что смотрит на него и любит его совсем не так, как смотрят и любят на источник дохода. Окончательно это понял во время гастролей в Иргите, где

развернулась давняя, путаная история прошлой жизни Арины и где он готов был защищать ее всеми силами, даже готов был пустить в дело свой плоский браунинг, из которого ни разу в жизни не выстрелил.

Появление Петрова-Мясоедова и их скорый, почти мгновенный роман с Ариной, закончившийся такой же скорой, почти мгновенной свадьбой, – все это, в одно целое слитое, сдернуло последнюю пелену с глаз, и он увидел: судьба, неизвестно за какие заслуги, преподнесла ему встречу с женщиной, о которой можно только мечтать, как о несбыточном подарке. Он же, думавший всегда лишь о самом себе, бездарно проморгал этот подарок, а когда разглядел и оценил, было уже поздно – последние аккорды отзвучали и аплодисменты стихли. Сегодняшнее появление Арины в одежде сестры милосердия, ее шкатулка с драгоценностями, которую она подвинула ему таким легким и беззаботным жестом, добила его... Это какой же счастливый человек, Петров-Мясоедов, если для него без раздумий совершаются такие жертвы?! А вот для него, Черногорина, никто таких жертв не совершит.

Яков Сергеевич шел по Тверской улице, не понимая, куда идет, натыкался на прохожих, бормотал слова извинений и вдруг остановился, упершись в афишную тумбу. Долго стоял возле нее, читая афиши, но смысл написанного на них аршинными буквами, не доходил, только вызревала одна мысль, внезапная, пугающая, и когда она облеклась в слова, Черногорин горьким шепотом выдохнул:

– Не гастролировать нам больше, несравненная...

Он не только предчувствовал, но и твердо знал, что будет именно так.

Вот, оказывается, она какая – неведомая раньше Маньчжурия. И земля, и одноименная станция, на которой поезд сделал недолгую остановку. Арина стояла у вагонного окна, смотрела, не отрывая взгляда, на необычную картину, мгновенно развернувшуюся перед ней: военные, пешие и конные, повозки, пушки, и тут же – вездесущие китайцы, грязные, загорелые, в рваных одеждах и поэтому кажущиеся на одно лицо. И все до единого добродушные и говорливые, даже здесь, в вагоне, слышны их голоса: «Ходя, шанго! Ходя, шанго!» Они лезли в вагоны к солдатам, хлопали их по плечам, солдаты тоже улыбались, одаривали нехитрой едой, и китайцы, счастливые, сунув подарок за пазуху, шли дальше, вдоль составов.

Иная, незнаемая раньше жизнь происходила за стеклом вагонного окна, и казалась она не только чужой, но и пугающей. Что ждет в будущем? Как все сложится?

– Простите. Арина Васильевна Буранова?

Она обернулась. В узком проходе стоял юный подпоручик с легким походным саквояжем в руке и смотрел на нее широко раскрытыми восторженными глазами. Арина кивнула.

– Позвольте представиться – подпоручик Киреевский. Откомандирован полковником Гридасовым, чтобы встретить вас и сопровождать до Харбина.

– Да зачем же такие хлопоты? – удивилась Арина.

– Никаких хлопот нет, уважаемая Арина Васильевна. Я здесь по служебной надобности находился, а перед тем, как меня сюда откомандировать, господин полковник телеграмму от вас получил, вот и приказал мне... Вам же здесь чужое все, незнакомое... А тут как раз и место в этом вагоне освободилось...

Подпоручик говорил торопливо, словно боялся, что Арина его не дослушает и уйдет. Но Арина уходить не торопилась и разглядывала его, не скрывая своего любопытства и симпатии – очень уж хорош и простодушен был он в своем смущении.

– Что же мы стоим? Идите в свое купе, располагайтесь, а после прошу ко мне – чай пить. У меня очень хороший чай имеется.

Она радушно угощала Киреевского чаем, конфетами, печеньем – благо, что провизией в дорогу Ласточка снабдила с великим усердием, еще на

месяц вперед хватит – а подпоручик, отойдя от первого смущения, рассказывал про китайцев, которые поразили Арину своим нищим видом:

– Живут они грязно, в фанзах иногда дышать нечем, но зато на огородах у них – идеальный порядок. И трудятся там от зари до зари, не разгибаясь. А крыши в фанзах у них сделаны из сухого гаоляна, ну, стебли, как у нашего подсолнуха, только потолще. И горят эти фанзы от любой искры. Как наши костер рядом разведут, так, глядишь, фанзы нет...

– Скажите, Петр Антонович, – осторожно перебила его рассказ Арина, – а вам Ивана Михайловича Петрова-Мясоедова встречать не доводилось?

– Нет, к сожалению, я недавно прибыл. Но слышал, рассказывали, как они с полковником Гридасовым два состава со снарядами в Порт-Артур провели. Вот славное было дело! Под самым носом у японцев проскочили и назад вернулись. А что он ранен теперь, вы не переживайте, Арина Васильевна, выздоровеет. Говорили мне, что он здоровья отменного, значит, обязательно выздоровеет. А тут еще вы приедете... Да если бы ко мне такая дама приехала, я бы из гроба встал!

Последняя фраза вырвалась у подпоручика, похоже, совсем нечаянно, и он снова засмутился, даже недоеденное печенье отложил в сторону, хотя видно было, что сладкое он любит, как мальчишка.

До Харбина ехали несколько суток. И чем дальше ехали, тем сильнее ощущалось дыхание войны: станционные здания были обложены мешками с песком, кругом часовые, то и дело возникали невдалеке конные разъезды пограничной стражи. Киреевский старательно рассказывал Арине обо всем, что виделось за окном, и также старательно успокаивал ее, что на этом участке дороги всегда тихо и ничего страшного случиться не может.

Под вечер блеснула река Сунгари, и поезд пересек длинный мост, который тщательно охранялся: часовые, мешки с песком, орудия, на воде – сторожевые баржи.

– Вот мы и прибыли, Арина Васильевна. Перед нами – славный город Харбин, – подпоручик Киреевский посмотрел на Арину, и нетрудно было догадаться, что ему жаль расставаться со своей спутницей, будь его воля, он бы и дальше поехал с ней в любую сторону.

На вокзале они взяли извозчика, и по дороге Киреевский снова рассказывал Арине, теперь уже о Харбине. Утверждал, что это совершенно русский город, что есть здесь замечательный Свято-Николаевский собор и что сухие бревна для этого собора привезли из России, что улицы называются необычно – Конторская, Офицерская, Китайская, Цветочная, и что имеется в городе даже кафешантан «Бельве», принадлежащий грузину Гамартели, прибывшему почему-то из Нерчинска, и много еще чего

рассказывал, но Арина слушала невнимательно и по сторонам почти не смотрела. Город ее не интересовал, она думала сейчас только об одном – о предстоящей встрече с Иваном Михайловичем.

Извозчик остановился возле длинного одноэтажного здания, над низким крыльцом которого ясно виделась вывеска: красный крест, а над ним, полукругом, надпись «Лазарет». Арина вышла из коляски, Киреевский вытащил ее чемоданы, занес их в лазарет, и начал прощаться.

– Спасибо вам, Петр Антонович, – поблагодарила его Арина, – теперь уж я сама. Полковнику Гридасову низкий поклон от меня передайте.

– Обязательно передам, – пообещал Киреевский и заторопился к коляске.

Арина осталась одна в маленьком коридоре, где уже чувствовался густой запах лекарств и чего-то еще – тяжелого, душного. Она еще не знала, что это был обычный для лазарета запах страданий.

Стояла, понимала, что ей нужно идти, и не могла сдвинуться с места. Странно все-таки устроен человек: так рвалась, так торопилась сюда, в далекий Харбин, так стремилась увидеть Ивана Михайловича, а теперь, когда оставалось до него сделать лишь несколько шагов, замерла, будто ее разом оставили силы, будто она их полностью истратила за длинную дорогу...

Послышались торопливые шаги, женский голос негромко, но властно приказал:

– Быстрее, быстрее несите!

Затопали другие шаги, похоже, что кто-то побежал бегом, а к Арине подошла сестра милосердия, на фартуке у которой ярко алели кровавые пятна, и, устало опустив руки, будто после непосильной работы, тихо спросила:

– Вы, наверное, и есть госпожа Буранова? Меня зовут Ксения Алексеевна. Пойдемте. Вещи здесь оставьте, санитар принесет.

Арина пошла следом за ней по длинному коридору в самый конец. Направо и налево – палаты. Двери иных были открыты и в проемах виднелись койки, лежащие на них раненые; кто-то стонал, кто-то громко разговаривал, где-то дружно смеялись, и смех этот казался инородным, совсем не к месту здесь, в лазарете, но тем не менее он звучал, и Ксения Алексеевна не обращала на него никакого внимания. Толкнула дверь последней палаты и, пропустив Арину, показала на койку в углу, заправленную тонким синим одеялом:

– Располагайтесь, раскладывайте вещи, устраивайтесь, я скоро за вами приду.

– Простите, я хотела бы...

– Знаю, Арина Васильевна, что вы желаете, знаю. Только терпения наберитесь. У нас сейчас срочная операция, очень тяжелая, я там должна быть.

Вернулась она через час, когда Арина уже разобрала свои вещи, сложив их в высокую тумбочку, стоявшую возле кровати, а те, которые не вошли, оставила в чемоданах, сами чемоданы прислонила к стенке.

– Он сейчас спит и желательно его не будить, – сообщила Ксения Алексеевна, – поэтому попрошу вас без восклицаний и без рыданий. Когда вернетесь, ложитесь на свою кроватку и плачьте, сколько угодно. Но и плакать долго не советую, Арина Васильевна, место у нас для слез неподходящее, здесь слезами горю не поможешь. Ступайте за мной.

Короткие седые волосы, выглядывающие из-под широкой повязки, Арина узнала сразу. Медленно подошла к кровати. Иван Михайлович лежал на спине, половина лица у него тоже была забинтована, и виделись только закрытые глаза, заострившийся нос и крепко сжатые губы, которые время от времени вздрагивали. Он лежал, совершенно на себя непохожий, но это был он, Иван Михайлович, Ванечка... Арина неслышно опустилась на колени, осторожно прикоснулась губами к руке, которая почти полностью скрывалась под бинтами, и замерла, даже дыхание затаила. Нет, она не заплакала, не зарыдала, и совсем не потому, что Ксения Алексеевна попросила не делать этого, она, как ни странно, совершенно успокоилась, ведь главное, чего желала всей душой, исполнилось – он рядом. А все остальное не имело сейчас никакого значения, даже война, громыхавшая где-то неподалеку.

На плечо ей мягко легла рука Ксении Алексеевны. Подчиняясь, Арина поднялась с колен и вышла из палаты, успев еще заметить, что другие раненные лежали, дружно и деликатно повернувшись лицами к стенам.

– Пойдемте, я вас нашему доктору представлю, – голос у Ксении Алексеевны звучал уже не так строго и сухо, как раньше, – сразу хочу предупредить – человек он у нас своеобразный и резкий, чтобы зря не злить, надо молчать и слушать.

Немолодой уже доктор, маленький, худой, похожий на плохо кормленного подростка, сидел за крохотным столиком и пил кофе, подолгу откашливаясь после каждого глотка. Веки у него были красными, видно, от недосыпа и напряжения, и он постоянно моргал, будто в глаза ему попали соринки. Допив крупным глотком кофе, доктор перевернул чашку и вылил гущу на блюдце. Долго смотрел, как расплывается темная жижа, и лицо его становилось таким внимательным, словно он ожидал, что сейчас на блюдце

произойдет нечто совсем необычное. Но ничего не произошло, и темное бесформенное пятно, не обозначив собой даже намека на какой-нибудь рисунок, неподвижно застыло.

Доктор разочарованно отодвинул блюдце, сердито вскинулся на стуле, как молодой петушок на насесте, и голос у него тоже оказался по-петушиному отрывистый и слегка картавый:

– Позвольте представиться – Кузнечихин Матвей Петрович. Расшаркиваться по паркету и ручки лобызать не обучен, потому как из крестьянских детей, и в высоких сферах не обретался. Насколько я поставлен в известность, прибыли вы в качестве сестры милосердия, даже платице на вас соответствующее. Так вот, сразу должен разочаровать – возвышенного романтизма у нас в лазарете не наблюдается, им здесь даже не пахнет. А пахнет обычным человеческим дерьмом, которое нужно выносить в горшках от раненых. Да-с! В горшках! А еще этих раненых надо мыть, перевязывать и слушать, как они ругаются самыми площадными словами, когда им больно. Медицинских навыков, как я понимаю, у вас никаких не имеется, значит, будете выполнять все распоряжения Ксении Алексеевны. Согласны?

– Согласна, – кивнула Арина, спокойно глядя на доктора. Она не удивилась, не обиделась, услышав от Матвея Петровича столь грубую и краткую речь. С присущей ей догадливостью сразу поняла, что появление в лазарете новой сестры милосердия здесь расценили, как блажь и каприз избалованной, изнеженной певицы, которая будет лишь путаться под ногами и мешать серьезным людям, занятым серьезной работой. Они вправе были так думать, решила Арина, ведь они ее совсем не знают.

Матвей Петрович помолчал, слегка озадаченный ее кратким ответом, и вдруг сообщил, совсем не к месту, но доверительно:

– У нас тут край света, бабы белье сушиться на небо вешают...

В крыше фанзы, покрытой галяном, зияли большущие прорехи, видно, пробитые снарядными осколками, и хорошо видны были мигающие, крупные звезды, будто они вызрели к концу душного, дождливого лета, и вот теперь решили показаться во всей своей красоте. Николай, внезапно проснувшись, словно его в бок кто толкнул, смотрел в такую прореху, маячившую прямо над ним, и никак не мог понять – какая тревога оторвала от долгожданного сна? В последнее время спать приходилось урывками, по три-четыре часа, не больше, а тут выдалась спокойная ночь – и проснулся, хотя до рассвета еще далеко.

Лежал, смотрел на мигающие звезды, слышал, как за стенами фанзы всхрапывают лошади, и вдруг вспомнил маленького смешного человечка, который когда-то подсел к нему за стол в иргитском трактире и жаловался на свою горькую судьбу, а еще сказал Николаю, что снов он потому не видит, что мало еще пострадал в жизни, вот поживет подольше, помучится и станут ему сны являться. Пострадать, помучиться и смертей повидать за длинные месяцы войны Николаю довелось с излишком, но все равно не сбылось предсказание человечка – снов боевой сотник и теперь не видел. А вот посреди ночи внезапно пробудился и никак не мог понять – по какой причине?

Он откинул попону, которой накрывался, вышел из фанзы. Ночь стояла темная, тихая – ни канонады, ни шальных выстрелов, ни отсветов пожарищ, будто благодный мир и вечный покой царили на земле.

«Живый в помощи...» – слова эти вспомнились и зазвучали в памяти так неожиданно, будто кто-то невидимый нашептывал их на ухо. Николай нисколько не удивился, он уже привык, что слова эти могут послышаться ему в любое время. Он им искренне верил и надеялся, что не достанут его ни клинок, ни пуля, ни «шимоза», как не достали они до сих пор. Эти слова здесь, на войне, роднили его с невестой, о которой он раньше не желал даже слышать. Ведь для него старательно переписывала она молитву, для него добиралась в одиночку до станции, чтобы проводить в дальний путь. Поэтому и письмо от родителя с известием, что они привезли Алену к себе в станицу на житье, он прочитал совершенно спокойно, а известию не удивился, только вспомнил большие, сияющие глаза, которые смотрели на него из кокона теплой шали, обметанной густым инеем. Чувства, которые он сейчас к ней испытывал, были спокойными, ровными, как неспешное

течение маленькой равнинной речки. Иное дело, когда вспоминался ему голос Арины Бурановой – будто огонь пресекал. И, понимая, что остались ему только воспоминания, все равно не мог смириться, тосковал и ругал себя, что не сумел уберечь граммофон, который вдребезги разнесло шальным японским снарядом вместе с пластинками, с повозкой и с лошастью. Уцелела лишь одна медная труба, иссеченная осколками, как сито.

Раздумывая обо всем этом, Николай продолжал стоять возле фанзы и не двигался с места, прислушиваясь к необычной тишине военной ночи.

Вдруг послышался громкий окрик часового, в ответ прозвучал пароль – «Гильза» – и Николай узнал голос полковника Голутвина, который неизменно лично проверял посты в самые глухие ночные часы, когда особенно тяжело и неудержимо клонит в сон. Командир полка подошел к фанзе, выслушал краткий доклад сотника и негромко спросил:

– Вы почему не спите, Дуга?

– Да я спал, господин полковник, но вот проснулся. Вышел...

– Пользуйтесь моментом, отдыхайте, пока есть возможность. Завтра такой возможности не будет.

– Что-то намечается?

– Намечается, Дуга, намечается. Завтра узнаете.

Голутвин неторопливо достал из кармана портсигар, закурил, пряча огонек спички в сомкнутых ладонях, и неожиданно поинтересовался:

– Арину Васильевну вспоминаете, сотник? Да вы не смущайтесь, такую женщину не забудешь. Будь мне годков поменьше, не вас бы она на прощанье целовала... Почта вчера пришла, пишут в газетах, что уехала знаменитая певица сестрой милосердия в харбинский госпиталь, где ее раненый муж находится. Если учесть, что почта к нам, как черепаха, ползет, Арина Васильевна в Харбин уже приехала. Такие вот дела, господин сотник... Идите спать, рассвет скоро, подъем будет ранний.

Голутвин наклонился, скрывая окурок в согнутой ладони, и затушил его о землю. Выпрямился, похлопал Николая по плечу, пошел дальше. Шаги его, как у опытного охотника, были бесшумны. Скоро послышался оклик часового и пароль: «Гильза».

Николай вернулся в фанзу, лег, натянув на голову попону, закрыл глаза и увидел, как наяву, Арину. Она смеялась, запрокидывая голову, и маленькой ладошкой пыталась собрать рассыпавшиеся русые волосы... Ему стало душевно и ласково от этого неожиданного, короткого видения, и он забылся мгновенным сном.

А утром, на общем построении полка, был получен приказ –

готовиться к набегу в японский тыл. Операция была задумана с размахом: кроме Второго казачьего полка шли три эскадрона драгун, сотня пограничной стражи, сотня пехотных охотников, посаженных на коней, батарея полевых орудий с прислугой и команда саперов. Задача ставилась простая – выйти японцам в тыл, перерезать дорогу, ведущую к железнодорожной станции, разгромить транспорты, которые двигаются по этой дороге, а после занять и саму станцию, разрушить на ней все, что возможно. Расчет на успех дерзкого набега строился на внезапности и на том, что японцы не ожидают от отступающих русских войск столь решительных действий.

День ушел на подготовку к набегу. На следующее утро, едва лишь проклюнулся рассвет, сводный отряд вышел в путь. Конские копыта, колеса повозок и орудий, обмотанные тряпками, громких звуков не издавали, но слышался глухой, постоянный шорох, словно ползло по земле огромное чудовище. Лошади, будто проникшись общей людской тревогой, не всхрапывали и не ржали.

И вот так, с глухим шорохом, не обозначив себя, сводный отряд проскочил на заранее разведанном стыке японских батальонов и дальше, втягиваясь во вражеский тыл, пошел на рысях. Полный рассвет, когда на востоке обозначилась зыбкая розовая полоса встающего солнца, застал на марше.

Свою сотню Николай вел, согласно приказу Голутвина, в авангарде, постоянно высылая вперед разъезды; пока они возвращались и докладывали, что ни хунхузов, ни японцев вокруг нет. Попалась лишь по пути небольшая китайская деревня, и от жителей удалось узнать, что недавно здесь побывали японцы, но быстро, прихватив с собой продовольствие, ушли.

Отряд, не прерывая быстрого хода, продвигался вперед. После обеда остановились на короткий привал. И снова команда – по коням! Тянулись бесконечные поля, изредка попадались китайские деревушки, в которых, кроме жителей, никого не было. Напряжение нарастало – не может ведь так быть, чтобы даже паршивого японского разъезда не встретилось, ни одного хунхуза.

– Таким манером, Николай Григорьевич, мы и до самой Японии доскачем! – хохотнул Корней Морозов.

– Япония на островах располагается, – хмуро отозвался Николай, – по морю не поскачешь.

– А чего? Ничего, вплавь одолеем! – снова хохотнул Корней и тут же смолк, оборвав смех, зорко взгляделся и тревожно доложил: – Кажись, наши

летят... Точно, наши...

На полном скаку подлетел разъезд.

И с этого момента все спуталось, сплелось в один обжигающий тугой комок. День, ночь, утро, вечер, стрельба, рубка, крики, хрипы, полыхающие огнем японские транспорты, черные столбы дыма, вздымающиеся к небу, пот, грязь и невесомое, почти неощутимое от ярости схватки тело... Разлюбезное дело – казачий набег. Лихой, стремительный, как зигзаг молнии. За все долгое, муторное и тягучее, как тесто, отступление, брали казаки, драгуны и пехотные охотники полной мерой – дорога, ведущая к станции, еще недавно забитая транспортами, пылала на десятки верст, и легкий ветерок разносил по окрестным полям сажу, которая летела густыми хлопьями, будто черный снег.

Станцию брали с ходу. Батарей выкатилась на небольшую горушку, и орудия, тяжело ахнув, выпустили первые снаряды.

«Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тме преходящая, от сряца, и беса полуденного...»

Николай вел свою сотню в атаку. Из станционных строений, из-за каждого угла японцы вели огонь, отчаянно защищаясь и отстреливаясь. Но казачьи кони уже перелетали через траншею, а с земляного вала, который полукругом опоясывал станцию, дружно бежали спешившиеся пехотные охотники, врываются на станцию, где на путях отчаянно дергался паровоз, пытаясь набрать ход. Но снаряд угодил точно в кабину, взметнул желтое пламя взрыва, и паровоз замер.

Японский офицер, широко расставив короткие, кривые ноги, бесстрашно стоял перед летящими на него казаками и стрелял, будто на учении – четко, быстро. В грохоте и пальбе различил Николай посвист пули, и опалило коротко: «Не моя!» Верил он, что слышишь свист только той пули, которая летит мимо, а ту, которая тебе предназначена, никогда не услышишь. Круто потянул повод влево, припал к гриве Соколка и сразу же выпрямился, взметывая шашку. Блеснула острая сталь, карабин выпал из рук, а фуражка, слетевшая с разрубленной головы офицера, долго еще катилась по земле.

На полном скаку Николай оглянулся, увидел растекающихся по станции казаков и пехотинцев-охотников и понял, что организованное сопротивление японцев сломлено, теперь оставалось лишь добить тех, кто пытался отстреливаться.

Добили быстро. Пленных не брали. Куда потом с ними?

Через полтора часа последовала команда – отходим. Словно волна отряд откатился от станции. Последними уходили саперы, а за ними

вздymались взрывы, разметывая железнодорожные пути, склады и вагоны. Станция горела, огромное черное облако, наклонившись в сторону солнца, косо вытягивалось до самого неба.

«Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему...»

Николай опустил взгляд и увидел, что голенище его правого сапога, снизу вверх, распорото, словно ножом. Он наклонился с седла, потрогал ногу – целая, даже не оцарапана.

К своим, непрерывно отбиваясь от преследующих их японцев, отряд смог прорваться только на седьмые сутки. В отдельной повозке привезли полковника Голутвина, накрытого попоной. Он наповал был убит осколком, который угодил ему прямо в висок.

Доктор Кузнечихин пил кофе, щедро подливая в него коньяк, моргал чаще, чем обычно, и веки у него, как всегда, были красными. Ксения Алексеевна заботливо подвигала ему тонко нарезанные кружочки колбасы, галеты, но доктор на них даже не глядел, продолжая прихлебывать свою коньячно-кофейную смесь, на которой, похоже, только и держался в последние дни, когда непрерывно, после затяжных боев, стали поступать раненые. В последние сутки он почти не выходил из операционной, но сегодня, слава богу, поток раненых иссяк, и появилась возможность хотя бы отдышаться.

Арина сидела рядом с Ксенией Алексеевной, положив на колени руки, и вопросительно смотрела на доктора, а тот, будто не замечая ее взгляда, продолжал хлебать кофе с коньяком и упорно не желал закусывать. Наконец-то, отодвинув чашку на край стола, резко, сердито воскликнул:

– Да не смотрите вы на меня так, Арина Васильевна! А то можно подумать, что я у вас год назад червонец одолжил и до сих пор не вернул! Я же вашего Петрова-Мясоедова, как портной, сшивал – из лоскутов! Все, что можно, сделал! А больше – не могу! Не могу, Арина Васильевна, миленькая вы моя! Мозг человеческий для нынешней медицины – штука еще мало изведенная. А череп у вашего супруга вот, чуть не на палец, порублен. Один ответ – ждите! Молитесь и ждите!

– Матвей Петрович, скажите, а в столице или в Москве есть такие доктора, которые могли бы помочь? – в ожидании ответа Арина даже поднялась со стула.

– Научных светил у нас, как тараканов за печкой! Ксения Алексеевна, будь добра, подай мне чистую чашку.

Доктор Кузнечихин поморгал, глядя на поставленную перед ним чашку, затем налил в нее коньяка, уже без кофе, выпил одним глотком и, подумав, подвел итог:

– Давайте так договоримся, Арина Васильевна. Ждем еще пару недель, а там и решение принимать будем. Все, голубушки, ступайте, я спать ложусь. Ксения Алексеевна, если тревога какая, будите сразу. Все, все, идите...

Они вышли в узкий длинный коридор, не стовариваясь, направились к выходу, и уже на улице, когда присели на скамейку, Ксения Алексеевна попросила:

– Вы не обижайтесь на него, Арина Васильевна. На самом деле, он очень сильно переживает. И за вас переживает, и за Ивана Михайловича... А недавно знаете, что мне сказал? Никогда бы, говорит, не подумал и не поверил бы никому, что приедет ко мне в госпиталь певица знаменитая и будет за ранеными горшки убирать. Жалеет он вас. Понимаете...

– Я все понимаю, Ксения Алексеевна. Да только как же с Иваном Михайловичем быть?

– Ждать! Вам же ясно сказано – ждать и молиться. А теперь, Арина Васильевна, идите к своим раненым.

И, словно сглаживая свой резкий ответ, Ксения Алексеевна ласково погладила ее по плечу, отвернулась, чтобы скрыть внезапные слезы, и поднялась со скамейки. Не оглядываясь, поднялась на крыльцо, неслышно закрыла за собой широкие двери.

За полтора месяца, которые Арина провела в госпитале, она успела сдружиться с этой немногословной женщиной, суровой, как и ее начальник. Но за этой суровостью, как она теперь хорошо понимала, скрывалась чистая, отзывчивая душа, безмерно уставшая от людских страданий, которые приходилось видеть каждый день. Сама Арина трудилась в госпитале, не требуя для себя никаких поблажек, кроме одной – быть во всякую свободную минуту рядом с Иваном Михайловичем. Научилась делать перевязки, не морщиться и не отводить глаз при виде страшных ран, научилась подавлять рвоту, когда накатывали жуткие запахи, многому научилась за эти дни, сплетенные в одну длинную, бесконечную ленту. И все ей казалось терпимым и вполне сносным, если бы не Иван Михайлович... Ванечка...

Он смотрел на нее потухшими глазами и на лице его, исхудалом и заостренном, не отражалось никаких чувств, будто смотрел и не видел Арины. И самое страшное – молчал. Кроме стонов и тяжкого кряхтения, когда ему делали перевязки и переворачивали с боку на бок большое тело, он не издавал никаких звуков. Лишь иногда глаза оживали, взблескивали, казалось, что вот сейчас, сейчас, очнется он после долго забытья, вернется из дальних далей в этот мир и скажет, как ребенок, своим первые слова, не важно какие. Но глаза, взблеснув на короткое время, потухали, и взгляд застывал, неподвижно устремленный в потолок.

Шрамы же от сабельных ударов заживали хорошо, в иных местах они уже затянулись розовой младенческой кожицей, и доктор Кузнечихин приказал их больше не бинтовать. Приговаривал:

– Выцарапается. Организм сильный, вон, как заживает, я извиняюсь, как на собаке.

Но Арина догадывалась, что это грубоватое утверждение доктора, скорее всего, адресовано ей. Но, понимая, все равно хваталась за это утверждение, как за соломинку, и каждый новый день встречала с надеждой – может, сегодня Иван Михайлович и очнется?! Однако, проходил один день, другой, третий, а надежда оставалась только надеждой.

Арина поднялась со скамейки и пошла, следом за Ксенией Алексеевной, направляясь в палату, где лежали нижние чины и где ей предстояло сегодня дежурить.

Когда она там появилась, на койках возникло шевеленье, раненые начали подтягивать подушки, набитые соломой, чтобы уложить головы повыше, и даже совсем уж лежащие, кто не мог ни подняться, ни пошевелиться, прятали свою боль и улыбались ей навстречу. Арина до сих пор не могла привыкнуть к этой картине, всякий раз являвшейся перед ней, и всякий раз ей хотелось сделать все возможное и невозможное, чтобы облегчить страдания этим людям, с которыми она почти сроднилась.

– Сестрица!

– Арина Васильевна!

– Водицы бы испить...

– А у меня беда прямо – повязка слезла.

И она подносила кружки с водой, поправляла повязки, выдавала лекарства и, наконец, покончив со всеми неотложными делами, присела на табуретку возле койки молодого солдата Шабунина и не сразу поняла, почему по палате прокатился легкий смешок. Строго спросила:

– По какому поводу веселимся, господа нижние чины? Может, расскажет кто-нибудь?

Общий хохоток только усилился, а на лице у Шабунина вспыхнули красные пятна. Ясно, опять над парнем пошутили. Молоденький Шабунин, простодушный и наивный, как ребенок, влюбился в Арину, едва лишь очухался после операции, когда у него вытащили из обеих ног шесть осколков. Влюбленность эта незамеченной, конечно, не осталась и не подсмеивались над ним только совсем уж тяжелые, которым лишний раз даже пальцами пошевелить больно.

– Давай, давай, Шабуня, не стесняйся, докладывай, как есть, – подзадоривал парня чей-то озорной голос.

– Доставай бумагу, рассказывай, как на духу!

– Ты, главное, не тушуйся, гляди весело, говори бойко!

Арина, ничего не понимая, прикрикнула:

– Да тише вы, разгалделись! Чего они над тобой смеются, Шабунин?

Опять обманули?

Шабунин ухватился руками за спинку кровати, подтянулся, чтобы уложить голову повыше и, устроившись, достал бумажный лист из-под подушки, протянул его Арине, дрожащим голосом выговорил:

– На гербовой бумаге, как сказали...

Палата вздрогнула от громового хохота, показалось, что сейчас зазвенят и посыплется из оконных рам стекла. Шабунин растерянно озирался, глядя на безудержно хохочущих раненых, и его большие карие глаза наполнялись, как слезами, горькой обидой – он, кажется, начинал понимать, что его обманули.

На самом деле, так и было. Разыграли доверчивого бедолагу Шабунина. Заметив его влюбленность в сестру милосердия, товарищи по несчастью убедили солдатика, что он не первый, кто очаровывается красотой Арины Васильевны, да только она всем дает отлуп, потому что они бедные. А замуж выйдет, как она сама говорила, и некоторые своими ушами это слышали, только за того, у которого дома, на родине, имеется крепкое, большое хозяйство. Иные сразу же заливать стали: и коней не считано, и мельниц по пять штук на каждой речке стоит, и дома имеются каменные, и хлеба в амбарах – невпроворот, а только Арина Васильевна краснобаев этих сразу же и подсекла: на слово, говорит, никому не поверю, кто бумагу предъявит, обязательно гербовую, тому и руку подам. Шабунин сразу же отписал домой, в богатое алтайское село Шелаболиха, что нужна ему на гербовой бумаге полная опись хозяйства: пасека, дом крестовый, семь коней, десять коров, а еще пахотная земля и сенокосные угодья...

Теперь Арина держала эту гербовую бумагу в руках, палата стонала от хохота, а Шабунин с головой закрылся одеялом, и даже лица своего показывать не хотел.

Смех и грех.

Жаль было Арине молоденького солдатика, она рассердилась и даже с табуретки поднялась, собираясь строго отчитать шутников, но не успела: в дверь просунулся санитар и сообщил:

– Там какой-то офицер спрашивает, на крыльце стоит. Срочно, говорит, времени у него в обрез.

Она поспешила из палаты, которая, не утихая, продолжала веселиться.

На крыльце ее ждал сотник Николай Григорьевич Дуга. Возмужавший, даже чуточку постаревший, без румянца, который раньше пробивался и через темную бородку, он стоял на нижней ступеньке, смотрел на нее снизу вверх и руки его нервно мяли околыш фуражки.

– Николай Григорьевич! Какими судьбами?! – она спорхнула с

крыльца, обняла его и расцеловала, как родного.

– Да я здесь по служебным делам, Арина Васильевна. Вот и решил заглянуть, посмотреть на вас.

– Что же мы на крыльце стоим?! Пойдем, я хоть чаем тебя напою!

– Не могу, Арина Васильевна, времени у меня совсем нет, скоро на станции должен быть, я и коляску даже не отпустил, вон – дожидается. Как вы здесь?

– Как видишь, Николай Григорьевич, теперь я сестра милосердия, а супруг мой, Иван Михайлович, в этом лазарете находится, на излечении.

– Мне про вас полковник Голутвин сказал, в газете прочитал, что сюда приехали.

– Как он? Живой-здоровый?

– Нет, не живой... Погиб. А про вас вспоминал...

– Господи, – вздохнула и опечалилась Арина, – сколько горя...

– Ну, прощайте, Арина Васильевна, опаздывать я никак не могу. Приятно было свидеться...

И слов-то сказали всего-ничего, и слова-то сказаны были самые простые, обыденные, и времени не имелось для долгого разговора, а души словно омыло святой водой, и мир предстал перед усталыми глазами по-прежнему светлым и обещающим надежду.

Несколько раз обернулся Николай из коляски и видел, что Арина по-прежнему стоит на крыльце, не шелохнувшись, и смотрит ему вслед.

Доведется ли еще раз свидеться?

«Вернусь домой, – подумал вдруг Николай, – сразу женюсь на Алене, и ребятишек нарожаем, косой десяток». И мысль эта, неожиданно пришедшая к нему, не показалась странной, более того она была простой и естественной, ведь он знал, что в родной станице, в родном доме ждет его будущая жена, чья горячая молитва хранила его до сих пор во всех переделках. Значит, и в будущем сохранит.

Назад он больше не оглядывался и не видел, что Арина медленно, истово перекрестила его и лишь после этого стронулась с места.

Прежде, чем пройти в палату, из которой все еще доносился смех, она решила заглянуть к Ивану Михайловичу. Подошла к кровати, наклонилась над ним, и у нее подсеклись колени. Ванечка... Он смотрел на нее осмысленным взглядом, губы напряженно шевелились, вот приоткрылись с усилием, и прерывисто прозвучал глухой, хриплый голос:

– А-ри-на...

Молодая зима хозяйничала на земле. На подмороженные поля недавно лег снег и наполнил округу ровным светом – до самого горизонта. Стоял легкий морозец, и щеки у мальчишки, который замер столбиком и во все глаза глядел на проходящий поезд, алели яблочным цветом. Возле мальчишки, задрав хвост и взбрыкивая, носился теленок, тыкался губами в спину своего пастуха, приглашая к игре. Но мальчишка лишь отмахивался – отстань! – и продолжал смотреть на пролетающие перед ним вагоны. Иван Михайлович не удержался и приветливо помахал ему рукой, юный пастух вскинул в ответ обе руки в черных варежках, что-то радостно закричал, но вагон уже проскочил мимо, оставив его за краем окна, и только теленок, не опуская вздернутого хвоста, пробежался по снегу, но скоро отстал.

Иван Михайлович стыдливо отвернулся и украдкой вытер глаза широкой ладонью. Арина сделала вид, что ничего не заметила. Эта слезливость появилась у него сразу, как только он пришел в себя, самая простая, обыденная мелочь могла вызвать у него умиление; он отворачивался, стараясь скрыть слабость, но ничего поделать с собой не мог. Правда, доктор Кузнечихин, успокаивая, сказал, что со временем это пройдет.

– Чего вы хотите, милочка, – рассуждал он, прихлебывая кофе с коньяком, – ваш благоверный с того света вернулся и теперь заново познает этот мир. И представляется ему этот мир идеальным, до слезы. Если бы все так умилялись жизни и не тратили ее по пустякам, наступило бы всеобщее благоденствие. Но, увы, человек такое несовершенное существо, что, выздоровев, он забывает обо всем... Впрочем, история эта стара, как мир, и повторять ее не имеет смысла. Скоро ваш благоверный, милочка, перестанет пускать слезу, и будет нудно ворчать, что вы ему подали холодный чай и плохо выгладили манишку...

Да, утешитель из доктора Кузнечихина был еще тот, и склонности к душевным разговорам у него не имелось.

Но Арина вспоминала о нем с добрым чувством.

Теперь, когда харбинский госпиталь остался в прошлом, она все эти тревожные месяцы и всех людей, которые окружали ее в это время, тоже вспоминала с благодарностью. Даже молоденького, наивного солдата Шабунина, который продолжал смотреть на нее с прежним обожанием и после того, как понял, что товарищи по палате просто-напросто над ним

посмеялись.

Провожали Арину с Иваном Михайловичем из госпиталя шумно, искренне радуясь за них. Во дворе устроили общий стол с большущим, неизвестно откуда добытым, тульским самоваром, много говорили напутственных слов, желали Ивану Михайловичу скорейшего и полного выздоровления, а Арину, конечно, попросили спеть, и она, на прощание, без всякого аккомпанеента дала целый концерт, который длился никак не меньше часа.

Полковник Гридасов побеспокоился и на этот раз. Благодаря его стараниям Арине с Иваном Михайловичем предоставили отдельное купе в санитарном поезде, и вот уже которые сутки они смотрели из окна этого купе на огромные пространства, проплывающие мимо, и казалось, что пространствам этим не будет ни конца ни края.

– Знаешь, Арина, увидел сейчас этого мальчишку и себя вспомнил, маленького. Вот такая же погода, зима только наступила, лед на пруду замерз, и я тайком от маменьки туда убегал. Лягу на лед, он еще прозрачный, дно видно, и вот лежу, смотрю – так все таинственно, даже дух захватывает. У меня сейчас странное желание возникло: лечь бы на этом пруду, на лед, и смотреть бы, смотреть... Мне кажется, что я сразу бы выздоровел.

– Ванечка, ты потерпи. Доберемся до твоей матушки, я тебя сама на тот пруд отведу.

Он улыбнулся, положил ей ладонь на голову, приглаживая волосы, и неожиданно признался:

– Задумаюсь иногда, и добрым словом земляков твоих, из Иргита, хочется вспомнить. Грех такое говорить, но, если бы они гадость свою не придумали, как бы мы с тобой встретились... Я бы к тебе и не подступился: цветы – Ласточке, а мне – полнейшее презрение.

– Да ладно, Ванечка, – отмахнулась Арина, – я, может быть, и без этих негодников сменила бы гнев на милость!

И рассмеялась – звонко, от души, как давно уже не смеялась. А затем осторожно, обеими руками взяла его широкую ладонь и поцеловала.

Иван Михайлович снова отвернулся и долго смотрел в окно.

Паровоз, изредка вскрикивая гудками, продолжал тащить за собой санитарный поезд, одолевая бесконечные версты, и спешил доставить до родных мест раненых и увечных, для которых война уже закончилась. Арина не знала – сколько они проехали и сколько еще предстояло ехать, она даже суткам счет не вела и не ведала, какое число на календаре – ее это совершенно не волновало. Время будто остановилось, придавленное стуком

железных колес, ничем не обозначало себя, и было душевно и покойно пребывать в нем, не вспоминая прошлого и не загадывая будущего, радуясь лишь крепнущему голосу Ивана Михайловича и непрерывному ходу поезда.

– А ты знаешь, Арина, пожалуй, что завтра мы будем на станции Круглой. Помнишь такую станцию?

– Смутно, но что-то вспоминаю, – со смехом отозвалась Арина.

– Проснешься утром, а за окном – знакомые места. Вот и будешь радоваться.

На следующий день, рано утром, когда они проснулись, Иван Михайлович глянул в окно и довольным голосом извещил:

– Ну вот, как я и обещал, – станция Круглая. Аришенька, давай на перрон выйдем, хотя бы на минутку. Воздухом хочу дыхнуть.

Над заснеженной округой сияло блестящее и, казалось, звонкохрустящее солнце. Прищуриваясь от света, осторожно придерживаясь за поручни, Иван Михайлович спустился из вагона на деревянный перрон, постоял, чуть заметно покачиваясь, и ласково отвел руку Арины, которая хотела его поддержать:

– Не надо, я сам. Это просто голова закружилась... Красота! Даже дышать легче стало. Пройдемся немного...

Он медленно сделал первые шаги, направляясь вдоль перрона, и, повернувшись, улыбнулся Арине счастливой улыбкой. Она все-таки взяла его под руку, и они прошли до края перрона, огороженного невысоким дощатым забором. Постояли возле него, глядя на небольшую пристанционную площадь, заполненную санями с поклажей, возчиками в больших тулупах, которые тоже поглядывали из-под рукавиц на остановившийся поезд.

Доносились их голоса, скрип полозьев; неугомонная сорока вспорхнула на дугу, строчила скороговоркой, а лошадь удивленно вскидывала голову и никак не могла понять – что за вертлявая и заполошная крикунья устроилась сверху?

Мирная, тихая, благостная жизнь царила на небольшом пространстве пристанционной площади.

– Арина Васильевна! Арина Васильевна!

Она обернулась. Высокий человек бежал к ним, размахивая руками, и полы его черного пальто вскидывались, словно крылья. Подбежал, остановился, переводя запаленное дыхание, глянул на Петрова-Мяоедова и воскликнул:

– Иван Михайлович, здравствуйте! Вы что, не узнаете меня? – сдернул

с головы форменную железнодорожную шапку и представился: – Инженер Свидерский! Помните?

Конечно, вспомнили. Да и как можно было забыть такого красавца, похожего на сказочного Садко... Свидерский же, не давая им времени даже удивиться, говорил быстро и торопливо. Говорил о том, что поезд, на котором они следуют, сейчас будет отогнан на запасной путь и простоят там ровно сутки, освободив дорогу для срочных эшелонов с воинскими грузами. И в связи с этим обстоятельством он убедительно просит уважаемую Арину Васильевну выступить в Иргите, в известном ей городском театре, вместе со струнным оркестром железнодорожников станции Круглая.

Арина не только самого Свидерского вспомнила, но и его имя-отчество, рассмеялась:

– Леонид Максимович, голубчик, да как же вы узнали, что мы в этом поезде едем?

– Есть один секрет, но я вам его не раскрою. Как говорится, земля слухом полнится...

Впрочем, никакого особого секрета, как позже выяснилось, не было: в иргитском «Ярмарочном листке» напечатали телеграмму, что известная певица Арина Буранова со своим раненым мужем возвращается с Дальнего Востока в санитарном поезде; газета попала на глаза Свидерскому, а уж узнать следование через Круглую санитарных поездов особого труда для него не составило.

– А где ваш друг? – поинтересовалась Арина. – Кажется, Багаев его фамилия, если не ошибаюсь.

– Совершенно верно, Арина Васильевна, – Багаев. Он недавно в Петербург отозван. После той истории, Иван Михайлович, ему повышение вышло.

– Почему же вас не повысили?

– Да кто ж меня отсюда уберет в такое время? – искренне воскликнул Свидерский. – Без меня здесь, как без поганого ведра! Вся станция на мне! А Багаев – голова, умница, пусть в столице думает. Иван Михайлович, будьте любезны, посодействуйте мне, чтобы Арина Васильевна выступила. Очень желают ее услышать!

Иван Михайлович улыбался, слушая Свидерского, и весело поглядывал на Арину, будто хотел спросить ее: ну, что скажете, певица Буранова?

– Да как же я Ивана Михайловича оставлю? Он же после ранения, еще слабый!

– И совсем я не слабый, – возразил Иван Михайлович, продолжая весело смотреть на нее, – видишь, даже на своих ногах хожу. Тебя ведь, Аринушка, люди просят, не отказывай. Да и сама встряхнешься. А я здесь тебя подожду.

На санях мне кататься, пожалуй, рановато, а в вагоне в самый раз. Поезжай, спой. Если угодно, я к господину Свицерскому присоединяюсь и прошу, чтобы ты его просьбу исполнила. Таким двоим красавцам, как мы, ты не имеешь права отказать...

И Арина согласилась.

Они поднялись с Иваном Михайловичем в вагон, она раскрыла свой чемодан и только тут запоздало ахнула: платья-то приличного для выступления нет!

– Да есть у тебя платье, есть, – подсказал Иван Михайлович, – платье сестры милосердия. Вот в нем и выйдешь, оно лучше всяких нарядов будет. Езжай, Аринушка, господин Свицерский уже, наверное, заждался.

– Какой же ты все-таки умница, Ванечка!

На самом краю пристанционной площади, едва ли не впритык к лестнице, ведущей с перрона, уже стояла тройка, запряженная в кошевку с крытым верхом, а на облучке восседал, расправив по полушубку седую бороду, Лиходей. Победно поглядывал по сторонам и натягивал вожжи, сдерживая своих коней, готовых сорваться с места в неудержимом галопе. Арина обрадовалась ему, как родному:

– Здравствуй, дед! А почему без балалайки? Неужели играть перестал?

– Без балалайки я по той причине, что пальцы у меня мерзнут без рукавиц, видишь, рукавицы натянул... А как тепло грянет – заиграю! Милости просим в нашу карету.

Свицерский заботливо усадил Арину в возок, укутал ей ноги, сел сам и скомандовал:

– Трогай!

Лиходею два раза повторять не надо. Полохнул над пристанционной площадью пронзительный свист, и тройка ударилась в галоп, выскакивая на ровную, накатанную дорогу, залитую искрящимся на снегу солнцем.

И так было радостно мчаться по этой дороге, так встрепенулась душа, уставшая от постоянного тревожного чувства, и так сладко было сознавать, что ждет впереди скорый выход на сцену, что Арина не удержалась, скинула теплые шерстяные варежки и захлопала от восторга в ладоши.

Лиходей и на этот раз не оплошал. Дорогу от Круглой до горы Пушистой его тройка одолела одним махом.

Возле Пушистой попросила Арина остановиться, и когда вышла из

кошевки, сразу увидела голубой купол небольшой, невысокой, но очень красивой и с любовью выстроенной часовни. Прошла к ней, прислонила голые ладони к холодным бревнам и долго стояла, прикрыв глаза, пытаясь воскресить в памяти образ молодой Глаши, но он ускользал, словно подернутый дымкой, и только длинная толстая коса ярко вставала перед глазами.

– Вот, Глашенька, заехала тебя попроведать, поклониться, прощения попросить... – шептала, чуть слышно, едва размыкая губы, и гладила шершавые, настылые бревна, словно они были живыми.

Постояв, она вошла в часовню, и в небольшом, полутемном пространстве сразу увидела большую икону Богородицы; и долго, обо всем позабыв, горячо молилась перед этим образом, вспоминая всех людей, живых и ушедших, которые встретились ей на длинной дороге судьбы. Именно здесь, в часовне, поставленной в память мученицы Глаши, они являлись перед ней, и она просила о заступничестве за всех: за Ласточку, за Благиния с Суховым, за Якова Сергеевича Черногорина, за воюющего Николая Григорьевича Дугу и даже за молоденького и наивного солдата Шабунина, вспоминала благодарным словом Платона Прохоровича Огурцова, кланялась светлой памяти родителей своих и еще многим-многим людям нашлось место в ее длинной и горячей молитве.

Выйдя из часовни, Арина замерла, снова приложив руки к холодным бревнам, постояла, прощаясь, и нехотя, оглядываясь, направилась к дороге, где ждали ее Свищерский и Лиходей, направилась по старым своим следам, которые глубоко и четко обозначались в непримятом, чистом снегу. На душе у нее было легко и спокойно.

Концерт затянулся допоздна. Публика никак не желала отпустить со сцены певицу Буранову. А сама певица, пребывая в простеньком платье сестры милосердия, которое давно поблекло и полиняло от частых стирок, казалось, не пела, а парила где-то высоко в поднебесье, и оттуда, с немыслимой высоты, лился, не прерываясь, ее голос – словно трель жаворонка в летний погожий день.

Как же, оказывается, она соскучилась по сцене! И теперь, вернувшись на нее, не жалела ни себя, ни своего голоса – все, до капли, отдавала публике. Струнный оркестр железнодорожников, которым по-прежнему дирижировал Свицерский, старался изо всех сил и умений, какие имелись, и почти не фальшивил.

Когда Арина уходила со сцены, зал аплодировал ей стоя. А после концерта в гримерку к ней пришел капитан Никифоров, и когда она обнялась с ним, старик так расчувствовался, что даже всплакнул. Все пытался объяснить по поводу денег, которые он потратил на угощение плотников, но Арина в ответ только гладила его по плечу и благодарила, искренне уверяя, что часовня получилась очень даже красивой. Кажется, успокоила, и Никифоров ушел довольный и улыбчивый.

Едва лишь за ним закрылась дверь, как снова раздался стук, и на пороге появился Свицерский, сияющий, как новый полтинник. Рассыпался в благодарностях и время от времени вскидывал руки и восклицал:

– Какой успех, Арина Васильевна! Какой успех!

Наконец успокоился и сообщил, что ждут их сейчас в «Коммерческой», на торжественный ужин, и что отказаться просто невозможно, и что сразу же после ужина он доставит ее на станцию, и что Иван Михайлович может быть абсолютно спокоен...

И все это он говорил так быстро, что невозможно было даже вставить слово и уж тем более возражать. Арина махнула рукой и рассмеялась:

– Леонид Максимович, согласна я, согласна, только с одним условием – недолго.

– Как скажете, Арина Васильевна. Ваше желание для меня – закон.

Но обещания своего Свицерский не сдержал, и ужин затянулся до позднего вечера, когда на небе четко обозначился острый серпик молодого месяца. Арина, укутанная в шубу, сидела в лихоевской повозке, слышала стук копыт, поскрипывание полозьев по снегу и все смотрела, не отрывая

взгляда, на молодой месяц, который посылал на оснеженную землю зыбкий, неверный свет, тускло озаряя дорогу. Свидерский продолжал о чем-то восторженно говорить, но Арина его не слушала – в ушах у нее все еще звучали аплодисменты, и ей казалось, что сегодняшнее выступление еще не окончилось.

Вот и станция Круглая. Даже не заметила, как доехали – будто на крыльях пронеслись.

Арина попрощалась с Лиходеем, Свидерский проводил ее до вагона, помог подняться и с рук на руки передал Петрову-Мясоедову, продолжая восторгаться:

– Иван Михайлович, если бы вы слышали! Потрясающий успех! Огромное вам спасибо. Такой праздник! Это ведь для нас событие, еще не один год вспоминать будем!

Тут он взглянул на часы, осекся, поняв, что время позднее, и торопливо стал прощаться. Арина и Иван Михайлович остались вдвоем.

Стекло вагонного окна, опущенное снегом, серебрилось и поблескивало, в купе было сумрачно, и неясные тени скользили по полу, то появляясь, то исчезая. Казалось, что весь мир погружен в зыбкую легкость – словно не на земле сейчас находились, а плыли над ней.

– Знаешь, Ванечка, у меня сегодня такое чувство, будто я заново начала жить. Будто родилась еще раз и ждет меня впереди совсем другая жизнь, такая радостная...

– Мы с тобой, Аришенька, долгую-долгую жизнь проживем. Как в сказке – они жили долго и счастливо и умерли в один день. Я точно знаю, что именно так будет.

Арина вздохнула, погладила его по щеке ладонью, а затем, соглашаясь, прошептала:

– Так и будет...

Бесконечно счастливые, они искренне верили в слова, которые говорили, и совершенно не думали о том, что все дороги, по которым им придется идти в будущем, ведомы только Богу.

Ни Арина, ни Иван Михайлович и предположить не могли, что через девять лет начнется великая война и великая смута, которые вдребезги разнесут былую жизнь.

И пусть они пока не ведают, пусть они будут безмятежны и счастливы в прекрасную, сияющую полночь молодой русской зимы.

Пятнадцатого мая тысяча девятьсот двадцать шестого года в одной из харбинских газет на последней странице под рекламными объявлениями мелким шрифтом был напечатан скромный некролог:

«Два дня назад в Свято-Николаевском соборе состоялось отпевание рабы Божией Арины Васильевны Петровой-Мясоедовой, более известной при жизни как певица Арина Буранова. Всего на одну неделю пережила она своего супруга, служащего Китайско-Восточной железной дороги Ивана Михайловича Петрова-Мясоедова. Присутствовали на отпевании немногочисленные друзья и знакомые. Прочувствованную речь сказал Николай Григорьевич Дуга, близко знавший покойную.

Мир праху рабы Божией Арины и вечная ей память».

notes

Примечания

1

Красенькая – ассигнация десятирублевого достоинства.

Цитра – музыкальный инструмент с металлическими струнами, похожий на гитру.

Вольнопер, вольноопределяющийся – низший чин в русской армии, поступивший на службу добровольно.

4

Блиндированные – бронированные.

Хунхузы – банды китайских разбойников, действовавшие в Маньчжурии и на русском Дальнем Востоке.

6

Гаолян – хлебный злак с высоким толстым стеблем и густой листвой.